ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

Одесский
литературно-художественный
журнал

3(43)'2022

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Евгений ДЕМЕНОК

Отдел литературной критики
Александр КАРПЕНКО

Общественный совет:
Дмитрий Бураго (Киев), Евгений Голубовский (Одесса),
Владимир Гутковский (Киев), Олег Дрямин (Одесса),
Алёна Жукова (Торонто), Олег Зайцев (Минск),
Вера Зубарева (Филадельфия), Андрей Костинский (Харьков),
Марина Матвеева (Симферополь), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кишинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Интернет-версия журнала: ursp.org/index.php/yuzhnoe-siyanie

Ariella Publishing
Philadelphia
2022

Литературно-художественный журнал «Южное Сияние» (№3, 2022)
Literary magazine «South-lights»
ISSN 2226-647X

Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»
Founder – Public organization «South-Russian Writers Union»

Published by Ariella Publishing | Philadelphia, Pennsylvania
First printing August 2022

© «Южное Сияние», 2022

Дорогие друзья!

Этот номер по-своему особенный. Помимо современной поэзии и прозы, основательных «Книжных полок» Александра Карпенко и Елены Севрюгиной, номер насыщен эксклюзивными литературоведческими публикациями. Для интересующихся историей литературы исключительно богатый подбор материалов, посвящённых Анастасии Ивановне Цветаевой, опубликован в рубрике «ЛитМузей», занимающей более четверти объёма нынешнего номера. Так, например, в статье В.л. Дядичева публикуются найденные им фрагменты подлинных писем В.В. Розанова, величайшего из русских философов-эссеистов, к А. Цветаевой, воспроизводится газетная заметка, где отражён страх за судьбу девятнадцатилетней девушки, с которой он переписывается. Глубочайшей видится нам работа исследователя А. Медведева над тюремной и лагерной поэзией А. Цветаевой. А с каким интересом читается переписка А. Цветаевой с М. Изергиной – переписка двух подруг, живущих увлечённо и творчески, об этой переписке было известно лишь очень узкому кругу… И это только часть материалов, представленных в разделе литературоведения. Не говоря уже о том, что весь номер «освещается» старыми и новыми именами – их произведения, мы уверены, будет любопытно прочесть нашему постоянному читателю.

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Сергей Главацкий. **Свой в матрице.** *Стихотворения* 6
Одесса: Валерий Сухарев. **Жизнь как субботник в диком лесу.** *Стихотворения* 12
Одесса: Владислав Китик. **Стихи меня оставить не хотят.** *Стихотворения* 18
Одесса: Мария Савченко. **Дрожит Вселенная дыханием одним.** *Стихотворения* 22

ПРОЗА

Одесса: Алексей Рубан. **Последний день Джонаса Стенджерса.** *Повесть* 27
Одесса – Иерусалим: Евгений Кузьмин. **В небо.** *Рассказ* 40
Одесса: Александр Щедринский. **Инсталлятор.** *Рассказ* 52

ПОЭЗИЯ

Киев: Дмитрий Бураго. **Из хрустального неба в ладонях.** *Стихотворения* 58
Санкт-Петербург: Нина Савушкина. **Я помню отступление зимы.** *Стихотворения* 62
Красноярск: Эльдар Ахадов. **Головокружительные сосны.** *Стихотворения* 67
Кишинёв: Татьяна Некрасова. **Судьба всего царапина.** *Стихотворения* 72

ПРОЗА

Калининград: Дмитрий Воронин. **Одинокая парта.** *Рассказы* 77
Москва: Рада Полищук. **Мама вернулась.** *Рассказ* 83

ПОЭЗИЯ

Саратов: Наталия Кравченко. **Размытый контур силуэта.** *Стихотворения* 92
Прага: Людмила Свирская. **Соломинка последнего стиха.** *Стихотворения* 96

ПРОЗА

Одесса: Евгений Деменок. **Хорошо.** *Путевая проза. Окончание* 100

«КАМЕРА-ОБСКУРА»

Одесса: Вероника Коваль. **Трансформер Сирано.** *Литературоведческий очерк* 109

«ЛИТМУЗЕЙ»

Москва: Станислав Айдинян. **Рукописи А.И. Цветаевой из чердачной пыли** 114
Москва: Наталья Менчинская. **Крымские «аргонавты», М.Н. Изергина и её переписка с А.И. Цветаевой** 119
Воронеж: Вячеслав Битюцкий. **Воронежская дворянка Анастасия Цветаева** 134
Москва: Владимир Дядичев. **В.В. Розанов и Анастасия Цветаева** 147
Тюмень: Александр Медведев. **Тюремная и лагерная поэзия Анастасии Цветаевой 1937-1943 гг.: опыт преодоления «зоны»** 154
Коломна: Александр Руднев. **Скрещенье судеб в старом русском городе.** *Об альманахе «Александровская слобода»* 171
Одесса – Иерусалим: Илья Рейдерман. **Две встречи, изменившие жизнь.** *Воспоминания об А.А. Ахматовой и А.И. Цветаевой* 174

‹СЕТЧАТКА›

Одесса: Евгений Деменок. **Валентина Васютинская-Маркаде. Неизгладимые встречи** 178

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

Сон внутри яви. *О книге Сергея Сумина «Белое сердце зимы»* 185
Синдром Афродиты. *О книге Алёны Овсянниковой «Медленное солнце»* 187
Земля без посадки и дна. *О книге Николая Васильева «Нефть звенит ключами»* 188
На волосок от бессмертия. *О книге Анны Арканиной «Зреет яблоко»* 190
Монета у Бога в руке. *О книге Аллы Арцис «Предчувствие лунного»* 191

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

Золотой вагон Геннадия Калашникова. *О книге «Ловитва»* 194
«Стой во тьме на своём!». *О книге Ирины Ермаковой «Легче лёгкого»* 197
Колокольное слово Эльдара Ахадова. *О книге «Тайны и откровения»* 201
Искусствоведение как философия. *О книге Валерия Байдина «Архетипы и символы русской культуры от архаики до современности»* 203
«Распахни своё зеркало настежь…». *О книге Ефима Бершина «Мёртвое море»* 205
«Безумствовать – право поэта…». *О книге Андрея Галамаги «Поводырь»* 207
«Когда мы превратимся в имена». *О книге Евгении Джен Барановой «Где золотое, там и белое»* 210
«Предчувствия, которые не обманывают». *О книге Максима Лаврентьева «Весь я не умру…»* 213
«Ты меня обними». *О военных стихах Бориса Фабриканта* 215

‹ШКАФ›

Коломна: Александр Руднев. **Современная женская проза: pro et contra.** *О книгах Юли Ан «Закат отменяется» и «Ещё две весны»* 218

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ

СВОЙ В МАТРИЦЕ

***

Антропоморфные созвездья
Глядят на нас исподтишка.
Любви тревожные предместья
Нас видят через облака.

Над танцем трепетных сомнамбул –
Сигнальные огни весны.
Уже разрушены все дамбы,
Уже таможни снесены.

Гнездовья чувств полны птенцами,
И автохтонный трепет их
Мы обволакиваем сами,
И эти чувства бьют под дых,

И расступаются поверья,
И нет пути назад, мой свет.
В глаза твои взглянув, теперь я
Не отведу свой взгляд навек,

И в новой жизни, в светлой дали,
Где каждый заживо прощён,
Мы будем теми, кем не стали,
И там, где не были ещё.

ПОЛУОСТРОВ ШАМАНЬ

коктебельского ветра послушать хочу,
его зуммер прерывистый и многослойный,
многословие спутников мне по плечу –
я учу наизусть иллюзорные войны,
я кидаю кольцо в коктебельский очаг,
запрягаю пальто и глушу небылицы…
перевод этой бухты на русский начав,
не могу перестать, то бишь – остановиться.
коктебельского моря наполню кувшин
своей памятью рваной, что сетью рыбацкой,
опечатаю воздухом душной души
и пойду сквозь пространство с улыбкой дурацкой:
пусть в нём варится всё, чего быть не могло,
что упрятал от глаз календарный шлагбаум…
через ветра сигналы, твои в нём *алло*
каждый день прорастают мои *дацзыбао*.

то ли это свой в матрице, то ли судьба –
опрокинутый нерв в кочевом инфразвуке…
коктебельского ветра во мне ворожба
всё трубит в горизонта разболтанный флюгер.

БЕРЛОГОВО

Понимаешь ли, время слоится, как шторм.
Этот город давно стал своим антиподом,
Он теперь закольцованный, он – коридор
Без дверей. Я забыл, что такое свобода.

Удовольствие так себе, не комильфо –
Выйти вечером в город такой без зазнобы.
Я его разлюбил, я любил не его,
Это точно какой-то ментальный Чернобыль.

Как попал я сюда? Кто его превратил
В лабиринт уходящих под купол оградок?
Я хотел поделиться с тобой по пути,
Что забыл, как я жил без секретов и пряток.

Вот такая забава, обратный отсчёт,
В этом городе, в нашем последнем приюте…
В нём душа испарилась, как спирт. А ещё –
Исчезают бесследно в нём зримые люди.

Я хотел выйти в город, покинув нору,
И с тобой лицезреть его каменный призрак,
И с тобой помянуть его брошенный труп,
И уйти в его миф, как и он: быстро-быстро.

Это мог быть последний ночной променад,
Потому что над призраком реют колибри,
А во тьме проявился неведомый знак,
И на теле бесплотном поставил экслибрис.

ПРАВДА

1.

Да что вы знаете про чувства,
Как дорог тот, кто далеко,
С кем разошлись, как створки устриц,
Ампир, барокко, рококо,
С кем не стояли на развилке,
Из одного ствола растя,
Как дороги теперь опилки
Его для бывших лебедят?

Как долго в настоящем пусто
Без наших брошенных лачуг,
И расставанье горше дуста
Совсем немного, лишь чуть-чуть,
Как из небес сочится холод
И током бьются ворота,
Как ощущаешь ты, что холост,
Хотя не холост ни черта,

И только та взаправду знает,
Кто мне дороже всех Лолит,
Как не рождённое, стеная,
Всё так же дьявольски болит,
Как глупо и непринуждённо
Развилку мы изобрели,
Как, отрекаясь от Ньютона,
Всю жизнь бесследно стёр delete…

Ты знаешь, как беспечно много
В моих ветвях твоих пичуг,
Как несть числа их диалогам –
Я берегу их, как свечу.
Мой термоядерный реактор,
Виной, как топливом, – до рта…
Он видит неба катаракту,
Ему так хочется летать…

С виной своей я крепко сросся,
Сильней, чем был сплетён с тобой,
И днесь не я, а небо просит:
Прости его, пока живой…
Я не прошу во снах антрактов,
И жизни с чистого листа.
Хотя бы издали, постфактум,
Прости меня хотя бы так.

2.

Как будто я вошёл и вышел,
И потерялся навсегда –
Застыл, но в то же время выжил,
Остановился, как слюда…
Так жизнь уходит восвояси,
Как я ушёл от всех вендетт,
И на слепом иконостасе
Господь в тебя давно одет.

В дверях, где я стою всенощно,
Гудят сиреною мозги,
Через меня несутся мощно
И поезда, и сквозняки,
Стихи твои о невозможном,
Года висят на фонарях,
И я стою, стою безбожно
Оплывшей пустотой в дверях.

И остаётся только молча,
Не понимая ни черта,
Беззвучно прятаться от порчи,
С открытым ртом, разъяв уста,
Стоять растерянной могилой,
Слегка пульсируя умом:
Она само так получилось.
Оно само. Оно само…

***

Это просто пейзаж, из которого прочь
Уползать по-пластунски мне каждую ночь,
Из которого пятиться, словно отлив,
Наготу твою стряхивать – крайне брезглив:

Прививать черенки обездушенных тел
Мне совсем не к лицу, я давно не у дел.
Не ищу я путей, уж изволь, хоть убей,
Осквернять себя памятью вновь о тебе.

Прирученье тобой девиаций чужих
Мою рваную душу уже не страшит,
Одомашниванье нечистот головой
Для меня и не значит совсем ничего.

Это просто извилины: взять-постирать,
Чтобы за полночь вновь положить их в кровать
И не помнить последние десять веков
Или, может, столетий… Рецепт мой таков.

Ты была божеством, я проник в божества
Потаённый язык, где как ясли – слова,
Но теперь – я не знаю тебя, существо,
В тебе нет ничего, ничего из того.

Так что мне не пиши теперь, разве что из
Наших прошлых ландшафтов, цветущих, как бриз,
Или лишь из грядущего, там, где вполне
И меня уже нет, ведь тебя уже не.

***

Уходили впотьмах, ибо слепы давно.
В небе плавились камфора и канифоль.
Ты просила, чтоб я заговаривал боль,
Я же мог лишь залечь на безмолвное дно.

Изнутри слышно всё, в глубине ярок слух.
Над землёю растёт пылевой зиккурат.
Я прощенья просил бы, но я виноват
Только в том лишь, что прежде я слеп был и глух.

Не спросить, чем живёшь, каков вид из окна,
Не узнать, на Земле или в Небе жива –
Ничего нет страшней, да и горше едва:
Этот страх – мой единственный страх, тишина.

Жили прошлым и будущим, но не всерьёз.
Не смотрели наверх, раз один небосвод.
Уходили впотьмах, не узнав ничего
О судьбе наших грёз, о судьбе наших грёз.

Перекрёстки на линиях рук – ни к чему.
Мы играя по жизни неслись на убой,
Понарошку мы счастливы были с тобой,
Но ушли – наяву, в настоящую тьму.

***

Когда я умер? Помню день,
Когда во мне зачат был робот,
Когда я всё перехотел
И всё волшебное прохлопал,

И, разучившись воскресать,
Был удивлён, смятён, растоптан,
И захотел к тебе – назад,
Чтоб ты – всегда, везде и оптом,

Вернуться в прошлое и петь,
Ведь голос – это самый воздух,
Вдыхать свой путь, не видеть бед,
И чтобы всё решалось – просто,

Готовым быть всё воплотить,
Постичь, прочувствовать, усвоить,
И чтобы на моём пути
И ты была со мной – живою,

Носить в себе такой огонь,
Которого бы всем хватило…
И видеть очень далеко
За пазухою у светила…

Влюбляться и в себя влюблять,
И каждый день – как в самый первый…
Моя бескрайняя земля,
Мои ещё живые нервы…

Но робот рос в моей груди
И превращался в чёрный ящик…
Я был прощён и всех простил,
И перестал быть настоящим,

И в паритетной тишине,
Забвенью отданной под роспись,
В котле уже ненужных нег
Расцвёл души колючий хоспис.

И в этот самый чёрный день
Сродни полярной вечной ночи,
Отрёкся я от всех чертей,
Людей, богов, миров и прочих,

Но не забылось ничего,
Никто не стал чужим и прошлым,
А просто это существо
Погибло и уже не ожило.

***

Это горькое счастье разлуки
между теми, кто не был вдвоём,
кто, друг друга не взяв на поруки,
как слепые, глядят в окоём…

Но не писан закон для влюблённых,
и вселенский закон – не указ,
пока лес догорает зелёный
и Нева высыхает пока,

и впечатаны намертво в воздух
холостым иероглифом мы,
словно филин, забывший все гнёзда,
потерявший исконный свой смысл.

Не забудь это мёртвое счастье,
север память стирает дотла,
он не знает, где спрятаны части
тех, кем *я* был и кем ты *была*.

***

Мы увидимся снова… во сне коматозном,
Будет май, и гвоздики прибавят в цене,
Мне захочется жить, хотя жить уже поздно,
Ибо Явь пронеслась мимо нас на коне,

Наш китайский фонарик во тьме не заметив,
Мегафон не расслышав во время грозы.
Мы почувствуем лишь: ускользающий ветер
И вращение флюгера, будто часы.

Пока минное море цветёт громогласно,
Одиночество – триллер, снимающий скальп.
Вот дожить бы ещё до улыбок заразных,
До прощенья грехов, до цветенья каталп.

Как зеркальная гладь, я кощунственно хрупок,
Это тело, увы, для души моей – тромб.
Многоликая Навь марширует по трупам
И всё ближе мицелий её катакомб.

Моё время пришло. Извини меня, правда…
Ничего не успел и не спас никого.
Сохраню хоть в своих коматозных ландшафтах
Абсолютное наше живое родство.

Мы научимся жить, как цветы полевые,
Забывая о боли не только во сне
И отбившись от рук, улыбнёмся впервые,
Застывая, как памятник вечной весне…

ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

ЖИЗНЬ КАК СУББОТНИК В ДИКОМ ЛЕСУ

***

Все коты – масоны, все кошки – бл[…].
Люди меж ними квёлые, как Христа ради,
топчутся или снуют, робко под ноги глядя,
и побочная жизнь то стоит, то летит.
Женщины алчны через раз, мужчины
потеют, разглаживая мускул морщины,
в природе давно нет ни радости, ни чертовщины,
лишь лепет птиц и листьев невнятный петит.

Я забыл, зачем я вышел: возможно, по кругу
гулять, отражаясь в озере, или какую подругу
для этих прогулок искать – не звонить же другу
всякий раз, как я выпить горазд.
С женщинами это куда интересней, – точно
знаю, что говорю; на пнях, у воды непроточной,
начиная болтать не с прописной, но строчной,
но сбиваясь на пение всякий раз.

Ни Гименея и ни геникея я не пою – довольно.
Жизнь как субботник в диком лесу – добровольна:
ни крамолы, ни добродетели, и как-то не больно
дятлу морзянку стучать на скворца.
Кретинская жизнь, а глядишь – прошла же,
мозги искусив и душу спалив, не оставив даже
выбора – куда дальше двигать: так на распродаже
предновогодней спадает глупая дева с лица.

Накупит всем ерунды в целлофане трескучем,
да и пойдёт вприсядку от радости, и до кучи
ощущений – заглянет к подруге с выраженьем, текучим
от времени и макияжа, выпьют, она заночует.
Прилёгшая отдохнуть восьмёрка издаля похожа
на концертную бабочку – бесконечность тоже
подстраивается под нас, и жизнь, без рожи и кожи,
всё нудится, просит взаймы, кукует, словом – кочует.

***

за кошкой тень хвоста за тенью
пыль и угол и агава как вростение

за чайником когда уже вскипел
кудлатый пар как лев толстой и мел

и дева юная раскинувшись одна
лежит собою на себя обречена

вот мир не покладая глаз предметы
подмигивают строят дежавю об этом

печально и уютно вдалеке горит
ночник что та гнилушка тёрпкая на вид

а за стеной бубнят частоты там Рувим
танцует закусив губу непоправим

он весь моторика ему за пятьдесят
соседи тоже как-то вяло голосят

я здесь живу луч солнца во дворе
скользит по снегу в прошлом январе

а ныне лежбище котов приватных
и взглядов их и долгих и развратных

НЕ ПОЭМА. ПУТЕВОЕ

Вот этот парк, очередной, неизбежный, пустой,
можно свистать манфредменом, скворцом вить
и длить тему пространства и жизни там; и отстой
парочек на скамьях, столько слов, что не переубедить.

Я притаюсь в пределах ракит и сирени, со своих берегов,
болтаясь, где Бог подскажет куда и зачем не ходить, –
везде более или менее утки на утюге озера и игра в го
пешеходов и дольних птиц; после виски охота пить.

Январь и февраль в мобильной тоске календаря;
я не хочу такси, мне не нужны пицца и замок над
старым мястом, с клопами японцев; сучьей своей благодаря
природе, вижу разруху фронтонов и женщин, как конокрад

ночную добычу; добро, и квасные утки отечества тут,
где дымится, скучая, шалман, и девичье дезабилье
зияет из-под дачной мебели столиков; и рядом батут
для детской сволочи; вдалеке трасса, и фары струятся колье.

Эти слова пока не из последних, мнится, но и я сам
не ведаю, когда заткнусь, переступив на месте ногой,
что конь пространства, его же раскидывая на голоса
автомобилей и мыслей, оргазмов и плача, опять игра в го.

Ты – это точка в подвале памяти, несмелый артефакт
моего музея тоски, но охраняемый бабками снов по углам
мужских этих рифм, в пыльной зальце, где теперь виноваты
только тени былых событий, но и они, гримасничая, стали хлам.

За окном не сирень от Кончаловского; и слова эти прописью –
способ с ума не спятить, рифмуя всё что попало, как полароид,
где все – с глазами кроликов, даже ты, и края квадрата перекисью
словно обляпаны – похоже на воск или секрет любви, где роет

ямку уюта твоя рука… Закончено, как в кормушке скворца пшено:
на новых местах и в городах бедекер я сам себе, и анабиоз
дрейфующих уток в озере и небесах напоминают окно
и вид из него куда-то туда, и в фонарях терпкая жалость мимоз.

***

дева бродила по дому перебирала
разную утварь наволочки одеяла
чашки унынье тарелок и я из кресла
хотел или нет невольно видел чресла

как ей хотелось любви уюта и дома
но ничего не умела и чашки била
и шаркающей походкой пижамой влекома
если б и родила то точно дебила

вот и весь мемуар за людей так грустно
словно они напрасные и кривые
зато во щах бывает очень даже капустно
и идиотов надо пынять по вые

надо кошку любить она пригодится
мышь поймает ежели спать не будет
или весёлую и бесполезную птицу
но более будет ходить следом и нудить

и дева бродила и кошка шатались
всё это ужасающее постоянство
закончится после меня немного осталось
виски цыгарки бытийное картезианство

***

Избыточная и цыгановатая листва октября, дорогой
к тихому побережью и звонким чайкам; народ на песке –
как в траченном клювом подсолнухе семена; и, с тревогой
выпив, глядят за порог горизонта в нетрезвой общей тоске.

Вечереет. В голове зажигается эконом-лампа, и мысли
начинают звучать, как на чужбине родная речь, четки,
что шаги за стеной, в коридоре; и над кромкой воды повисли
привиденья судов на рейде; и некто, с правой руки,

начал прощальный заплыв, плюясь и с судорогами, –
цельсий снаружи и изнутри пловца в диалектическом
диалоге, с берега кличут и машут водкой и бутербродами,
особенно женщины средних лет, о пловце помышляя тайком.

Жизнь просрали, ярясь, и бабье лето счастливо пропили;
морская мелкая рябь как целлюлит у них на задах и там,
где и спьяну не хочется гладить, – это молодость твоя скачет, или
то, что осталось от и дожило до этой осени… И мелкая маета

жизни, однажды начавшись, как дурная юла, уже не
завалится на бок, закончив разбег на месте, и это жжжжу
наматывает мозги на вертел; бессмысленное вполне движение,
как карусели детства, до бледности и тошноты. Я сижу

и вижу: вот, топал к морю тропою ежа, а вышел на небо, и там
флейтят, тромбонят и геликонят, словом – дудят изо всех
крыл заместители ангелов, бомжи небес; и та же всё маета,
мог бы и не возноситься; и тучи из Турции тверды, как грецкий орех.

***

Громкие, как пионерские горны, собаки снуют
без сна, за окнами, где уже листопад, и дождь
ходит мимо окон, сметая листву; и в доме уют
лишь в тихом углу, на кухне; и как индейский вождь

колобродит наглый сосед, щёки вздув, словно футбольный мяч,
и ты вдалеке, что Белка и Стрелка или ледокол;
над озерцом ракита склонилась и смешно и вскачь
скрипят качели, будто вставной сустав; и бледное молоко

небес не пьют небожители, и в дому никого,
даже призрака нет, и денег, и дева сгуляла,
утащив с собою радость и разнообразное волшебство,
не натянув мне на нос, чтобы задохнулся, тяжкое одеяло.

Ночами здесь тушат свет, бубнят за стеной, и в
подвалах дигтеров нет – все спились и перевелись…
А тебе я назначаю свидание под сенью печальных олив,
возможно, прощальное, как рассохшаяся табуретка… И в высь,

над моей головой, взлетят кроны клёнов и пустые слова,
сказанные тебе и невзначай, а не просто от сирой печали…
Качели в саду скрипят без тебя и меня, и грузинская пахлава
из унылого бара веет и веет в окно, словно ветер на диком причале.

КОТ И МОРЕ

Променад, вялотекущая публика ноября и
и такое же, но плохолежащее море, никто не крадёт;
попивая по случаю заморозков и тоску нагоняя
на себя же, иду к воде, где у кромки болтается кот.

Уже зимний и одинокий, вроде моих зрачков,
что-то нашедших на рейде или даже за ним:
сухогруз – точкою невозврата, и диоптрии очков
его лишь отдаляют; ошуюю Турция, одесную Крым.

Или наоборот, это как стоять по отношенью к воде,
и рыбе в ней, и той вон деве на пирсе, и чайке той;
такую деву зрачок, не напрягаясь, отыщет везде,
а чайка всегда заведует воздухом, холодом и пустотой.

Но думаешь не о деве и чайке – не то, не дай бог,
промелькнёт пенсне и появится Чехов А.П.; и ты сам
сейчас – немного его персонаж, которого он приберёг
на потом, но не успел и умер; и у меня похожая полоса –

но медленного умирания: костенеешь, деревенеешь, стеклянеешь, никого не кляня, но и не любя, как-то сам по себе…
У кота вместо зрачков рыбины – вертикально – и на хвосте,
могшем стать воротником, – водоросль как приложенье к судьбе.

ПИСЬМО В БЕЛАРУСЬ

Гамбургскую я подарю тебе с неба луну,
застрявшую над дугой модерна, над
классическим портиком, что весь – в длину –
в голубях с их снами; в небе ночной маринад

порта и городской подсветки, с трупными – от
неона рекламы – пятнами, это вид из окна,
из чужого жилья, где виски едят, как компот,
впиваясь в облатки салями, на улицах тишина.

Вторые сутки, третий час ночи или утра – это как
посмотреть и отсчитывать, дёргая за бубон
ходиков, точно воду в сортире сливая; в пятак
получивший от норда октябрь утёрся и вышел вон.

Раньше я о тебе хотя бы грустил в уголку,
что сродни подростковой забаве досужей рукой,
жаль не угробленных лет, но чувства – оно к потолку
поднимаясь, как призрак тебя, рассеивается; и покой,

пустой и долгожданный, вплывает, тих,
через глаза, ноздри, уши, и только рот
работает на вдох-выдох, как помпа; и этот стих
я замедляю нарочно, но всё равно до тебя не дойдёт

тайный и скрытый шёлк его подкладки цветной,
а сверху может морщить какая угодно ткань…
Зато хоть отчасти узнаешь, что эти годы со мной
было, случилось и вышло. И за окнами рваная рань.

***

Севрский фарфор закатных осенних небес
над моей головой трескается от эолов; зима
уже не за крышами, кошка шерсть набрала; чудес
как не было, так и нем я, мыча о своём и не сходя с ума.

Или сходя – я не знаю и ты не знаешь, кто это прочтёт –
плакать не надо – у разлуки бёдра весьма широки,
самый раз в пифагоровы джинсы твои – от широт до высот;
я любил тебя, как ладонь силомер, у Свислочи реки.

У нас здесь первозимок пластами лёг, и кошки бодры,
словно *крэм-брулэ на платешке*, что ты никогда не
надевала при мне – разве в молодости, и до грустной поры,
когда свела прыщи томления обо мне на валком диване.

Поздно вставать или рано ложиться – всё равно уже
исполать, а тапок-то нет; кто ж тебя строил в угрюмой ночи…
Мне было холодно рядом со стоп-краном, где на верже-
бумаге написано и висело печальное либидо твоё… Мычи-

не мычи ты теперь, сотрясая сухой простор
своей верхотуры – всё в отлив утекло и там сбылось.
Я вышлю трактор тебе, чтобы покорять вехи гор,
навсегда Кавказских, и чтоб на тропе был лось.

***

котов и собак я уже посчитал но кренится на
борт утлый ковчег все топочут и мнутся они и не
понимают что завтра тоже здесь и новизна
невозможна пусть под конем или же на коне

я пишу тебе это не терзая перчатки замш
это преамбула к голодомору и прочим раздраям
этот стих скор как сбежавшее молоко не наш
да и наших-то нет а мы им зря доверяем

вообще-то всё наверное мне можно пойти
и покурить в астральном пространстве над
самим собою и игра чисел то пти жё то пти-

цы на цыпочках мелко летают зрачок дробя
словно брейгель с сороками на худом
фоне бельгийского неба и женских белков не любя
которые как студень мы заходим в дом

нас там не ждали как и вообще не очень ждут
переверни одеяло сделай роскошный жгут
чтобы никому не мешать и когда приберут
за тобой – останется тень на стене на сорок минут

ВЛАДИСЛАВ КИТИК

СТИХИ МЕНЯ ОСТАВИТЬ НЕ ХОТЯТ

БОТАНИЧЕСКИЙ

С утра был весел, а теперь грустит,
Глядит, уняв бузинную жалейку,
Как, взяв метёлку, ветер норовит
Расчистить хмарь с нехоженой аллейки.

Вздыхая, как живое существо,
Он был, но не хотел быть просто садом
И сделался нескучным оттого
С листвой, её кругами и *glissando*,

С избушкой, что стоит особняком,
С особняком старинным и неброским,
С не менее лирическим дуплом,
Чем то, где прятал весточки Дубровский.

Да и о нас намного больше нас
Казалось, знали ясени и кедры,
Когда скрывал просмоленный каркас
Биенье сердца в ксилофонных недрах.

Сад не внимал ни числам, ни годам,
Но понимал за жёсткостью ограды,
Что растекаясь мыслью по ветвям,
Он лишь приблизит сумерки распада.

В кругу трамвайных трелей и орбит
Он, тишиной укрывшись с головою,
По-детски притворялся, будто спит,
Чтобы его оставили в покое.

***

Самый старый мёд из когда-либо найденных,
имеет возраст 5000 лет.

Википедия

Дай мёду мне, звенящая пчела!
Крылатый мускул в небе золотится,
Объятия раскрыла медуница,
Вонзается волшебная игла
В душистый ковшик.
И нектар искомый,
Мастеровым сноровистым народцем
Из рода легкокрылых насекомых

Добытый, по усам и пальцам льётся
Уже пять тысяч лет.
Пчела умрёт.
Приходит преходящее… Но мёд
И мухи – это остаётся.

***

Галка крикнула, откликнулась ветла.
Медь вибрирует. Звонят колокола.
Пьёт барбос из лужи, остужает вой.
Рыжий хвост метёт по стрелке часовой.
Стен застенчивость, но – сглажены углы,
От метелей давних злы вихры метлы.
Счёт событий начат с чистого листа, –
Отзвук мысли подноготной: неспроста!
Что ещё?
Забыли мячик шалуны.
Жук ползёт, нашив на спинку галуны,
Босиком по кочкам прыгает тропа,
Сбоку свалка. Ну и что: любовь слепа!
Проникает в суть репейника пчела.
Отирают пот с чела колокола,
Тишина с морскою солью пополам,
Самолёт оставил в небе тонкий шрам.
Приглашают в гости пятого числа.
Вроде – всё!
Минута жизни истекла…

ПРОГУЛКА

Настал свой час – назначил свой порядок.
На склонах осень выпала в осадок,
На Пушкинской октябрь, и на бульваре
Октябрь.
Я, этой данности частица,
Эстетствую, любуюсь продавщицей,
Представив в северянинском муаре.

Иду, опальным золотом шурша,
Грош за душой докажет: есть душа!
Лишь хлеб небесный дан по птичьим крохам.

Я не спляшу под дудку скомороха,
И мировых проблем не разрешу.
Я только возглас. Продолженье вдоха,
И выдоха.
Чем море не эпоха?
Бездельничаю. Денег не прощу.
Спускаюсь к морю. Думаю. Дышу…

***

Ночь осыплет звёзды – только задень, –
На секреты поцелуйной скамьи.
На досужую сверчков дребедень,
Не дающую побыть в забытьи.

Дверь плечом упрётся в чёрный засов,
Завертит над лампой шар комарьё,
Я на стук твоих ночных каблучков,
Невзначай открою сердце своё.

Переулок, битый шашелем лет,
Где мгновения клюют сизари.
– Что нас дальше ждёт, – спрошу, а в ответ:
– Проживи здесь жизнь и сам посмотри.

Каждый раз, когда не спится, я – там,
Но завидовать себе не велишь
Опускающимся с неба домам
Под седыми парашютами крыш.

Мы искали здесь с тобой маков цвет,
Приходили здесь любить тишину.
Переулок мой, которого нет.
Загляну в его глаза – и тону.

ПИСЬМО ОДНОКЛАССНИКУ

Стены цвета мамалыги. Закуток.
Жарят скумбрию. На кухне ждут гостей,
На крыльце секретом делится замок,
Двор парит на крыльях белых простыней,
Врос в сознанье каждый школьный позвонок.
Под насмешливый укор кариатид
В два шага крылечко – болевой порог:
Образ мыслей, как коленки, в кровь оббит.
Здесь осталось жизни более, чем лет,
А судьба длиннее календарных дней.
Скрыт прошитый белой штопкою секрет:
Друг для друга мы, чем дальше, тем нужней.
Приезжай, повспоминаем, посидим,
Свесим ноги в море с краешка весны,
И через плечо обратно поглядим,
Как сбежавшие с урока пацаны.
Выдув памяти заначки из углов,
Засвистят в четыре пальца чердаки.
Время милостиво, возраст не суров,
Стихли грозы, свесив радуг языки.

***

Горячей линзой выгнутый зенит.
Потемкинская лестница. Гранит.
Зачем-то с вечера невозмутимо море.
Как в оркестровой яме, порт лежит
В оправе берегов.
Маяк в дозоре
Зачем-то щурится на мельтешню хамсы.
Прямая речь причальной полосы
Наводит на швартовщиков дремоту.
Здесь белый свет сошёлся клином отчего-то,

И меркнет легкомыслие острот,
И отступает боль глухонемая.
Вот так и сам, не различая нот,
Ты, задыхаясь, музыке внимаешь.

***

Скрип открываемых ветром ворот,
Колья ограды на страже запретов.
Лето – без меж. Но проходит и это,
Думая, что никогда не пройдёт.

А листопад уже сводит с ума,
Блажью, сквозным потрясением, вспышкой.
Как заклинанье, на листьях кайма
Медью чеканена. И передышки,

Сколько б ни чаялся, не даёт.
Осень лишь стрелки назад переводит.
Так говорится, что время идёт,
А посмотреть: не прощаясь, – уходит.

Что остаётся? Немое кино
Памяти, – дальше смотреть без тапёра, –
Далью намоленное окно,
Письменный стол со всегдашним укором,

Карего чая спадающий зной,
И с уплывающей в лодочке утлой
Паузой – игры в гляделки с Луной,
Где всё равно побеждаешь под утро.

***

Пальто семисезонное надев,
Неведомо куда уходит день.

Оно висит на вешалке пространства,
В воде не мокнет, не горит в огне,
Завидуя такому постоянству,
Стихи приходят *за* полночь ко мне

Под лай собак, под грубый гул брусчатки,
Летящей под колёса лихачей.
И пробуждённый замысел в зачатке
Как будто мой, но всё ещё ничей.

Так откровенно голову морочишь
Себе, чтоб хоть понять, чего ты хочешь.
Послать бы их, куда Макар телят
Не гнал,
чем переделывать и править,
А после разочароваться,
да ведь
Стихи меня оставить не хотят.
И я в ответ их не могу оставить.

МАРИЯ САВЧЕНКО

ДРОЖИТ ВСЕЛЕННАЯ ДЫХАНИЕМ ОДНИМ

***

Между цветком
и благоуханием –
это
между скрипом двери
и стылым мраком ущелий
это –
между идущим и
тем, что шагает навстречу –
всего лишь возможность
умноженная на неизбежность.
Между несостоявшейся ссорой
и замершим жестом –
Это – пыльца с боков кобылиц,
на нерест ушедшие против теченья лососи
Это – тот мрамор, прохладой застывший
под чьей-то рукою,
что дарит покой и не жаждет награды

***

Вот она,
девочка,
о которой никто
ничего
не знает.

Она ходит под ливнем,
Серебрится рыбой в пруду,
Изучает камни
придорожные,
гальку,
иногда планеты,
рисунки на коре деревьев,
и то, как ветер
завязывает узелки на траве.

У неё серебряный голос,
но её почти не слышно,
потому что для этого нужно,
чтобы было сильно тихо.

***

Если уже говорить,
то так, будто смотришь на звёзды,
на реку, читая её тягучую мудрость,
на мерцание огоньков города вдалеке,
скрывая иногда улыбку вуалью тумана,
так, чтоб и в молчании было тепло.

Стрелы, пущенные наугад,
спящие лотосы
шкуры на ложе
тысячеликие боги
в каждом – младенец
В каждом младенце
Тишина – неукротимая,
как апогей танца,
длящийся вечность минуты.

***

Как сложно ждать,
И зная всё, теряешь время.
Но истин обезличенная суть
лишь в робота войдёт – идеей
из пары строчек иль томов трактатов.

Коль ты не ты, то твоего ума
цветущие поля не прорастут пшеницей,
где зёрнышко от плевел отделять придумал кто-то.
вот ведь небылица –
И то, и то полезно.

И вот, глубин, таящих суть,
дышащих волей и фантомной болью…
не обессудь, ведь мысль ириской,
намотанной на зуб,
всё будет липнуть и тянуть
привычкой гиблой.
Но всё ж глубин, таящих суть,
не очертят межевым камнем,
И речь, познавшая испуг,
всё ж потечёт
иным рукавьем…

Все в сборе.
Что же мне терять?
Личину сбросить,
иль напялить маску?
Животворящим гневом путь
проторен тех, кто знали сказку
быть собой.
И ветви шелестели нимбом,
И Б..г забыл, как нас любить.
Пусть вспомнит – вот моя молитва.
Иначе – ну зачем всё это?

***

Тень света – свет тени
Остановка ума – тело в смятении
Такой медленный танец
Почти не дыша
Избегая прикосновений
Шепчет душа
Отворачиваясь от прямых столкновений
…И отрешённо скользит время,
Удерживая необходимость
Проведения ровных линий.

***

Мои руки сейчас как фламинго,
а чёрные ногти как клювы.
Я мчусь и мечусь
сидя на стуле.
То ли увидеть
и к телу прижаться,
то ли забыться
в полуночной дрёме.
Что-то успело меж нами сказаться,
нечто – раздвинуло нас поневоле.
Меткими дробями фраз
в изголовье
листья, исписаны почерком мелким,
густо ложатся
кружевом прочным,
пошлостей дыры собой заполняя.
Может быть смело,
а может быть ломко,
может быть танго
или – чуть дыша.
Резко и головокружительно больно,
и расстояния ищет душа.

***

То ли я себе сейчас чужая,
то ли я людей не узна*ю*…
То, что поглощает тьма ночная,
звёзды трепетом и терниями воздают.
Не вещай мне птица Сирин
о печали…
я сама тебе о ней могла бы спеть.
Те, с кем мы друг другу обещали
встретиться –
руками тянемся,
но можем не успеть
пальцами соприкоснуться в узнаваньи,
взгляд отвесть в столь
пристальном молчаньи,
что ломает лёд
и взращивает агнь.

Но я воспламеню сейчас
лишь сигарету,
и разнобой фражибельных решёток,
восхожденья фракций, значений менуэты
меня не избавляют от кого-то,
с кем я бы обрела
и полноту, и смысл.

***

В чертогах светлых,
опоённый зноем,
ушитый влагою,
рекой небесной,
стою – коленопреклоненный –
пред тобою, главу склонив.
Уста твои разверсты,
но замерли слова,
и в томном вздохе
глаза подёрнула слеза.
В ней свет дрожит,
и перед ним –
дрожит Вселенная
дыханием одним.

***

Меня учили не просить,
не лезть на дыбу,
Чужого горя не испить,
свое забыв,
Не допускать – не отпустив,
Не верить – не проверив.
И не любить…
И не любить…
И не любить…

А я училась отпускать,
покуда держит
инстинкт, воображение, экстаз,
и много реже –
have money bit,
have honey being,
а то зарежем.
В моём воображении слюда
слоилась облаками, и туда
не всякий и внимал, и попадал,
покуда правил.
В моём воображении – среда
была наполненною радостью
всегда, пока не допустила тех,
кто хоть едва,
но всё ж её исправил.

И была течь, и был её исток.
И было правило, его отсутствие
и торг.

Присяжных речь и
пристежных коней
подспудный рокот.

Я видел распинающих толпу,
я видел ежедневную мечту,
осуществляемую головой в песок,
оберегая каждый свой росток
навозной кучей.
Мне было мало –
я был смел.
Я рыл inside,
я грёб on smell,
но учит случай.
И потеряв и голову, и хвост,
забыв о тех форпостах,
что пришлось
пройти,
интуитивно обходя пути,
бездумно глючив…

И я пришёл к тому, что есть всегда:
как в кране капает вода,
сетей электро трескает волна,
и ты лишь случай,
что какофонию сумеешь уберечь
от осознания трагичной личной встречи
с безмерной бесконечностью вещей.
уходим в музыку, и алкоголь спас вечер.

***

Декаданс – несовпадение
инструкций
ведёт к обструкции.
Девятый вал предчувствуя,
мы осторожно
идём по памяти помятым лепесткам,
и чтоб не сшибло, не снесло,
не разухабило
щербатый вычет прикрывая разнотравьем
и майским мёдом мнясь
несбывшиеся сны
толкают нас
к последующим главам.

АЛЕКСЕЙ РУБАН

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДЖОНАСА СТЕНДЖЕРСА
повесть

Бог жесток.
Стивен Кинг. Безнадёга

Сквозь узкую щель между плотными коричневыми шторами в комнату пробивался слабый свет серого осеннего утра, ложась на циферблат висящих рядом с окном стенных часов. Стрелки показывали семь двадцать. За последние три месяца Джонас всё чаще и чаще просыпался именно в это время – тридцатью-сорока минутами раньше своего обычного часа пробуждения в «прошлой жизни». Тогда это вызвало бы у него лишь глухое раздражение из-за украденного куска сна, но сейчас всё было иначе. Джонас долго размышлял над тем, чем был вызван подобный «сбой программы», пока однажды не осознал: таким образом его организм просто-напросто пытался восполнить то огромное количество времени, которое прошло для него впустую за все эти годы. Необходимо было привыкать к новой, казалось бы, уже навсегда забытой жизни, и здесь как нельзя лучше помогали свободные от рутинных сборов на работу утренние полчаса наедине с собой. Джонас неторопливо поднялся с кровати, сунул ноги в уютные пушистые тапочки, подошёл к окну и слегка раздвинул шторы. За толстым двойным стеклом средней силы дождь стучал по усыпавшим тротуар разноцветным листьям. Редкие прохожие передвигались быстрыми шагами, воздвигнув над собой купола блестящих от воды зонтов. В Город пришёл Ноябрь, и это было великолепно. Джонас вдруг подумал о том, насколько ощущение счастья меняет отношение человека к деталям окружающей реальности. Счастье заставляет тебя видеть некую скрытую подоплёку за самыми обыденными вещами. Приём пищи за завтраком становится наполненным неуловимым, но глубоким смыслом, облачение в одежду начинает доставлять удовольствие, всё вокруг намекает на присутствие где-то рядом неизъяснимо прекрасной стороны существования. Это чувство чем-то сродни странному свойству памяти, состоящему в том, что по прошествии времени человек может вспоминать с ностальгией даже одни из самых чёрных дней своей жизни. При этом он продолжает знать, что в тот момент ему было плохо, и тем не менее со всей искренностью жалеет о прошедшем. Подобное ещё случается, когда в нашем окружении появляются вдруг какие-то новые, необычные люди. Они притягивают нас своей неординарностью, порой мы даже восхищаемся ими, и вот тогда нам начинает казаться, что всё, что бы ни происходило с этими людьми, в корне отличается от нашей скучной обыденности, хотя зачастую на самом деле всё обстоит совершенно не так. Быть может, суть всего этого заключается в нашей натуре с её извечной неудовлетворённостью настоящим. Странно, но из тысяч прочитанных Джонасом книг ни в одной он не встречал размышлений на подобную тему. Наверное, для литераторов самым сложным в их труде является описание подсознательных процессов, перед которыми пасует любой словарный запас… Интересно, что сказал бы на это великий бытовой психолог Рик?

Воспоминание о Рике непроизвольно повернули мысли Джонаса в иное, не слишком приятное русло. Как бы ему того не хотелось, но по-прежнему имя старого друга вызывало в мозгу ассоциации с Большим Сэмом, вальяжно посасывающим сигару возле своего авто. Этот мерзкий образ, как будто слизанный из третьесортного гангстерского фильма, мог несколько подпортить оставшуюся часть утра, однако Джонас доведённым до автоматизма усилием заставил его потускнеть, а затем и вовсе опуститься в неведомые глубины сознания. Способность эту он открыл в себе недель пять-шесть тому назад, и поначалу по привычке отнёсся к ней весьма скептически, и тем сильнее было его изумление, когда он убедился в её действенности. Хильда называла это «внутренним фронтом», на котором постоянно идут бои, и успех сражения зависит в первую очередь от твоей уверенности в себе. Есть, конечно, и другие факторы победы, как, например, самоанализ и поиск наилучшей методики борьбы, и всё же ничто так не помогает в войне, как осознание собственных сил. Голос Хильды, произносящей эти слова, вдруг отчётливо прозвучал в ушах Джонаса, он перевёл свой взгляд налево и встретился глазами с любимой. Чуть склонив голову набок, будто прислушиваясь к шуму дождя на улице, она задумчиво смотрела вдаль. Джонас приблизился к столу, слегка коснулся пальцами стекла рамки, в которую была заключена фотография, и мысленно поблагодарил ту, которая пришла в его жизнь и научила давно утраченной вере.

Прошло ещё несколько минут. Ни снаружи, ни внутри ничего не менялось. Дождь всё так же продолжал лить на Город, и в этом было некое умиротворение, словно бы фея из сказки поливала сверху сонным эликсиром гигантское каменное чудовище, заставляя его понемногу погружаться в волшебный безмятежный сон. Джонас убрал свою постель, прошёл на кухню и, не зажигая света, начал жарить яичницу. В такие моменты, когда силуэты двухсотлетней давности домов за окном были подёрнуты водяной вуалью и дождевые капли разлетались сотнями брызг на скатах древних крыш, время будто бы прекращало свой ход, сворачиваясь в клубок, и потому казалось почти кощунственным, включая электричество, разрушать эту хрупкую иллюзию. Так, в полумраке, Джонас уже не одну сотню пасмурных дней совершал свои утренние ритуалы, словно впитывая в себя покой безмолвной квартиры, создавая защитный кокон от безумия внешнего мира. С появлением Хильды необходимость этой подготовки отпала, осталась лишь привычка, но сегодня Джонаса не покидало предчувствие, что его ждут какие-то важные свершения, которые потребуют много внутренних сил. Ощущение это сопровождало его в течение всех сборов, но как он ни старался вникнуть в суть происходящего, ему не удавалось ни на йоту приблизиться к пониманию. Одевшись, и проходя мимо огромного шкафа, где ровными рядами расположились разноцветные корешки книг, Джонас в который раз спросил себя, сможет ли он до конца спокойно наблюдать, как станет меняться его мир, сложенный из тысяч вещей, мир, география которого изучена вдоль и поперёк, мир, где исключены штормы и ураганы. Диккенс и Гюго, Достоевский и Кафка, Маркес и Зюскинд на массивных дубовых полках предлагали сотни ответов, но Джонас прекрасно знал, что ни один из них не сделает выбора за него самого. Вдруг он осознал, что вопрос этот возник в его голове скорее машинально, и ответ, каков бы он ни был, не имел сейчас почти никакого значения. Джонаса охватило чувство лёгкой эйфории и уже в прихожей, проводя расчёской по волосам, он не удержался и улыбнулся своему отражению в зеркале той улыбкой, когда кончики губ лишь слегка приподнимаются кверху, и все испытываемые человеком чувства наполняют собой его глаза, которые только в такие минуты и становятся истинными колодцами, ведущими в душу.

Джонас закрыл входную дверь и опустил ключи в боковой кармашек сумки, на дне которой, вместе с папкой черновиков нового перевода, лежал небольшой плеер и наушники-«затычки». Сегодня, впрочем, им, по всей видимости, предстояло оставаться на своём месте, и дело было вовсе не в дожде. Наушники в сумке не боялись влаги, и в другое время Джонас с удовольствием переключил бы своё восприятие на что-нибудь ненавязчивое и атмосферное, чтобы скоротать дорогу, однако сейчас ему хотелось остаться наедине лишь со своими мыслями, и музыка в этой ситуации стала бы скорее помехой, нежели приятным фоном.

Впереди лежали двадцать минут дороги на работу, извилистого пути между приземистыми домами старой кладки, выложенного выщербленным временем булыжником, в выбоины которого осенью всегда забивались ошмётки палых листьев. Дождь не прекращался, и, едва выйдя из подъезда, Джонас, насколько это было возможно, поднял вверх воротник плаща. Даже в такую погоду он не носил головной убор и не брал с собой зонт – привычка со смутной этимологией, корнями уходившая в раннее детство. Ещё до смерти матери Джонас иногда пользовался трамваем, когда на улице было слишком уж холодно либо в тех редких случаях, когда он по каким-то причинам опаздывал. Тем не менее, делать это он никогда не любил. Трамвай казался ему железным монстром, совершенно нелепо выглядевшим в этой части Города, где гораздо уместнее смотрелись бы конные упряжки или кареты с родовыми гербами на дверцах. Когда мать после быстротечной отчаянной, но безнадёжной борьбы сложила оружие перед раком, Джонас на неделю впал в тяжёлый ступор. Он с трудом осознавал происходящее и из всей вереницы лиц, мелькавших перед ним, хорошо запомнил лишь Аннеке, неотступно находившуюся тогда рядом, и плохо выбритого усталого отца, с мешками под глазами и неухоженными встрёпанными волосами. Отец, не проявляя особого интереса к происходящему, бесцельно слонялся по квартире из угла в угол, изредка вяло реагируя на соболезнования, но Джонасу казалось, что в зрачках его при этом затаилась злость на сына, который никогда не испытывал мук из-за развода родителей, и даже рад был полученной в результате территориальной свободе. Абсурдность этих рассуждений была налицо, и всё же Аннеке стоило долгих часов разговоров, чтобы убедить его в обратном. С отцом они больше не виделись со дня похорон, впрочем Джонас и не испытывал ни малейшего желания вникать в нынешнюю жизнь этого человека и его новой семьи с их мещанством и ленью. Именно с тех самых пор Джонас перестал пользоваться транспортом при перемещении на небольшие дистанции. Первое время после смерти матери он просто физически не мог находиться в запертой клетке трамвая или автобуса, испытывая своеобразную клаустрофобию из-за потока мгновенно наваливавшихся на него мыслей и воспоминаний. Ходьба же очищала, позволяя сосредотачиваться только на равномерном движении вперёд, и свежий воздух, которого так мало в центральной части Города и пока что ещё хватает здесь, выветривал из головы то, что вызывало тупую неотвязную боль. Понемногу пережитое притупилось, а со временем и вовсе ушло в область воспоминаний, возвращавшихся только иногда по вечерам, осталась лишь привычка к пешим прогулкам, прочно вошедшая в жизнь как всегда полуприкрытые шторы и обязательные две главы очередного романа перед сном.

Джонас продолжал двигаться дальше, обходя стороной попадающиеся на дороге большие лужи и перешагивая менее значительные. Сегодняшний дождь лишил его удовольствия выкурить по дороге первую, самую вкусную за день сигарету, но в этом не было ничего особо неприятного. В конце концов, не меньшее удовольствие от табачного дыма он сможет получить стоя под навесом на веранде своей конторы, наблюдая за тем, как на противоположной стороне улицы за стеклом витрины газетного киоска продавщица сортирует свежую прессу. Проходя мимо подъезда, над входом в который была прикреплена табличка с номером 43, Джонас в который раз подумал, что именно пристрастие к пешим прогулкам в конечном итоге привело его к встрече с Большим Сэмом. Однажды, где-то год спустя после разрыва с Аннеке, они с Риком бродили в этом районе, пользуясь случайно выдавшимися несколькими часами свободного времени. Вечерело, и сумерки придавали улице ещё больше таинственности, в тишине которой между стенами домов материализовывались призраки далёкого прошлого. Без всяких объяснений Рик вдруг увлёк друга под одну из внешне ничем не примечательных арок. Они прошли сквозь узкий проход, оказавшись в небольшом дворике-колодце, утопавшем в буйно разросшейся зелени. В глубине его виднелась покрытая ржавчиной калитка. Рик толкнул её рукой, и Джонас на мгновение застыл на месте, изумлённый открывшейся перед ним картиной. Даже зная о пристрастии своего спутника к таким сюрпризам, он никак не ожидал увидеть чего-то подобного. Сразу за калиткой начинался огромный двор шириной с два футбольных поля, противоположный конец которого терялся где-то вдали. Уже потом, во время своих неоднократных посещений этого места, Джонас сумел детально изучить планировку двора, где давно неработающий фонтан, украшенный облупившимися фигурами мифических морских тварей, соседствовал с баскетбольной площадкой, а в двух шагах от горбатой трансформаторной будки среди переплетения ветвей укрылась беседка, построенная ещё в позапрошлом веке. В тот же момент он не видел ничего, кроме бесконечных зелёных волн, уходящих к горизонту, чтобы разбиться где-то о далёкое неведомое побережье. Рик рассказал, что ещё пятьдесят лет тому назад такие дворы можно было встретить практически в любой части Города, сейчас же они сохранились лишь в Старых Кварталах, которых пока не коснулось железное дыхание урбанизации, и число их теперь не превышает пяти. В тот вечер Рик и Джонас целый час провели, сидя на старой скамейке под навесом из листьев. Они почти не разговаривали, лишь время от времени выкуривая по сигарете, а потом, немногословно попрощавшись, разошлись по домам. Уже значительно позже Джонас интуитивно догадался о присутствии во дворе той, почти не дошедшей до нас магии прошлого, которая подпитывает и очищает человека, восполняет потерянные в битве с Городом силы, и на фоне которой любые изречённые слова кажутся ненужными и глупыми. Двор был реликтом, анахронизмом, динозавром из бог весть каких глубин веков, но в то же самое время он оставался твердыней, может быть последним местом средоточия энергии, от которой человек раз и навсегда отказался, ступив на путь цивилизации. С того времени Джонас стал по меньшей мере раз в неделю заходить в подъезд дома номер 43, стремясь хоть немного освободиться от бремени, добровольно взваленного себе на плечи. Так продолжалось несколько лет – до тех пор, пока одним январским зимним вечером около года тому назад Джонас не забрёл во двор, засыпанный грязным вязким снегом, чтобы несколько минут побродить между голых деревьев. Было не слишком холодно, не настолько, правда, чтобы сидеть на заснеженной скамейке, и Джонас сам того не заметил, как дошёл почти до самого противоположного конца двора, где с одной стороны громоздились уродливые коробки гаражей, а с другой зиял провал арки. Куда вёл находящийся за ней проход, и вёл ли куда-то вообще, он не знал, что, впрочем, его мало интересовало. Вокруг было безлюдно, и потому внимание Джонаса сразу же привлёк шикарный автомобиль в стиле «ретро» возле парадной одного из домов, окна которого выходили во двор. Тусклая лампочка над дверью нечётко освещала лица стоявших возле машины людей, и всё же одно из них показалось Джонасу смутно знакомым. Приземистый тяжеловесный мужчина в распахнутом пальто и глубоко сидящей на голове «гангстерской» шляпе опирался на капот и лениво покуривал сигару, нарочито небрежным жестом поднося её ко рту и выпуская в воздух клубы дыма. Рядом с «мафиози» с ноги на ногу переминался комичного вида коротышка в светлой куртке и с непокрытой головой, который, по всей видимости, что-то торопливо доказывал безмолвствующему собеседнику, нервно потирая при этом руки. Третий участник сцены стоял чуть поодаль спиной к Джонасу, и никаких его примет, кроме широченных плеч и бритого затылка, разглядеть было невозможно. Внезапно, не дожидаясь окончания монолога коротышки, курящий вдруг опустил левую руку на затылок своего визави и небрежным движением запястья толкнул его в сторону парадной так, что несчастный почти влетел в распахнутую дверь. «Мафиози» тяжело шагнул следом. Бритоголовый замкнул цепочку, и на улице вновь воцарилось ничем не нарушаемое спокойствие. Джонас, на дух не выносивший ничего, имеющее хотя бы малейший намёк на криминал, отвернулся, и попытался выкинуть только что увиденное из головы, однако вечер уже был безнадёжно испорчен. Пришла пора возвращаться домой. Джонас ещё несколько минут помедлил, пытаясь окончательно смириться с ситуацией, повернулся на сто восемьдесят градусов, сделал несколько шагов, и в этот самый момент из по-прежнему распахнутой двери парадной наружу выкатился коротышка. Куртка его сбилась и была распахнута на груди, открывая чёрный вязаный свитер, туго обтягивающий солидное

брюшко, и хотя расстояния и освещение не позволяли чётко увидеть его лицо, можно было поклясться, что на нём застыла гримаса смертельного ужаса. Словно затравленный заяц, коротышка секунду-две озирался по сторонам, попутно мазнул взглядом по Джонасу, при этом совершенно его не замечая, а затем стремительно рванулся по направлению к гаражам. Джонас ещё успел подумать, что этот человек, видимо, должен был хорошо знать топографию местности, раз рискнул углубиться в столь запутанный лабиринт, как из подъезда появился «мафиози» со своим подручным. В отличие от коротышки, в их действиях не было ничего суетливого, лишь холодная сосредоточенность идущей по следу гончей. «Мафиози» хватило каких-то двух-трёх поворотов головы, чтобы оценить обстановку, а затем его глаза сосредоточились на замершем на месте Джонасе. С поразительной для своей комплекции скоростью человек в пальто приблизился, и Джонас как в кошмарном сне увидел над собой лицо с двойным подбородком, мясистыми губами и тонкими будто бы женскими бровями, совершенно нелепо смотревшимися на фоне массивного выпуклого лба. От «мафиози» пахло потом, табаком, крепким одеколоном и погоней, и когда он раскрыл рот, то в его скрипучем голосе было слышно опьянение азартом.

– Здесь только что пробегал парень. Куда он делся?

Сам тон и манера построения этой фразы, казалось, напрочь отвергали возможность неправдивого ответа, и Джонас уже готов был мотнуть головой в сторону гаражей, как вдруг адреналин, огромными дозами поступающий в кровь, сыграл с ним шутку, о которой он впоследствии неоднократно вспоминал с сожалением. Вместо того, чтобы повести себя единственно возможным благоразумным путём, он махнул рукой по направлению к арке и выдавил из себя «туда», стараясь придать при этом своему лицу как можно больше искренности. «Мафиози» наклонился ещё ниже, отчего холодная лапа страха оплела собой внутренности, и почти прошептал, пристально всматриваясь Джонасу в глаза: «Если соврал, я тебя достану». Секундой позже он отвернулся и сделал рукой знак своему сопровождающему. На мгновение тот развернулся таким образом, что Джонасу стала видна покрытая щетиной скула и неприятного вида большая родинка возле мочки уха, а затем оба преследователя кинулись к автомобилю. Взревел мотор, из-под колёс во все стороны брызнули комья мокрого снега, и машина пушечным ядром исчезла в тёмном жерле подъезда. Практически не чувствовавшему под собой ног от полученного стресса, Джонасу стоило немалых усилий, чтобы заставить себя сдвинуться с места. Впрочем, дальше дело пошло значительно лучше, вплоть до того, что последние несколько сот метров до своего дома он просто бежал, не разбирая дороги, поднимая с каждым ударом ноги о землю брызги, ложившиеся несмываемыми пятнами на куртку и брюки. Уже в квартире, сидя под пледом на диване, Джонас подряд выпил несколько рюмок коньяка, вопреки своему правилу не употреблять спиртного в течение недели, но даже алкоголь не помог ему избавиться от навязчивых мыслей, стальным крючком прочно зацепившихся за серое вещество мозга. Он думал о коротышке, который, быть может, в тот момент отсиживался за углом одного из гаражей, дрожа от холода и испуга, о животном ужасе, пережитом при виде нависающего сверху лица под полами чёрной шляпы, но больше всего о возможных последствиях столкновения. Из головы не шли сказанные «мафиози» слова, не оставлявшие сомнений в том, что при первой же возможности этот человек приведёт свою угрозу в исполнение. Джонас отнюдь не чувствовал себя героем, скорее наоборот, он всё больше и больше мучился из-за совершённого поступка, но сделать ничего было уже невозможно. Остаток вечера прошёл в гнетущих размышлениях, изредка прерываемых робкими доводами рассудка. Следующее утро, вопреки всем канонам, не принесло никакого просветления. Дошло до того, что на работе Джонас битых полтора часа просидел над одной страницей текста и очнулся лишь тогда, когда заглянувший в кабинет шеф сделал удивлённые глаза и постучал кончиком карандаша по циферблату ручных часов. Годами создаваемая, кирпич к кирпичу подогнанная жизнь, рушилась на глазах. Все разумные мысли о том, что бандиты вряд ли имели возможность проверить слова впервые в жизни встреченного человека, мгновенно отступали под натиском нерассуждающего страха. А пять дней спустя Джонаса ждал настоящий шок, когда, открыв предпоследнюю страницу свежей газеты, он наткнулся на фотографию коротышки, распластавшегося на дощатом полу какого-то строения. Из помещённого ниже объявления следовало, что господин Уэллер, мелкий предприниматель сорока трёх лет, был найден застреленным на даче одного из своих приятелей. По словам последнего, Уэллер обратился к нему за несколько дней до убийства с просьбой предоставить ему на некоторый срок укрытие, умолчав однако о причинах своих опасений. По делу было начато расследование. Заметка на добрых минут сорок привела Джонаса в состояние глубокого ступора, в котором все краски мира сводились к бесформенным красным разводам на жёлтом фоне – пятнам крови, заляпавшим пол пригородной дачи. Позже, попытавшись здраво проанализировать ситуацию, Джонас даже умудрился найти в ней некоторые позитивные моменты, ведь коротышка, согласно газетному тексту, был убит не в злополучный день их встречи, и потому его преследователи, видимо, так и не узнали в какую же сторону он тогда побежал. Впрочем, эти рассуждения вряд ли приносили хоть какое-то ощутимое облегчение, особенно учитывая то, что страшный фотоснимок активизировал некие центры памяти Джонаса, заставив его вспомнить, где он раньше видел «мафиози». Именно это лицо несколько раз мелькало по телевидению среди свиты охранников одного из политических деятелей

Города, обладавшего, к слову, весьма сомнительной репутацией. Впоследствии имя «мафиози» (которое Джонас, естественно, не помнил) упоминалось в связи с какими-то махинациями то ли со спиртным, то ли с наркотиками. Оптимизма вся эта информация не прибавляла, и в конце концов Джонас, не в силах больше одному нести свой груз, рассказал о случившемся Рику. Тот выслушал друга и в тот же день, не вдаваясь в излишние подробности, навёл справки у своей жены. Джонас терпеть не мог людей, всегда бывших в курсе всех последних событий, предпочитая носителей более интеллектуальной информации, и это было ещё одним поводом для него недолюбливать Сандру, которая как раз в полной мере обладала вышеописанным качеством. Тем не менее, сведения, полученные от неё на этот раз, оказались небесполезными. Именно на их основе, отбросив всё ненужное и восполнив недостающие звенья своими домыслами, Джонас сумел составить приблизительное представление о том, кем на самом деле был Большой Сэм. Приехавший в Город откуда-то с Юга, Сэмюэль Беллански действительно подпадал под определение гангстера, и здесь прозвище, мысленно данное ему Джонасом, подходило как нельзя более кстати. Впрочем, до уровня мало-мальски пристойного мафиозного дона Большой Сэм явно не дотягивал. Подвизавшийся в начале своей карьеры в качестве начальника охраны политика с дурной славой, он вскоре понял, что такая деятельность вряд ли принесёт ему большие дивиденды, и перешёл на нелегальное положение. Сколоченная банда не брезговала никакими сферами криминала, и понемногу о ней начали говорить в Городе. Большой Сэм не отличался ни большим умом, ни особой хваткой, и, скорее всего, быстро бы канул в неизвестность, как и тысячи ему подобных, если бы не одна черта характера, выделявшая его на фоне общей массы. Этот жестокий человек никогда не прощал обид, сознательно либо невольно ему причинённых, и потому его угроза фактически приравнивалась к смертному приговору. Эти слова Рика, пересказывавшего узнанное накануне от жены, заставили Джонаса болезненно поморщиться при воспоминании о словах, обращённых к нему тем морозным январским вечером. Впрочем, прибавил Рик, Большой Сэм всегда традиционно занимался своими тёмными делами в Центре Города с его обилием злачных мест, и, следовательно, вероятность вновь столкнуться с ним в Старых Кварталах, куда он, несомненно, приехал лишь с целью встретиться с Уэллером, выглядела весьма незначительной. Несмотря на это, Джонас упорно обходил стороной подъезд под номером 43, хотя таким образом увеличивалось время, которое он каждодневно тратил на дорогу до работы. Счастье делает одних людей философами, заставляя искать тайный смысл в обыденности, другим оно приносит беспечность, страх же всегда вызывает паранойю. Джонас ограничил до минимума свои перемещения по Городу, отказался от вечерних прогулок, но всё же не мог отделаться от мысли, что за каждым следующим поворотом его подстерегает опасность. Сам не зная почему, он представлял себе её в виде размытого силуэта, почти сливавшегося с зыбью сумерек, человека без лица, в руке которого тускло светилась сталь. Не последует никаких прелюдий, никто не даст Джонасу ни малейшего шанса, чтобы попытаться оправдать свой поступок, и вот это-то и пугало больше всего…

Рассказывая о Большом Сэме, Рик вскользь упомянул о возможности обратиться в Службу Защиты, сотрудники которой давно уже активно интересовались фигурой доморощенного гангстера. Джонас с ходу отверг это предложение. Он отнюдь не испытывал каких-то предубеждений по поводу парней из СЗ, однако сама мысль о том, что ему придётся выступать в роли свидетеля в подобного рода деле, вызывала у него дрожь. Рик спокойно принял позицию друга. Жизнь, пропитанная ощущением страха, продолжалась.

Апофеозом этого существования на грани постоянной истерики стал «рыночный эпизод», случившийся около двух месяцев спустя встречи с Большим Сэмом. По указанию шефа Джонасу пришлось поехать в Центр, чтобы забрать в какой-то конторе несколько десятков листов срочного перевода. Отвертеться от таких заданий было практически невозможно, и он скорее по инерции начал излагать что-то о невозможности в данный момент отправиться по названному адресу, однако быстро осёкся, увидев вытянувшееся от удивления лицо шефа. Впрочем, до конторы Джонас добрался вполне благополучно. После выполненного поручения возвращаться на работу ему уже не было надобности, и так как обратная дорога к автобусной остановке проходила через небольшой крытый рынок, он даже решил воспользоваться случаем и купить немного продуктов. Приобретя почти всё, что ему было нужно, Джонас напоследок задержался у прилавка со свежими куриными яйцами. Уже потянувшись за бумажником в карман брюк, он внезапно услышал женский крик, доносящийся откуда-то из противоположного конца корпуса. Кричала, по всей видимости, торговка, которой покупатель по неосторожности опрокинул на землю товар. Джонас инстинктивно обернулся в сторону, где звучали возмущённые восклицания, и наткнулся глазами на высокого мужчину в сером плаще, который целеустремлённо двигался вперёд, бесцеремонно расталкивая по сторонам попадавшихся на пути людей. Сердце Джонаса дёрнулось, желудок словно бы скакнул вниз, и он отчётливо, будто на стоп-кадре, увидел бугристую родинку, уродовавшую мощный рельеф скулы. Мужчина в плаще был уже всего в нескольких метрах, и Джонас не раздумывая рванулся с места, отшвырнув прочь пакеты с покупками. Полуобезумевший, не различающий вокруг ничего, он продирался сквозь запрудившие ряды скопища людей, вызывая потоки брани. Достигнув выхода, он, повинуясь неосознанному

порыву, побежал вправо и долго нёсся сквозь хитроумный лабиринт, перепрыгивая через громоздящиеся на дороге пустые ящики и коробки, пока, наконец, не достиг ведущих на соседнюю улицу ворот. Никаких признаков погони не было и в помине, и всё же Джонас вместо того, чтобы воспользоваться автобусом, остановил первое попавшееся такси, за четверть часа довёзшее его домой и облегчившее на немаленькую сумму содержимое бумажника, каковой факт выглядел ещё более плачевно на фоне потраченных на выброшенные продукты денег. К счастью, полученный перевод Джонас по обыкновению положил в свою любимую сумку через плечо, которая всё же осталась с хозяином, не разделив судьбу рыночных пакетов. Парадоксально, но именно это происшествие стало поворотным пунктом в безнадёжно затянувшейся параноидальной истории. Эмоции достигли пика, перевалили через него и обернулись своей противоположностью. На смену напряжению пришло безразличие, организм, спасаясь от перенагрузки, включил механизм защиты, и Джонасом овладело блаженное чувство апатии. Потом, размышляя о произошедшем на рынке, он не мог вспомнить, действительно ли он видел ту самую родинку, или это была всего лишь игра его издёрганного страхом воображения, а отсутствие погони вообще делало ситуацию абсурдной. Но это было уже значительно позже, пока же медленно текло время, мало-помалу врачуя воспалённую психику. Воспоминания о пережитом стрессе постепенно притуплялись, исчезала и апатия, возвращая Джонаса к привычному жизненному ритму. От прошлого осталась привычка периодически оглядываться при ходьбе назад и нелюбовь к поездкам в Центр. С этим уже можно было относительно сносно существовать, и Джонас даже стал почти спокойно относиться к появившимся у него новым манерам, когда он встретил Хильду, поставившую всё с ног на голову. Принцип «если не можешь изменить ситуацию, измени своё отношение к ней», всегда бывший для Джонаса эталоном избитости, в её устах приобретал совершенно иное значение. Эта женщина, не используя никаких особых методов, обладала потрясающим талантом заставлять собеседника чувствовать важность выполнения самых что ни на есть банальных предписаний. Казалось, она была чем-то вроде проводника между абстрактной людской мудростью и её конкретным применением на практике. Джонас понимал, что это в первую очередь благодаря Хильде он сейчас мог вспоминать о прошедших событиях, как о чём-то малосущественном, и сердце его вдруг наполнилось столь знакомой смесью благодарности, уважения и любви.

Погрузившись в воспоминания, Джонас продолжал следовать привычным курсом и, оказавшись возле своего офиса, в который раз удивился тому, как незаметно пролетает дорога, когда человек занят размышлениями. Он поднялся по ступенькам на небольшую крытую площадку – излюбленное место курения всех сотрудников Переводческого Бюро – открыл входную дверь и вступил в коридор, предварительно вытерев ноги о лежащий при входе половик. Слабый шорох подошв, соприкасавшихся с резиновым покрытием, был единственным звуком, нарушавшим стоявшую в этот час в конторе тишину. По субботам почти все её сотрудники, за исключением Джонаса, шефа и секретарши Линды, отдыхали, двое же последних традиционно являлись на работу к десяти утра. Собственно, официальная трудовая деятельность самого Джонаса должна была начинаться в это же время, и никто не заставлял его выбираться из постели на час раньше. Тем не менее именно суббота, являвшаяся выходным для большей части Города, была в личной иерархии Джонаса гораздо более важным днём, чем свободное от работы воскресенье. Нормированный рабочий график – одно из безусловных приобретений цивилизации – давно уже показал, что несколько занятых часов перед выходными зачастую слаще, чем долгожданный отдых, так же как предвкушение чего-либо доставляет больше удовольствия, нежели достигнутый результат. По негласному уговору с шефом по субботам Джонас занимался стилистической правкой черновиков работ коллег либо же просто набирал готовые переводы, выполняя, таким образом, прямые обязанности Линды. Последняя, впрочем, служила для Бюро скорее вывеской, нежели выполняла какие-либо серьёзные функциональные задачи. Эта привычная механическая работа, не требующая почти никаких умственных усилий, оставляла предостаточно времени для размышлений о том, чем занять предстоящий вечер. Последнее для Джонаса, который давным-давно определил все пути убивания своего досуга в виде двух-трёх стандартных вариантов, сводилось либо к посиделкам в Литературном Баре, либо к встречам с Риком, и было скорее ритуалом, нежели необходимостью. Однако он неукоснительно соблюдал эту традицию, словно раз за разом цементируя одну из подпорок, держащую его жизнь. И всё же сегодняшним утром Джонас ощущал в атмосфере некую необычность, и может быть, поэтому его не покидало желание пустить всё на самотёк, не строя заранее никаких далекоидущих планов. Он не спеша открыл свой кабинет, разложил на столе принесённые из дома материалы, достал из сумки пачку сигарет и вернулся на веранду. Там он закурил и, выпуская во влажный воздух дым, стал всматриваться вперёд, где за пеленой дождя на противоположной стороне улицы внутри газетного киоска горел слабый свет. По субботам там всегда сидела Хелен, сортируя в этот час свежую прессу и расставляя на полках нехитрые канцелярские принадлежности. Она была единственной из киоскёров, с кем Джонасу было приятно перекинуться несколькими малозначащими репликами, которые тем не менее придавали некий труднообъяснимый шарм банальному процессу товарно-денежного обмена. В этой маленькой женщине, носившей высокую старомодную причёску и очки в серебряной оправе, почти никогда не пользовавшейся косметикой и говорившей

тихим, будто бы испуганным голосом, Джонас подсознательно ощущал в чём-то родственную ему душу. Это проявлялось не в манере поведения, не в жестах и даже не в смысле сказанных слов, а скорее в подтексте, присутствовавшем за внешне обыденными фразами. Казалось, Хелен укрывалась в своём киоске от несправедливости реального мира, наглухо закрывшись в четырёх стенах, подобно самому Джонасу, изо дня в день следовавшему одними и теми же маршрутами. Однажды, когда он покупал у неё очередную порцию прессы, она вдруг вскинула на него глаза и спросила, зачем он читает газеты. Ошеломлённый вопросом Джонас некоторое время пытался найти подходящий ответ, пока до него не дошло, что в этой ситуации он мог позволить себе говорить искренне. Тогда он объяснил, что терпеть не может политику и совершенно не интересуется жизнью богемы, но всё же неспособен обойтись без печатной продукции, как без окна во внешний мир, которое в любой момент можно закрыть. В течение всего этого монолога на лице Хелен отражалось неподдельное внимание, и когда Джонас закончил, то мог поклясться, что видел в глазах женщины огонь, который, на мгновение, вспыхнув, преобразил до неузнаваемости невзрачное лицо. Он был почти уверен, что вслед за его словами должна была последовать ответная реплика, и даже слегка разочаровался, когда Хелен лишь слегка немного грустно улыбнулась и почти сразу же опустила глаза. Когда она снова подняла голову, перед Джонасом было то же самое лицо, которое он привык видеть каждый раз, наклоняясь к окошечку киоска. Испытывая странную неловкость, он быстро расплатился и ушёл, по дороге раз за разом прокручивая произошедшее в сознании и безуспешно пытаясь понять его суть. С тех пор, однако, между ними установилось нечто вроде ментального контакта, сознания сопричастия к чему-то, о чём они никогда не говорили, словно соблюдая рамки, раз и навсегда поставленные ими в общении с окружающими.

Сразу за киоском белели стены цветочного павильона. Делая очередную затяжку, Джонас непроизвольно взглянул на его красную треугольную крышу, которую венчал забавный жестяной флюгер в виде скачущего на коне рыцаря с трубой в руках. Трубач смело продолжал свой вечный путь вокруг собственной оси, невзирая на хлещущие сверху потоки дождя, и внезапно это оранжевое пятнышко, слабым отблеском пламени колеблющееся на сером холсте небес, яркой вспышкой вошло в сознание Джонаса, замыкая цепи, приводя в порядок разрозненные части картины. Все смутные предчувствия сложились в единое целое, и от потрясения Джонас даже качнулся на месте, подобно шахматисту, нашедшему решение задачи, над которым он бился не один месяц. Когда первое впечатление немного схлынуло, он принял в стоящей на поручнях пепельнице недокуренную сигарету, быстрым шагом вернулся в свою комнату и, не глядя, утопил кнопку включения на системном блоке. Пока компьютер, мерно гудя, приходил в рабочее состояние, он неподвижно стоял, внимательно прислушиваясь к любому движению внутри себя, но вопреки всему родившееся только что на балконе решение не исчезало, но напротив крепло. Понемногу оно перерастало стадию спонтанности, приобретало опору, входило в сознание как аксиома, не подлежащий обсуждению императив. Всё это было настолько непривычно и в то же время чарующе, что Джонас опустился в кресло, словно человек, у которого внезапно отнялись ноги. Машинально он набрал на клавиатуре личный адрес Рика, которым тот пользовался тогда, когда был на работе, но в последний момент его указательный палец замер, зависнув над клавишей ввода. Никаких сомнений в том, что Рик правильно оценит ситуацию и поддержит друга, не было и быть не могло, однако Джонас чувствовал, что переживаемое им сейчас должно оставаться при нём до тех пор, пока замысел не претворится в реальность. Желание поделиться своим внутренним состоянием было острым, почти категоричным, как у человека, принявшего изрядную дозу алкоголя, и Джонас знал, что вскоре обязательно расскажет обо всём, что он переживал в этот момент. Но, так или иначе, это произойдёт позже, когда сегодняшний вечер, сейчас ещё воспринимаемый как близкое, но всё же будущее, окончательно станет собственностью прошлого. Последнее время, правда, выдёргивать Рика из засосавшей его бытовой трясины становилось всё труднее и труднее. Друг Джонаса по двенадцать часов в сутки пропадал в своей Юридической Фирме, и его можно было понять, ведь в доме его отнюдь не царила тихая умиротворяющая атмосфера. Джонас всегда свято верил в то, что близкими могут стать лишь люди, обладающие общими духовными и материальными интересами, и история его взаимоотношений с Риком подтверждала эту уверенность. Они были вместе со школы, хотя тогда в их компанию входило ещё несколько человек. Затем, как это происходит практически всегда, казавшийся доселе незыблемым круг распался. Кто-то уехал из Города получать образование в другом месте, кто-то, рано обзаведясь семьёй, отошёл от «мирской жизни», но дружба Джонаса и Рика не была подвержена всем этим движениям. Нельзя было сказать, чтобы они дополняли друг друга, так как каждый из них изначально сочетал в себе вещи, нечасто уживающиеся в одном человеке: гуманитарий Джонас был склонен к скрупулёзному математическому анализу всего происходящего с ним, а юрист Рик обожал абстрактную философию и архитектуру Города, которую знал почти досконально. Впрочем, связь их пролегала на столь глубинном уровне, что они никогда особо не задумывались об основе своей дружбы, воспринимая её как аксиому. Однако в отличие от геометрии жизнь вносит коррективы в любые константы. Джонас хорошо помнил, что когда Рик объявил ему о своём решении жениться на Сандре, он испытал смешанное чувство, в котором радость за друга отступала

на третий план под натиском наползавших на неё ревности и смутных опасений. Последние не преминули подтвердиться достаточно быстро. Сандра при всей своей внешней привлекательности и неоспоримом уме, была человеком крайне прагматичным и к тому же испытывала гипертрофированную тягу ко всем проявлениям «светскости». Одним из таковых, по её мнению, являлась непременная осведомлённость обо всём, что происходило в жизни власть предержащих Города, а также его богемных кругов, что на взгляд Джонаса являлось всего лишь обыкновенной любовью к сплетничеству. Сандра достаточно быстро навязала мужу новую финансовую политику, вследствие чего тот был вынужден кардинально пересмотреть своё «безалаберное» отношение к бюджетным вопросам. Детей их, двух мальчиков семи и пяти лет, Рик изо всех сил старался любить, но ему совершенно не удавалось найти контакт с этими маленькими людьми, с молоком впитавшими установки матери и уже мерявшими значимость места отца в мире по тем средствам, которые он готов был вложить в усовершенствование их ПК. Восемь лет брака Рика так и остались для Джонаса единственной вещью, которую он не мог понять в своём друге, и порой в его душе даже шевелилось сознание собственного превосходства над погрязшим в рутине семьянином, гордыня человека, вынужденного выдавать собственное одиночество за исключительность.

За стеной раздался звук открываемой двери. Джонас отвернул левый рукав рубашки и взглянул на часы. Было без десяти десять – время, которого шеф неукоснительно придерживался, приходя по субботам в Бюро. Ходили слухи, что он вдовец, бывший алкоголик, которого работа спасает от того, чтобы вновь не погрузиться в пучину пьяного безумия. Всё это Джонаса беспокоило мало. Он на себе убедился в том, что каждый человек волен закрыться от остальных в своём собственном мире, никого туда не впуская, и в связи с шефом его интересовали лишь вопросы по поводу объёма и содержания работы на ближайшее время. Сегодня это была корректура технического перевода для какого-то института – несложное задание не более чем на четыре часа. Уже уходя из комнаты Джонаса, шеф в своей обычной манере вскользь поздравил его с удачной последней работой, вполне удовлетворившей клиента, что сулило некоторую прибавку к жалованью за этот месяц. Джонас сдержанно поблагодарил. Привыкший сопрягать свои скромные расходы с двумястами-четырьмястами получаемыми ежемесячно монетами, он был, безусловно, рад дополнительным деньгам, но сегодня он воспринял это ещё и как очередной знак, подтверждающий правильность принятого решения. «В воздухе висел запах кармы», ни с того ни с сего подумал Джонас, и улыбка во второй раз за день тронула его губы, когда за шефом закрылась дверь.

Субботний трудовой день длился как обычно. Около половины одиннадцатого появилась Линда. Минут двадцать она копошилась за своим столиком в приёмной, вероятно, распихивая по ящикам многочисленные образцы косметической индустрии, потом долго гремела кофейником, и лишь когда стрелки часов почти подобрались к двенадцати, наконец, соизволила заглянуть к Джонасу, чтобы узнать, не нужна ли ему какая-нибудь помощь. Вопрос был сугубо риторическим, ответ предсказуемым, и вполне удовлетворённая секретарша вновь отправилась на свой боевой пост, выбивая каблуками чёткие четыре четверти по паркетному полу конторы. Джонас продолжал машинально исправлять орфографические и пунктуационные ошибки в переводе, однако мысли его в это время были далеко. Сам не зная почему, он вдруг вспомнил об Аннеке и по старой привычке в который раз начал прокручивать в голове всю историю их отношений, а закончив, с удивлением осознал, что не испытал ни горечи, ни даже ностальгии. И это было ещё одним добрым знаком, ведь несмотря на то, что за пять проведённых порознь лет он успел осознать всю абсурдность желания что-либо доказать этой женщине, всё это время в каких-то потаённых уголках его души по-прежнему таилось чувство уязвлённости. Они познакомились, когда Джонасу был двадцать один год. Тогда он учился на Кафедре Перевода, Рик, студент предпоследнего курса Юридического Института уже заговаривал со своей одногруппницей Сандрой о свадьбе, а подруга последней – Аннеке – посещала лекции в Академии Красоты. Беззаботно весёлая, непоседливая, с соломенными волосами, игриво заплетёнными в две косички и едва заметными веснушками, она походила на одну из беспечных героинь сказок Севера, и сравнение это пришло в голову Джонаса в первый же день их знакомства. Вчетвером они сидели тогда в дальнем углу студенческого бара, пили пиво и болтали о предстоящих зачётах. Поначалу Джонаса слегка насторожило появление новенькой, с её шутливыми ремарками и частым смехом, но вскоре ему пришлось изменить своё мнение. Речь зашла о новой книге популярного тогда среди молодёжи писателя, и Джонас был поражён необычайно точными и образными комментариями «северянки», выглядевшими ещё более сочно на фоне суховатых реплик её подруги. Затем разговор пошёл о музыке, ещё чуть позже о философии, постепенно превратился в диалог, и в итоге, поминутно перебивая друг друга и отчаянно жестикулируя, новоиспечённая пара добрела до самых ворот кампуса, где жила Аннеке. Со дня этой встречи и на ближайшие три года жизнь Джонаса круто изменилась. Уже несколько дней спустя они восторженно продумывали пути его проникновения внутрь кампуса, а осуществив своё намерение, долгие часы проводили в постели, вылезая наружу лишь затем, чтобы подкрепиться бутербродами и недорогим красным вином. Вечерами, когда возвращалась соседка Аннеке по комнате, они бродили по Старым Кварталам, с помощью мела играли в крестики-

нолики на стенах домов, танцевали в свете фонарей или же звонили Рику, который охотно таскал их из одного конца Города в другой, попутно рассказывая истории попадавшихся на пути зданий и памятников. Последнее, правда, случалось не слишком часто, так как домоседка Сандра не любила прогулки без цели. Два месяца спустя Джонас получил свой диплом второй степени, а вместе с ним и приглашение на стажировку в одну из крупнейших Фирм Города. Сумма потенциального жалованья, названная ему на собеседовании, была такой, что привыкший жить на стипендию студент тут же взялся за работу с рвением, которое его руководство не преминуло оценить. Тем жарким летом Джонас сообщил дома о том, что собрался снимать собственную квартиру. Мать, уже тогда, вероятно, ощущавшая первые признаки подступавшей болезни, отнеслась к известию спокойно, поинтересовавшись лишь, не нужна ли молодой паре какая-нибудь помощь. Переезд в новое жильё, находившееся, кстати, всего в нескольких кварталах от дома Джонаса, произошёл достаточно безболезненно. На новоселье присутствовали Рик с Сандрой, мать Джонаса, а также родители Аннеке, приехавшие с Запада, где они занимались научной деятельностью. На вид это были вполне интеллигентные и адекватные люди, но Джонасу показалось, что они мало интересовались судьбой дочери. На следующий день они уехали и больше никогда не появлялись, напоминая о себе лишь редкими письмами. Шло время. Рик и Сандра расписались, Джонас с Аннеке решили обойтись без формальностей. Джонас исправно ходил на службу, работал по четырнадцать часов в день, одновременно готовясь к сдаче диплома первой степени. Аннеке подрабатывала помощником парикмахера в небольшом салоне. Вырученных совместно денег вполне хватало на оплату квартиры, питание, одежду и даже аппаратуру, которая вечерами заменяла вымотанному Джонасу посиделки с друзьями. Он был искренне доволен своей жизнью и мечтал лишь о повышении жалованья и отпуске на Побережье Юга. Время шло дальше. Первый тревожный звонок Джонас ощутил примерно через год семейной жизни. Аннеке неожиданно стала раздражительной, начала часто жаловаться на скуку и безысходность. Джонас пытался выяснить у неё причины происходящего, однако у него это не слишком выходило. Получался замкнутый круг, выхода из которого не было видно, и в итоге Джонас решил не вмешиваться, рассудив, что всё должно пройти само собой. Затем заболела и за полгода сгорела мать. Тяжесть горя, похоронные хлопоты, самопоедание отодвинули проблему на задний план, и когда Джонас, наконец, оправился от своего состояния, он уже почти не помнил о произошедших событиях. Он продолжал жить, работать, завоёвывать репутацию, и тем страшнее для него был удар, полученный одним ничем не примечательным днём, когда около полуночи он вернулся из Фирмы домой. Вместо Аннеке Джонас застал на столе краткую записку недвусмысленного содержания, составленную по всем классическим канонам. Ещё не очень хорошо осознавая происходящее, он позвонил Рику. Трубку взяла Сандра и около десяти последовавших затем минут упражнялась в злословии. Из всего потока внезапно обрушившегося на него негатива Джонас понял лишь то, что Аннеке временно переехала в гостиницу неподалёку. Ночь прошла в состоянии, близком к нервному припадку, а ранним утром Джонас уже был под дверьми номера, местонахождение которого он с превеликим трудом и не без помощи финансовых вливаний сумел выяснить у портье. На стук никто долго не отвечал, и только после седьмой попытки на пороге появилась Аннеке с заспанными глазами и в домашнем халате. Далее последовала сцена, о которой Джонас до сих пор вспоминал с омерзением. Он очень долго и упорно пытался выяснить причины случившегося, в упор отказываясь что-либо понимать, но все его попытки наталкивались на холодные, ничего не значащие реплики. Наконец, спустя час, Аннеке всё же смилостивилась, и Джонас с удивлением открыл для себя то, что он безнадёжно завяз в работе, забыл о нормальной жизни и подчинил своё существование идиотскому распорядку. Он слушал, и в сердце у него поднималась и постепенно росла волна изумления. На его глазах рушилась целая Вселенная, и всё это было настолько неправдоподобно и дико, что в какой-то момент он просто сделал шаг вперёд и попытался обнять Аннеке в сумасшедшей уверенности, что тепло его рук сможет растопить корку льда, и всё опять вернётся на круги своя. И лишь когда она раздражённо повела плечами, освобождаясь от объятий, Джонас отчётливо понял, что всё кончено. Тогда он в последний раз взглянул в глаза напротив, которые не узнал, и без единого слова вышел прочь. В тот день Джонас сделал ещё три вещи, о которых впоследствии ни разу не жалел: уволился с работы, объявил хозяину квартиры о прекращении аренды и в одиночку до полусмерти напился в полупустой комнате, не открывавшейся со дня смерти матери. Поздно ночью он позвонил Рику, долго плакал в трубку, а потом совершенно трезвым голосом проклял друга, выбравшего себе в жёны бессердечный магазинный манекен. Пил он ещё три дня, отключив телефон, не отвечая на звонки в дверь. На четвёртое утро, с трудом открыв глаза, Джонас вдруг понял, что окружающие его стены были единственной родной ему вещью, которая у него ещё осталась. После этого он поднялся, вылил в раковину на кухне остатки алкоголя, сделал себе крепкого чаю и долго курил на балконе. Закончив, он вернулся в комнату, но перед тем, как закрыть за собой балконную дверь, вдруг обернулся и послал вдаль чёрный от заварки комок слюны, словно подводя итог всей прежней жизни.

О своём дальнейшем существовании Джонас мог бы рассказать не более чем в десяти фразах. С молчаливого согласия противоположной стороны он распродал всё имущество, накопленное за годы

совместной жизни и три четверти вырученной суммы перечислил на счёт Аннеке. На оставшуюся часть денег он сделал ремонт в квартире матери, превратив её комнату в спальню и заставив соседнюю огромным количеством стеллажей, на которых разместились книги и диски с музыкой и фильмами. Джонас помирился с Риком, принявшем скупые извинения друга с несколько излишней поспешностью, но категорически отказался общаться с Сандрой, связываясь с её мужем лишь тогда, когда тот был на работе. Аннеке Джонас видел ещё раз десять-двенадцать. Она недолго прожила в гостинице, быстро выйдя замуж и родив ребёнка. Одно время она любила гулять с коляской в сквере неподалёку от улицы, где жил Джонас, и всякий раз, завидя её, он переходил на противоположную сторону. В Переводческое Бюро он устроился по причине его близости к дому и маленького штата сотрудников. Жалованье он тратил на еду, книги и диски, периодически покупая себе что-то из непритязательной одежды и раз в неделю выпивая несколько рюмок в Литбаре. Дом он считал своей крепостью, поддерживал в нём идеальный порядок и никогда не приводил туда тех немногих женщин, с которыми имел мимолётные и ни к чему не обязывающие связи. Окружающие считали его мизантропом. Сам Джонас предпочитал об этом не задумываться, заботясь только о том, чтобы в его жизни происходило как можно меньше изменений. Постепенно ему стало казаться, что так было всегда.

Корректура закончилась в половине второго дня. Шеф, не просматривая, убрал папку на полку и предложил Джонасу отправиться пораньше домой в честь дождливой погоды и отсутствия срочной работы. В другое время Джонас, возможно, согласился бы с подобным поворотом событий, но в этот день такой вариант его устраивал не слишком. Шеф бесстрастно выслушал монолог о необходимости кое-что проверить в текущих переводах и вернулся к своему монитору. Джонас вышел на веранду, выкурил ещё одну сигарету, выпил чашку чая с лимоном и несколько минут о чём-то общался с Линдой. Оставшееся до сумерек время он неторопливо прохаживался по кабинету. Он размышлял о своём прошлом, и мысли его текли плавно, как у человека, созерцающего со стороны фрагменты чьей-то чужой жизни. Когда же за окном на улице зажглись первые фонари, и тени раннего ноябрьского вечера серыми кошками залегли по углам, Джонас закрыл на ключ кабинет, попрощался с шефом и Линдой, надел плащ и покинул здание Бюро. Под лёгкой моросью, в которую к тому времени превратился дождь, он пересёк улицу и зашёл в цветочный павильон, где после нескольких минут блужданий между рядами остановил выбор на красных розах. Он взял букет, заботливо перехваченный нарядной лентой, и отправился к близлежащей автобусной остановке, где под плексигласовым навесом томились ещё два невесть куда собравшихся в такую погоду человека. Когда подъехал почти пустой автобус, он не спеша зашёл в него и устроился в одиночном кресле сзади, аккуратно положив цветы на колени. Он любил этот транспорт, ощущая себя в нём словно бы во временном, но тем не менее надёжном убежище, и всегда стремился забраться вглубь, где мог без помех наблюдать картины проносящегося мимо Города и думать. И сейчас Джонас, точно так же, как и обычно, отодвинул в сторону шторку на окне, прислонился лбом к холодной поверхности стекла и постарался восстановить в памяти все события того вечера, с которого начался новый отсчёт в его застывшем существовании.

На закате летнего дня он тогда в одиночестве пил коньяк в Литбаре и перечитывал «Трёх товарищей». В заведении было довольно людно, публика надёжно оккупировала все места, и когда к дивану, на котором он сидел, подошла женщина и спросила, свободен ли его столик, ему ничего не оставалось, как ответить утвердительно, стараясь при этом скрыть звучащую в голосе досаду. Она села, достала из сумочки пачку сигарет и карманного формата книгу, закурила и погрузилась в чтение, время от времени делая небольшие глотки красного вина из стоящего рядом бокала. Было по-августовски душно, к тому же на тот момент Джонас уже выпил достаточно коньяка, поэтому примерно через полчаса молчания, прерываемого только шелестом переворачиваемых страниц, он деликатно осведомился у соседки, что она читает. Та подняла голову, и тогда Джонас впервые по-настоящему увидел её лицо. Тонкие, хорошо очерченные губы, большие задумчивые тёмные глаза, каштановые волосы, коротко подстриженные и уложенные волнами – всё вместе это вызывало ассоциации с умом, грустью и осенью на улицах Старого Города. Она ответила, что взяла с собой Жапризо, хотя вообще-то это чтение подходит для совсем другой погоды. Джонас улыбнулся и вместо комментариев показал собеседнице обложку своей книги. Та понимающе кивнула и ответила на улыбку. Они представились друг другу. Вечер тянулся медленно, из колонок доносилась ненавязчивая атмосферная музыка, было много выпито и сказано, и даже когда они оказались в её спальне, Джонас всё ещё воспринимал происходившее, как нечто само собой разумеющееся, не способное выбить его из привычной колеи. И лишь в тот момент, когда, лёжа у открытого окна, на подоконнике которого стояла откупоренная бутылка вина, Джонас неожиданно рассказал ей всё о своей жизни за последние восемь лет, ему стало не по себе. С тех пор как ушла Аннеке, он ни разу больше не делал этого ни с кем, ограничиваясь разве что абстрактными рассуждениями в не совсем трезвом состоянии, но то, что случилось тогда, нельзя было списать даже на действие выпивки. Хильда слушала молча, не перебивая, но в этом молчании Джонас чувствовал глубокое внимание. Он ушёл до рассвета,

унося в душе что-то крайне противоречивое, и, добравшись домой, лёг в постель почти с облегчением, но к вечеру его с неконтролируемой силой снова потянуло в Литбар. Она появилась двадцатью минутами позже, с тем же вином и сигаретами, но без книги. Ту ночь они провели в квартире Джонаса, и Хильда тоже ушла, не дождавшись утра, однако на этот раз они уже условились о следующей встрече. Поначалу их пересечения на террасах кафе или в маленьких винных погребках напоминали странный фарс, где герои пристально следили друг за другом, анализируя партнёра и выбирая, какую из многочисленных масок надеть для сегодняшнего общения. Но вскоре Джонас начал осознавать, что маскарад, которому он посвятил почти треть своей жизни, прельщал его всё меньше и меньше. На пятый день их встречи он узнал, что Хильда была двумя годами старше его, работала заместителем редактора в книжном издательстве и жила в одной квартире с мужем, с которым за последний год практически не общалась. В ответ на недоумение Джонаса она объяснила, что муж, преуспевающий дипломат, просил её не оформлять развод и не съезжать с квартиры, что могло бы повредить его репутации, так высоко ценящейся людьми этого круга. Взамен он полностью обеспечивал супругу, в обязанности которой входило также посещение всех официальных мероприятий, на которые его достаточно часто приглашали. Джонас выслушал рассказ внешне спокойно, однако при этом не мог отрицать, что в душе у него возник некоторый дискомфорт.

Их отношения эволюционировали с поразительной быстротой, нисколько не напоминая период влюблённости Джонаса и Аннеке. Они виделись три-четыре раза в неделю, так как у Хильды было много работы в издательстве даже по вечерам. Иногда они сидели в квартире Джонаса, удобно устроившись в креслах и почти не разговаривая, как люди, знавшие истинную цену словам, иногда прогуливались по улицам, не выбирая направления. По молчаливому уговору Джонас никогда не звонил Хильде на работу и не являлся к ней домой (в тот первый вечер муж-дипломат находился в очередном отъезде). Казалось, им вполне хватало того покоя, который они испытывали наедине, подзаряжаясь друг от друга перед тем, как снова окунуться в обыденность, и всё же Джонас понимал, что вечно так продолжаться не может. Хильда ни разу больше не упоминала в разговоре с ним мужа, не жаловалась на свою жизнь, не заговаривала о семье, но именно это тяготило Джонаса гораздо больше, чем просьбы и упрёки. Однажды утром он проснулся в своей постели и понял, что ему по-настоящему не хватает рядом человека, которого он любит и может потерять, если не попытается хоть что-нибудь изменить. Сегодня понимание стало потребностью, на фоне которой предыдущие прожитые пять лет казались теперь Джонасу тяжёлым предвечерним сном.

Автобус затормозил на остановке, находившейся всего в квартале от дома Хильды. Джонас был здесь лишь один раз, но, тем не менее, прекрасно помнил топографию этого места. Через раздвинувшиеся с шипением двери он вышел наружу и направился вправо по направлению к двухэтажному дому вековой давности постройки. Как и в тот первый день, здесь было поразительно тихо, хотя совсем рядом за несколькими рядами построек бурлил Центр Города, переливавшийся всеми мыслимыми цветами горящих в ночи реклам и вывесок ночных клубов. Джонас уверенно, как будто проходил здесь каждый день, следовал раз и навсегда запечатлевшимся в памяти маршрутом и, достигнув подъезда, не замедляя шагов, вошёл внутрь, толкнув свободной от цветов рукой тяжёлую высокую дверь. Охранник с усталым лицом лишь мельком взглянул на посетителя, назвавшего этаж, номер квартиры и имя проживающей в ней женщины. Джонас поднялся по мраморной лестнице на площадку второго этажа и на мгновение застыл перед последней преградой, отделявшей его от цели. Он заглянул внутрь себя, но не увидел там ничего кроме решимости, которая уже почти перестала вызывать у него удивление. Ещё он успел подумать о том, как причудливо раскидывает Провидение свои карты, а потом его рука скользнула вверх и нажала на твёрдую прохладную кнопку звонка. Несколько секунд за дверью царила тишина, затем откуда-то из глубины квартиры послышался нарастающий звук шагов. Дверь распахнулась, и на пороге возник человек, которого Джонас неоднократно пытался представить себе за последнее время. Муж Хильды, по всей видимости, недавно принимал ванну, потому что на нём был домашний халат, а покрасневшее лицо усеивали мелкие бисеринки испарины. Он молча и выжидающе смотрел на визитёра, словно требуя у него отчёт за вторжение, и тогда Джонас взглянул ему прямо в глаза и отчеканил, как будто бы произнося хорошо заученную театральную реплику: «Мне нужна госпожа Хильда». На мгновение ему показалось, что в зрачках дипломата мелькнула обречённость понимания, и в этот момент за его спиной появилась Хильда. Они взглянули друг на друга поверх плеча в халате и застыли, не произнеся ни слова, словно древние герои, обращённые в каменные изваяния. И тогда мужчина, оказавшийся на пересечении их взглядов, как-то странно съёжился и попятился назад, а Джонас шагнул через порог навстречу Хильде, закрывая за собой дверь…

***

Они сидели, обнявшись, в абсолютной тишине, и все окружающие предметы казались размытыми контурами, как будто материальный мир потерял для них всякое значение. Снаружи за окном падающие

с козырька крыши капли стучали о карниз, и стенные часы вторили им своим равномерным тиканьем. Был ноябрьский вечер.

– Ты удивилась, когда увидела меня?

– Только тому, что это произошло так скоро. Я верила, что ты должен будешь прийти, но не знала когда.

– И ты верила в это после всего, о чём я тебе рассказывал, зная, как я жил, трусил и прятался от самого себя?

– Период, это был просто период, нужный тебе, чтобы осознать какие-то вещи. Понимание никогда не даётся просто так, и мы оба это знаем.

– Ты уйдёшь отсюда со мной?

– Конечно, завтра утром я заберу свои вещи.

– Почему только завтра, почему не сейчас?

– Пойми, я не могу просто так оставить его, не объяснившись. Он всё почувствовал сразу, почувствовал и ушёл, но он вернётся, и я хочу, чтобы мы смогли спокойно поговорить в последний раз. Ему будет нелегко, и не только из-за репутации, но ещё и потому, что все мы в душе собственники, и даже потеряв кого-то, продолжаем думать, что он всё ещё принадлежит только нам одним.

– Он сможет смириться с этим?

– Трудно сказать, но, в конце концов, мы ничего не должны друг другу. Между нами был всего лишь договор.

– Тебе жаль его?

– Жаль, но по-другому. Это… это как сочувствие к постороннему человеку. К сожалению, в жизни бывает и так… Ну а теперь иди. Прости, но он скоро вернётся, а наш разговор должен происходить наедине.

– Я понимаю.

– Конечно, понимаешь, ведь ты у меня самый понятливый на свете.

– Смеёшься?

– Нет, я люблю тебя.

***

Они расстались в абсолютной тишине среди потерявших значение контуров предметов. Джонас спустился по лестнице, прошёл мимо отчаянно боровшегося со сном охранника, вышел на улицу и полной грудью вдохнул свежий бодрящий воздух. Потом он запрокинул голову и, увидев над собой серебряные точки звёзд, мигавшие в редких просветах между облаками, вспомнил, как в детстве представлял себе, что это были глаза неведомых богов, с интересом наблюдавших за происходящим на Земле. И Джонас понял, что не станет проводить эту последнюю одинокую ночь в своей квартире. Сейчас он отправится в Литбар и будет до утра пить вино с какой-нибудь весёлой компанией, а если ему это наскучит, то он сядет на свой любимый диван в углу и откроет том Ремарка. Впрочем, вполне вероятно, что это будет и Жапризо, герои которого играют под пулями в шарики и счастливыми разгуливают со смертельной раной по пляжу. Когда же придёт утро, он закажет себе чашку крепкого кофе и поедет к Хильде, чтобы помочь ей увезти её вещи. Они приедут к нему и оставят коробки и пакеты прямо посреди комнаты, а потом отправятся гулять в парк, где по опавшим листьям как угорелые носятся собаки, радуясь ненадолго предоставленной хозяевами свободе. И всё это будет так восхитительно, что не нужно будет ни о чём думать, и станет вполне достаточным просто ходить по земле, чтобы радоваться жизни.

Очарованный, Джонас двигался к близлежащей станции метро, потому что автобусы в это время уже не ходили. Ему захотелось курить, но пальцы обнаружили в кармане лишь пустую пачку. Он оглянулся по сторонам, заметил неподалёку горящие окна какого-то бара и направился к нему. Возле ведущей к входной двери лестницы он увидел несколько автомобилей. Один из них, стилизованный «под классику», показался ему знакомым, будто вынырнувшим из прошлого, но Джонас не стал задумываться над этим. Он уже одолел две ступеньки лестницы, когда дверь вверху распахнулась, и на узкую площадку вывалилась компания, мгновенно наполнившая воздух звуком подвыпивших голосов и вульгарным смехом. Чуть впереди всех находился плотный мужчина в плаще и шляпе, обнимавший за талию затянутую в кожу блондинку. Джонас непроизвольно подался назад, мужчина, оторвавшись от своей пассии, бросил взгляд в его сторону, и они узнали друг друга. Большой Сэм мгновенно отшвырнул прочь блондинку, и одновременно с этим повинующийся инстинкту Джонас развернулся на сто восемьдесят градусов и бросился бежать. За спиной он слышал удары каблуков о мостовую, крики и рёв включившегося двигателя. Джонас пересёк открытую площадку, залитую светом фонарей, и нырнул в узкий просвет между двумя домами, куда не втиснулся бы ни один автомобиль. Он ни о чём не думал, а просто бежал вперёд, выжимая из организма все возможности. На пути его попался прислонённый к стене ржавый остов раскладушки, и, пробегая мимо, рукой свалил его на землю. Звук падения и громкая брань, последовавшие несколькими секундами позже, дали ему понять, что преследователь на некоторое время вышел из игры,

но Джонас не сбавлял темпа. Он уже видел перед собой выход на другую улицу, где стоял какой-то автомобиль с включёнными фарами, и, выбежав на открытое пространство, лишь на мгновение замедлился, ослеплённый ярким светом, но этого хватило для того, чтобы мускулистая рука успела оплести его шею сзади. В ноздри ударила знакомая смесь запахов табака, пота и погони, и голос Большого Сэма почти ласково прошептал ему в ухо: «Я же говорил, что достану тебя». Джонасу вдруг показалось, что он по-прежнему стоит во дворе за домом номер 43, а всё произошедшее после было только вызванной страхом секундной галлюцинацией, и тут что-то острое вошло ему в бок, и он начал обмякать, как проколотый воздушный шар. «Боже, как это несправедливо» – мелькнуло у него в голове, и это была последняя мысль перед тем, как красная волна нестерпимой боли взяла сознание Джонаса Стенджерса навсегда…

Большой Сэм выдернул нож из раны, позволив телу осесть на тротуар, и быстрыми шагами двинулся к своему автомобилю. Несколько секунд спустя, взвизгнув резиной шин, машина умчалась прочь. Нелепо вывернув колени, Джонас лежал на асфальте лицом вверх. Рукав его плаща задрался, и в темноте на голом запястье можно было увидеть светящийся циферблат наручных часов, показывавших без трёх минут двенадцать. Ещё один осенний день подходил к концу. Открытые глаза убитого бесстрастно смотрели вверх, где в понемногу очищавшемся небе зажигались всё новые и новые звёзды. Иногда они вдруг начинали мигать, словно о чём-то переговариваясь, и тогда казалось, что на самом деле это были глаза богов, с холодным равнодушием наблюдавших за происходящим на Земле.

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН

В НЕБО
рассказ

Отчего люди не летают так, как птицы
Островский, Гроза

1. ГЕОПОЛИТИКА ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Разговоры за чаем в издательстве – разве тесные помещения могут их вместить? Слова растекаются вдоль деревьев, по тенистым тротуарам, – слишком многое важно высказать вне рамок работы и принятого нарратива:

– Я полагаю, цивилизация пошла путём, ведущим природу, частью которой мы и сами являемся, к неминуемой гибели. Мы сжигаем в моторах окружающую среду, губя воздух, которым дышим. Это своего рода новая магия, как верно заметил Максимилиан Волошин. Чёрная-пречёрная магия, ибо иррациональная, без осознания истинной, духовной подоплёки, – привычно эпатировал Сергей.

Слова били по лицу новизной и насмешливостью. Хотя разве оригинальность может быть несерьёзной? И я вступил с Сергеем в диалог.

– Многое здесь верно, пожалуй. Но и уточнения нелишни. Заводы – современные храмы, автомобили – передвижные жертвенники. В древности, изрекая туманные инвокации, в священный огонь бросали тук животных, рога и копыта или ещё что-то. Сегодня, матерясь, заливают в бак бензин. Обсценная лексика, по сути, описывает древние сексуальные практики, обязательные в архаичных культах плодородия. Если подумать, суть осталась неизменной. Хотя есть и некое развитие, не в смысле «улучшение»: Демоны научились сосуществовать с нами, не вступая с нами в открытый диалог. В астральном мире тенденции как у нас, курс на индивидуализм, замкнутость, внутреннюю самодостаточность, стремление избегать коммуникации. А кровавые жертвы неизбежно оборачивались разговорами. Впрочем, демоническое влияние всегда враждебно и гибельно. И тогда, и сейчас.

– Развитие цивилизации сопровождается оглуплением человечества. Сколь часто в истории люди уже находили оптимальные решения, но потом, словно внезапно спятив, сворачивали с прямого пути на тёмные плутающие тропы сложных, энергоёмких решений. Примеров много… Вот, например, авиация. Задолго до братьев Райт люди победили закон всемирного тяготения.

– Сергей, Сергей! Повремени. Бывает, важно не только победить, но и других убедить в своей победе. Есть проблемы передачи и сохранения знаний.

– Это всё так. Но я о другом. Древность знала множество покорителей небес. В былые времена люди воистину много летали, но, как это часто бывает в науке при открытии чего-то принципиально нового, не всегда видели в этом пользу. В те времена для йогов левитация – лишь побочный эффект, в котором нет никакой пользы. Люди Запада быстрее осознали полезность победы над земным тяготением. Ямвлих, Аполлоний Тианский, Симон Волхв и многие другие устремлялись ввысь вполне сознательно. Они рационализировали, научно осмыслили свои действия. Симон Волхв неплохо освоил технологию применения демонов для пользы человечества. А вздорное христианство, это вредное суеверие, остановило человечество на его пути к прогрессу и процветанию. Как известно, святой Пётр помешал отважным научным экспериментам Симона Волхва, спустив его с неба на нашу грешную и весьма твёрдую землю.

– В целом я с тобой согласен. Сама идея единобожия – это своего рода вредное упрощение действительности. Постижение сложных взаимосвязей в нашей вселенной – процесс, трудно дающийся человеку. Он не имеет логического завершения и ничего ясного, твёрдого… никаких опор. Только смелому и усердному дано попирать землю, двигаясь вперёд по дороге знаний. Остальным же проще сказать, что всё в руках одного небесного царя и думать тут нечего.

– Да. И уж как это абсурдно! Разве одному Богу дано справиться со всем происходящим в нашем нелепом мире?!.

– Однако влияние христианства на развитие воздухоплавания не сводится к противостоянию Симона Волхва и Святого Петра. Зачем же упрощать? Даже если допустить важность этого для Средиземноморского региона, то почему же йоги в Индии прекратили полёты?

– Поглупели?

– Ты в это веришь? Я считаю, что ситуацию кардинально изменил Карл Великий, уничтожив в 772 году священный для саксов Ирминсуль, столб, который подпирал небо. После этого атмосферное давление резко возросло. И, обрати внимание, где-то в это время и прекращаются сообщения о левитации. Люди сразу почувствовали всю тяжесть небес. Тогда Папа Римский Лев Третий в 783 воздвиг на месте Ирминсуля церковь. Но храм Божий – это скорее символ, чем реальная опора. Некоторые материальные объекты невозможно заменить знаками. Духовность важна, но это не всегда работает в Подлунном мире. Не получится сколотить материальный шкаф, пользуясь духовными гвоздями.

– Ты мне просто открыл глаза! Как ты прав! Не понимаю, как я раньше не обращал внимания на уничтожение Ирминсуля! А ведь это самая страшная геополитическая катастрофа в истории человечества!

– Да, полностью согласен. Самая страшная геополитическая катастрофа в истории человечества. Лишь добавлю, в тёмные для воздухоплаванья времена ведьмы хранили древние предания о покорителях неба. Вещие сестрички мазались наркотическими мазями, вызывавшими иллюзию левитации. Впрочем, жалкое зрелище, если вспомнить всю блистательность славы античного мира. Но так память о прошлом сохранялась, что сделало возможным развитие современной авиации. Без опыта ведьм, без хранимых ими преданий старины, люди бы, конечно, не додумались, до подражания глупым птицам.

– Но, согласись, Саша, сегодня это всё ужасно энергозатратно, губительно для экологии. Людям следовало бы вернуться к использованию демонов, при всей сложности их применения без Ирминсуля… И ещё, ты забыл нечто важное. Инквизиция! Как явление она неотделима от общего процесса, очевидной тенденции. Связь её с ведьмами бросается в глаза. Где ведьмы, там и инквизиция. Где инквизиция, там и ведьмы. Святых отцов вело вперёд божественное провидение. Подсознательно они ощущали, что мазью не спасти человечество, а тайна будущего воздухоплавания заключена в процессе горения. Сжигая стремящихся в небо ведьм, инквизиторы неосознанно намекали на необходимость создания моторов. Но повторюсь. Теперь этот процесс завершился. Мы снова в тупике. Сейчас в опасности наша среда обитания, мать-природа. Пришло время вернуться к демонам, я считаю. Конечно, на принципиально новом уровне.

Дима, брат Сергея, всё это время молча шёл с нами, сильно вытаращив глаза, выражая своё несогласие с каждым словом на манер персонажа аниме. Он не имел высшего образования и не привык свободно пользоваться головой, но больше выдавал за своё мнение чужие слова. Сегодня он сидел с нами в издательстве и откровенно скучал, мешая работать. Зачем он туда явился? Полагаю, его подослала к Сергею их бабушка, не доверявшая внуку-интеллектуалу. Тот ей честно говорил, что занимается археологией. Но и название специальности, и поведение внука казались крайне подозрительными. Старушка, похоже, твёрдо уверовала, что её внук на самом деле просто алкоголик. А уж серьёзных оснований для её подозрений возникало немало. Теперь она, очевидно, подослала Диму, – пусть всё разузнает в деталях, что пьёт, как, где и с кем. Ей казалось, слежка как помогала воспитывать внука, так и давала рецепты коктейлей. Впрочем, с последним она просчиталась. Сергей, действительно, частенько заливал за воротник. Но потреблял он исключительно водку. Так часто бывает. Душевно сложного человека не хватает на устроение сложного быта. Интеллектуалы часто непритязательны в питании и одежде.

Разведчик Дима наконец вышел из тени, не сдержался, проваливая сложную шпионскую операцию:

– Вы сами верите в весь этот бред? Сергей, ты серьёзен?

– Всегда. Жизнь – слишком серьёзная штука. Слишком, – ответствовал Сергей.

– Но ведь есть и настоящий, реальный мир помимо ваших слов и мыслей, – не сдавался Дима. – Вы можете без конца придумывать какие-то духовные подоплёки, но вот… дерево. Я его вижу. Это действительно дерево.

– Действительно, дерево… – с ироничной улыбкой пробормотал Сергей.

– Жизнь нужно прожить так, чтобы не покидать пределов библиотеки, – я решил поставить точку. – Почему многие считают реальным лишь скотское животное существование? Всё стоящее, что создали люди – плод их больного воображения. Ницше, если я не ошибаюсь, называл человека сошедшей с ума обезьяной. Это гениальное прозрение философа, которое, как и многие другие интуиции, неточно, хотя и схватывает некую суть дела. В действительности человек – умственно отсталая обезьяна, человек – обезьяна с замедленным интеллектуальным развитием. Капуцин, например, когда ему исполняется год, – вполне взрослая обезьяна, способная вести самостоятельную жизнь. А человек? Он вполне себе зависимый идиот и в 16 лет. Но мудрые обезьяны ведут в лесу простой и дикий образ жизни. Мы же придумали бредовую, абсурдную цивилизацию, не умея довольствоваться получаемыми от природы благами.

2. НЕОЖИДАННОЕ ПИСЬМО

Пустые разговоры рассеиваются. И вроде с Ирминсулем делать уже нечего. Даже если принять наши досужие разговоры за чистую монету (но лишь молчание – золото!), политические новости имеют то печальное свойство, что их можно только потреблять. Влиять же на процессы получается крайне редко. А уж если речь о событиях далёкого VIII века! Однако в данном случае всё оказалось несколько сложнее. Ирминсуль и левитация не отпускали и вызвали череду событий. Духовных, конечно. Главное из них – обретение знания. О нём я и расскажу.

Снова тот старый дворик на улице Новосельского, Островидова. Улица имеет много имён, легко меняя их, часто вступая в брак с новыми властями. Это понятно. На этой улице находился известный до Октябрьской революции публичный дом. Сегодня в этом здании студенческое общежитие исторического факультета. Большевики любили иносказательно выражать глубинные концепции. Издательство же в этих местах, в близлежащем дворике, исправляет карму, распространяя свет истинных знаний.

В конце дворика деревянная веранда. Дверь приоткрыта. Меня ждут. Да, я действительно опоздал. А срочной работы много.

В дверях меня встретил Сергей:

– Саша, прежде, чем мы замотаемся и я опять забуду… Когда-то давно я рылся в документах одного техникума. Некий знакомый доказывал Claims Conference своё нахождение во время войны в гетто в Бершади. Этот человек указал соответствующую информацию в автобиографии, подаваемой при поступлении. Советской властью такие факты не приветствовались и, соответственно, они не могли быть придуманы ради каких-то выгод. Я вызвался помочь. Архив пребывал в полном беспорядке – огромная пыльная комната, заваленная бумагами. Никаких каталогов. День я провёл в бесцельном чтении старых бумаг, пока не сообразил, что проще подать запрос в Областной архив. Там есть списки узников этого гетто. Такой учёт вёлся для получения помощи, отправляемой в Бершадь румынскими евреями. Так я легко решил проблему, не отыскав автобиографию. Однако день, проведённый в архиве техникума, не был совершенно потерян. Я нашёл любопытное письмо весьма внушительного объёма. Оно было отправлено на имя директора техникума одним очень известным историком. Женщина, пустившая меня в архив, просила не называть имён. Текст датирован 1957 годом. Впрочем, это как раз не имеет значения. Историк утверждал, что обнаружил средневековые мемуары. Хотя, будем честными, биографическая часть в рукописи не является главной, ни по значению, ни по объёму она не доминирует. Историк давал полный перевод в письме, не указывая, впрочем, язык подлинника. За точность передачи текста ручаться невозможно. Средневековые люди писали очень сухо и скупо. Иногда текст так и выглядит, но бывает, в нём появляется избыток красок, избыток описаний и рассуждений. Мне кажется, историк иногда приукрашал текст. Я расспросил хранительницу архива. Она поведала, что уважаемый и очень корректный историк в частной жизни любил хвастать и производить на людей впечатление. О старой дружбе с директором техникума она знает. Кажется, они – одноклассники. Текст вполне может являться как переводом, так и порождением фантазии. Историк в своей жизни вне академии увлекался мистификациями. Впрочем, как знать! Женщина разрешила мне взять те листы письма, где содержалась история, о которой я говорю: делайте с ними что угодно, публикуйте, заворачивайте рыбу, а в нашем бардаке они попросту сгниют. А я сразу подумал о тебе. Ты медиевист. Тебя это заинтересует.

Сергей вручил мне пожелтевшие листки, вырванные из тетради. Там красовались аккуратные размашистые буквы, выведенные чернильной ручкой и твёрдой рукой человека, прошедшего через уроки чистописания.

– Спасибо, Сергей! Очень любопытно!

– Сперва прочитай. Текст необычный… и не скажу, что в хорошем смысле необычный. И усваивается он… хм… на любителя. Напыщенный и нудный.

– И ты его отдаёшь мне? А мог бы опубликовать или написать о нём что-то.

– Лишь я отметил его необычность… и ты отметишь. Так мне мнится. Но я показывал текст разным облачённым званиями специалистам… Говорят, тут типичное средневековое мышление, сплошная надстройка, а не базис, а ещё – «Соломон и соломоновщина».

– Наследники любителей «мирового духа» и марксовых абстракций любят нажимать на практическую ценность, которой нет и не может быть в их умозрительных построениях. Эта «практичность» в их глазах – соответствие интеллектуальной конструкции. А мне импонируют не занудные современные псевдомарксисты… Марксизм без характерных для немецких университетов девятнадцатого века пьянок с нетрезвыми беседами не может считаться настоящим. Учитель Юлиана Отступника, Максим, – вот образец истинного философа. Он не носился с нудными и раздражающими поучениями. Он заставил статую богини смеяться! Теория должна соотноситься с реальной жизнью, быть руководством для достижения конкретных целей, а не объяснять простое сложным.

День пробежал незаметно, но все мысли крутились вокруг рукописи. Я ждал с ней встречи. И вечером, сев за стол, наконец развернул её. Сергей был прав. Оформлено как вольный пересказ. Историк бы, наверное, скорее перевёл. С другой стороны, сухой средневековый текст скучно читать. Можно понять и желание его совсем немного оживить, если цель – не научная публикация, а хвастовство и показуха. Впрочем, текст в письме, хоть и живее обычных средневековых повествований, но всё равно повествование чрезвычайно лапидарно. Ещё важно, повествование ведётся от первого лица. Однако завершение рассказа таково, что вероятность его написания участником событий невелика. Канва повествования мне незнакома. Это наводит на мысль о подлоге. Но историк по каким-то причинам мог не успеть, не получить возможности или не пожелать опубликовать обнаруженный трактат. Всё это случается. Ах, знать бы имя человека, рукопись которого попала мне в руки!

Однако, приведу здесь данную историю без комментариев. Пусть её судит читатель. Текст сплошной. В нём отсутствует разбивка на разделы. Для удобства я разделяю сочинение условные главы, придумав им названия. Также я убрал основную часть трактата, – она целиком посвящена ритуалам и не представляет особого исторического интереса. Основа всего сочинения и по смыслу и по объёму – подробное описание создания домашнего храма с освящёнными предметами и детального изложения того, как вести там службы в течение года. Ритуал представляется магическим. Но его цель неясна. В конце автор, которого, как предполагают уже первые буквы цитируемых в начале псалмов (на древнееврейском!), зовут Соломон, даёт рекомендации по созданию талисманов и небольшое число практических магических рецептов. Эту часть я также опускаю.

Итак, вот этот текст.

3. INCIPIT

Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей.
От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твое.
Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем.
Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! Ибо к Тебе молюсь.

4. НАПУТСТВИЕ

Сын мой, Ровоам, получишь ли ты мои записки? Уповаю на это. Ибо Господь неслучайно сподвиг меня на написание поучений, которые я, увы, не могу тебе передать из уст в уста. Ясно вижу во всём провидение Божье. Во всём Его воля. Но это не значит, что мы – рабы судьбы. «Всё предвидено, но свобода дана». Далее, как ты знаешь, про милосердие Божьего суда. Но не следует это понимать в том смысле, что приговор – ответ на поступок. Есть ли такая связь? Мудрецы говорят: «Всё в руках Господа, кроме страха Божия». Я склонен считать, что каждая наша мысль – выбор. При всей силе обстоятельств, наш разум поднимает нас через рациональные рассуждения над причинностью. И пусть награда тоже зависит от слепой фортуны. Истинная цель праведного – праведность. За этим ничего больше нет. Бог же перманентно знает все наши поступки, все наши решения. Для Него не существует времени как реальности, в которой Он существует.

Прочти эти наставления и усвой их хорошо. Они предназначаются тебе. И в них – величайшее сокровище, которое я мог передать тебе. «Лучше знание, нежели отборное золото». «Мудрость лучше жемчуга, и ничего из желаемого не сравнится с нею». Опыт, как одежда, скроет твою наготу в тяжёлые времена, когда бури испытаний своей неизбирательной злобой завоют, взбесятся, протягивая к тебе свои когтистые лапы. Следуй же не моим словам, но речениям Божьим. Только Господь ведёт человека по стезе истины. А вся моя мудрость, какая есть, обретена свыше. А что не от Бога – тщета. Всё тяжелое, неочищенное в моих словах – от многих грехов моих. «Грехи мои меня поглотили». Молю тебя, не повторяй моих ошибок. Хотя знаю, ты их совершишь. Ибо «не во власти человека и то благо». А иначе и не достигнуть неизбежного конца. Вкусивший от жизни смертью умрёт. И гонят нас грехи вперёд, дабы мы прошли нашу земную юдоль – «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним». Но избегай зла, если это возможно. А если невозможно, уразумей, какие проступки завели тебя в безвыходную ситуацию. Зло же будет закрадываться, обманывать, лежать на пороге. Будь осмотрителен! Помни, на трёх вещах стоит мир. На Торе, на служении Богу и на добрых делах.

Помни об опасности высшего пути. В Святую Святых Храма мог войти лишь первосвященник. Да и то раз в год. К его ноге привязывали верёвку, чтобы вытащить его в случае опасности. По мере восхождения, увеличиваются и искушения. У кого больше праведности, у того сильнее и злое начало. Может ли человек не оступаться? «Не во власти человека и то благо». Скажи себе – «Буду размышлять о пути непорочном». Иди вперёд, не оглядываясь. «А когда я претыкался…» – пойми ошибку и исправь. Не думай долго о своём грехе, раскаиваясь. О чём человек думает, там и пребывает его душа. А за мелкий проступок на вершинах –

беспощадная кара. Бог «не скажет неправды и не раскается…; ибо не человек Он». А ещё: «Ибо Я – Бог, а не человек; среди тебя – Святой». «Как лев, Он даст глас Свой». И награда здесь – не счастье и благополучие, но следование Творцу. Это и стало наградой Иову. Только способный потерять всё, обрящет. А плата за близость к Богу может стать великой, – страдания и мучительная смерть. Но если попросить Его всем сердцем о милости – услышит и выручит. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя; не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь – хранитель твой; Господь – сень твоя с правой руки твоей. Днём солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твоё и вхождение твоё отныне и вовек».

Храни же чистоту. Не выказывай к ней нерадивости. Совершай омовения. Не пренебрегай молитвой. Словом Господь сотворил мир. Не греши. Грех – ошибка, которая сродни глупости. А без глупости не бывает человека. Не уклоняйся от постов и помощи нуждающимся. Будь добр, где это возможно. Милосердие подобно храмовым жертвам. Тот, чья учёность превосходит его добрые, дела подобен дереву, у которого ветвей много, а корней мало. Мера воздаяния Всевышнего за добрые дела не менее чем в пятьсот раз превышает меру наказания за проступки. А если требуется жестокость – действуй, не пуская ожесточение в сердце. Не раскаивайся долго о проступках. О чём человек думает, там и пребывает его душа. Не касайся нечистот человеческого сердца, даже ради очищения всего мира. Испачкавшийся однажды всегда вернётся на блевотину свою.

Не будь небрежен в исполнении обычных религиозных предписаний, знакомых профанам. Многим кажется, что адепт выше всего этого. Но стоит оступиться – и вот ты падаешь в глубины шеола. Самая иррациональная малость важна. Она – дар Бога, открывшего нам, как Ему услужить.

Сокрой мои наставления в укромном месте. Да не найдут их грешник, язычник, всякий с необрезанным сердцем. Да будут тебе утешением мои терзания. Все мы – пленники этого мира.

5. НАЧАЛО ПУТИ

Я вовсе не был наделён знанием божественных наук при рождении и не желал изобретать их самостоятельно, но, движимый вдохновением, устремлялся к умопостигаемым сферам. Мой отец Давид перед самой своей кончиной передал мне некоторые наставления, необходимые для изучения Святой Каббалы. Правда однако же в том, что почтенный мой родитель сам никогда не ступал на истинную дорогу к Святой Святых. А его напутствия лишь распаляли огонь в моей груди, не давая питания «для костей» моих. По его смерти мне исполнился двадцать один год и ничего я не желал более наставлений истинного учителя. Однажды мне приснился сон. С жертвенника Храма ветер унёс пепел, который влетел в моё окно и устлал пол. Я заснул на этом прахе, не имея сил после утомительных занятий добраться до ложа и считая себя недостойным возлежать в удобстве. Сквозь дрёму я узрел нисходящее с неба пламя, из которого на меня взирал ангел. Я спросил его, где мне искать мудрость и услышал ответ: «Следуй в Ратисбон, через него дорога, но цель не там». Смысл мне показался не до конца ясным. Однако на практике я понимал, что мне необходимо делать. Я уже слыхивал о великом мудреце, прославленном праведной жизнью и духовными устремлениями, живущем в святой общине Ратисбона, и грезил пить с жадностью его слова. Так что речения ангела лишь указали мне на вожделенный мною путь.

К моей великой радости я был принят в ученики мудрецом из Ратисбона. Вёл он жизнь весьма уединённую, ибо глубокие занятия отнимали все его силы и всё его время. Он собирал как письменную, так и устную мудрость всех народов, и от египтян, и от персов, и от арабов, и от христиан. Образы и слова. Рабби отважно шёл через всё. И эта неразборчивость, отказ от щепетильности тогда представлялись мне знанием всех вещей. Между тем «не от Бога ли истолкования?». И хотя даже «злой дух от Бога», как мы знаем из истории о Шауле, да не утратим единое ради многого, высшее ради низшего. А демоны водили учителя за нос, маня мнимыми чудесами. В сколь множество глупых ситуаций он попадал из-за своих занятий! Но словно пелена была на его глазах. В мороке он усматривал посулы. И я тогда попал в тенёта прикосновения к горнему. Ведь сколь часто религиозное рвение сводится к пустословию. Здесь же я погрузился в мир чудесного. А явственное проявление незримого как бы вызывало призрак истинного пути к Богу. Хотя сам Бог молчал. Его слова не слышны в плотной пелене низшего уровня бытия. А демоны, заполняя жизнь человека, уводят его в бездну.

Ещё помню женщину-христианку, которая рассказывала о своей способности летать. Я выказал ей заинтересованность и после долгого общения стал свидетелем опыта. Женщина намазалась мазью и в беспамятстве опустилась на землю. Я не увидёл полета, но стал свидетелем конвульсий несчастной, впавшей в странный сон. И здесь лишь иллюзия и обман.

Но чаще всего я встречал людей двух типов. Одни – святоши, говорящие о Боге, но боящиеся заглянуть за пелену материи, рассуждающие о формах Философа, но бегущие идей, боящиеся встречи с ангелами. Другие – жонглёры, ужасающие публику трюками, не имеющими ничего общего с истинным служением.

Однажды, находясь в учениках в Ратисбоне пятый год, утомлённый занятиями, я задремал, корпя над книгой. Где-то меж явью и сном я словно услышал глас Божий: «Шломо, где ты?». Внезапно для самого себя, совершенно не раздумывая, я ответил: «Я скрылся». После этих слов дрёма мгновенно ушла, гонимая ужасом. Словно бездна разверзлась пред моим взором. Я вышел на улицу и у входа столкнулся с путником, искавшим пристанище. То был рабби Иегуда из Праги, удивительный мудрец, не столько знающий, сколько понимающий.

Какое-то количество дней я продолжал ученичество у своего прежнего наставника, совмещая это с беседами с рабби Иегудой, который избегал практической каббалы, считая её опасной и малополезной. Он говаривал, Бог всегда непременно совершает то, о чём его просят, если человек достаточно чист. Ведь истинная воля человека всегда совпадает с волей Бога. Но сами акты обращений – опасная стезя, здесь трудно придерживаться идеального баланса. В личных просьбах содержится эгоизм, который тянет человека вниз, прочь от Бога. Уклонение же от просьб – пренебрежение Богом и созданными им благами, которые также низводят во мрак.

Когда я прямо высказал рабби Иегуде желание своего сердца поступить к нему в ученики, он ответил: «Ты уже впитываешь знание. А большего глупо ждать. Далее – ищи в себе. Ты достаточно к этому подготовлен. У тебя свой путь. Отправляйся в Святую Землю. Лишения уничтожают самонадеянность. Находки и обретения указывают на преходящий характер сущего». Это удивительным образом выражало решение, которое вызрело в моей душе, но я уклонялся от него, боясь его проговорить самому себе. Я оказался в тупике, из которого не было простого выхода. Только полное изменение всех внешних обстоятельств могло пробудить меня для новых внутренних исканий.

6. СТРАНСТВИЯ

Я избрал длинный и тернистый путь к Сиону, желая проследовать через Прагу, где считал необходимым навести справки о рабби Иегуде, а также выполнить его поручение, о котором не вправе распространяться. Там я услышал много чудесных историй о лежащих на Востоке землях. Из Праги я отправился в Краков. Говорят, там в былые времена обитал дракон. Многие верят, что эту тварь может одолеть лишь её порождение. Монстр же принимал облик короля и вступал в связь с королевой. Так супруга монарха понесла от чудовища. Какое-то время король держал её плод от порочной связи в темнице, но выпустил его после обещания убить дракона. Молодой человек расположился в потаённом месте у покоев матери, взяв в руки меч. Скоро явился дракон. Он вращал носом, говоря: «Я чувствую запах человека, а с ним опасность. Но это не заставит меня отказаться от удовольствий». Позабавившись с королевой, ослабевший монстр устремился прочь, но у дверей был поражён мечом своего сына. «Ударь меня ещё раз», – попросил дракон. Известно, смертелен для него лишь один удар, второй же исцеляет. Однако юноша возразил: «Моя мать родила меня лишь один раз, не дважды. И я не ударю тебя повторно». Впрочем, в Кракове я слышал и другую историю, – долго досаждавшего дракона отравил сапожник. Много говорили и о невероятных размерах чудовища, о том, с какими трудностями его тушу извлекали из замка. Однако же его обиталище у берега реки оказалось весьма тесным. Не знаю, достойна ли эта история доверия. Люди слишком часто предпочитают наваждения и пустые мечтания воспринимаемому чувствами и постигаемому разумом. Сатана же завлекает человека в свои сети, предлагая ложь тем, кто любит обманываться. Ранее в Праге во время прекрасной субботней проповеди я с горечью наблюдал скучающих, дремлющих людей. Внезапно раввин сказал: «У императора Александра были разные глаза, один цвета топаза, а другой – чёрный». Все сбросили с себя дрему, лица оживились. Раввин же упрекнул свою паству: «Байки вам интереснее речений святой Торы».

После Кракова я посетил Киев, где обитают еретики. Они не слыхивали о Талмуде, а обычаи их весьма необычны и удивительны для нас. Я разъяснял им наши порядки по мере сил. И евреи тех мест с благодарностью принимали мои наставления.

Обычаи земли Кедар весьма дики. Но лица людей прекрасны от простой жизни вне грязных городов.

Посетил я также и Хазарию, а ещё – землю Тогармы. Потом отправился в землю Арарата. В прежние времена там проживало немало евреев, но теперь осталось чрезвычайно мало. Многие ушли в Вавилонию, Мидию и Персию.

Испытав серьёзные лишения, я достиг Новой Ниневии, где святая община весьма многочислена и управляется двумя князьями, происходящими от царя Давида. Старая же Ниневия, находящаяся с другой стороны реки, пребывает в запустении. Правит в тех землях король, прозванный султаном. Над ним возвышается король вавилонский, прозванный халифом.

В Ниневии я смертельно заболел. По обычаю тех мест половина имущества умершего странствующего еврея достаётся султану. Мои красивые одежды создавали ложное впечатление, что я богат, – моя смерть многим казалась желанной. Однако, коснувшись волшебных вод Тигра, я исцелился. Река эта обладает удивительными свойствами, хотя сама она строптива и опасна, а течение её быстро.

Обитал в Ниневии и известный астролог, понимавший в движении звёзд более любого живущего на Земле. Я многому у него научился, что потом пригодилось и для дальнейшего моего знакомства с тайной доктриной, и для понимания вещей божественных. Астролог этот вычислил и время прихода Мессии, что кажется мне ошибкой, – никому эти сроки неведомы.

Затем я отправился в Вавилон, называемый ещё Багдадом. Его огромные медные ворота с фигурами и орнаментами не имеют равных. В городе живёт более тысячи евреев. Там тридцать синагог, а в дополнение к ним ещё одна, возведённая пророком Даниэлем. Евреи здесь пребывают в мире и не платят налогов высшему правительству, но каждый ежегодно выделяет золотой флорин академии. Молятся евреи Вавилонии, сняв обувь. Женщины здесь скромны и скрывают лица, они не ходят по улицам в одиночку, а сами их встречи с мужчинами, если это не их отцы и мужья, считаются постыдными. В городе живёт раввин, глава академии, которому Бог не дал сыновей. Одна из его двух дочерей постигла великие глубины Торы. К ней часто обращаются за помощью в решении судебных проблем. Разговаривать с этой женщиной приходится через окно и так, чтобы собеседники не могли друг друга видеть.

В этих краях всё произрастает не только летом, но и в не меньшей степени и зимой. А люди из-за чрезвычайного зноя основную свою работу делают ночами.

Рассказывают, что в городе есть некие удивительные, несравненной красоты сады, посаженные ведьмой. Они столь радовали глаз, что вступающие туда полагали себя попавшими в рай и забывали обо всём. Ведьма убивала поддавшихся очарованию сада, а имущество их отбирала. Но я полагаю всё это вздорной выдумкой. Мне много болтали об этих садах, но никто не смог указать на их точное местоположение.

В этом славном городе я сподобился изучать с главой академии комментарии рабби Саадии ко всему Писанию и к шести разделам Мишны, а также комментарии Ган-Гаона. Посетил я и многие города Вавилонии, а также могилы пророков Баруха бен-Нерии, Йехезкеля, Даниэля, видел и могилу Эзры, охраняемую змеями, место упокоения рабби Меира. Праведники эти почитаемы и местными исмаэлитами. Всякий из местных жителей, отправляясь к могиле Магомета, прежде посещает место погребения Йехезкеля, принося туда всевозможные дары и обещая по возвращении прибавить ещё. Посетил я и старый Вавилон, в котором находится дом Даниэля. Там же можно видеть руины огромного царского дворца, которые, впрочем, все боятся посещать из-за множества гнездящихся там змей и скорпионов.

Многие здесь меня спрашивали, ведаю ли я что-то о высокой горе на севере, которая доходит до неба. По ней нисходят и восходят ангелы. Я же не знал, что ответить, ибо никогда подобного не слыхивал.

Из Вавилона я вернулся в Ниневию, а оттуда направился в Харран, землю бродящих во тьме аккумов, чтящих Луну и Гермеса. После прибыл в Халеб. Он зовётся так, ибо там наш отец Авраам предлагал молоко беднякам. Оттуда я перебрался в Дамаск, весьма большой город. Им правит король Египта. Здесь проживёт почти пять тысяч евреев, имеющих своего князя. В городе весьма примечательны синагоги, среди которых одну построил пророк Элиша. Глава академии Дамаска назначается главой академии Вавилона. Здесь цветёт множество садов. А исмаэлиты считают город прообразом рая.

Оттуда я отправился на юг, видел пещеру Панеаса. Жил в святой общине города Акко. Этот город лежит на берегу великого моря и имеет обширную гавань для всех, кто отправляется в Иерусалим морским путём. В городе живёт около двухсот евреев. Потом я остановился в Тверии. Здесь есть еврейская община, более сотни человек. В городе расположена синагога, которую возвёл Иегошуа бин-Нун. Побывал я и в Кейсарии, в Гаде Филистимском. Там живёт менее десяти евреев и двести кутеев. Далее я отправился по всей Святой Земле, стремясь заглянуть в каждый угол, собрать растерянные искры знания. Я посетил Циппори, могилу Иегуды га-Наси, от которой исходит удивительный аромат. В Явне видел источник, текущий шесть дней, а на седьмой день, в день субботний, отдыхающий. Я поднимался на горы Мирон, Арбель, Кармель. У подножия горы Кармель расположена пещера пророка Илиягу. Я посетил могилу праматери Рахель, могилу Иосифа. Был в сухой пустыне и видел Содом и Гоморру, где нет никакого растения. Довелось мне лицезреть и Мамврийский дуб, у которого праотец наш Авраам, великий теург и автор «Книги Творения», общался с тремя ангелами. Вся земля Израиля невелика по размерам и её можно обойти довольно быстро. Печально же созерцать малое число евреев в обещанной нам Богом стране, а многие святые места осквернены чуждой работой, ради которой возведены огромные и пышные здания.

Затем я прибыл в Иерусалим. Это маленький, но весьма многолюдный город, окружённый тремя каменными стенами. Там проживает всего один еврей, красильщик Авраам, платящий королю огромные налоги за право оставаться здесь. Я видел Врата Милосердия, через которые нисходит Божественная Слава. Человеку же не пройти через них, ибо они в наши дни завалены мусором. По сей день стоит башня Давида.

Я спросил у красильщика рабби Авраама, зачем он обитает в Иерусалиме, снося тяжёлые поборы. Тот ответил, что это не столь уж и просто объяснить. Какое-то время он жил в Греции. Там евреи терпят великие притеснения. Им даже не позволяют иметь слуг. А потому многие вынуждены постигать магию самого низкого и чёрного свойства, – призывать служебных демонов, дабы они исполняли работу по дому. Так рабби Авраам приобщился к богомерзкому колдовству. А осознав всю его пагубность, он отправился искупать грехи в Иерусалиме. Оказалось, что место это не столь уж и чистое. Здесь разрушены два Храма,

а сам город многократно обагрялся кровью невинных жертв. Но весь этот ужас проистекает от одной причины. В подлунном мире есть места, сквозь которые из миров духовных прорываются силы, можно сказать, естественные низшие демоны, меняющие ойкумену. Таких мест несколько, но Иерусалим среди них главный. Это страшные, ужасные места. Мир жесток и входящие в него изменения на ранних этапах, не распределившись ещё по множеству земель, очень грубо ломают миропорядок, растаптывая судьбы. А своим покаянием и благочестивым образом жизни рабби Авраам крайне надеялся смягчить удар по человечеству от перманентно врывающихся в подлунный мир сил. Мне же он сказал:

– Ты погнался за внешними диковинками. Ищи в себе. Ведь сказано, что умножающий сидение умножает мудрость. Египетские мудрецы былых времён, обозначая человека, не покидавшего родину, рисовали его с головой осла. Ведь на осле Мессия въедет в Иерусалим, а само слово <хамор> – аббревиатура, означающая – мудрецы <хахамим>, учителя <морим> и раввины.

– Говорят, в осла превратился неправедный король Аль-Хаким, гонитель святой общины. Он отправился молиться в отдалённую мечеть и пропал. Ищущие же его там обнаружили лишь осла.

– Но невеждой он не был. А гонения – часть божественного замысла.

– Значит ли, что все мои скитания были напрасными?

– Так может показаться. Вместо хождений по свету и созерцания «развалин в лесах и на вершинах гор», а также столь похожих повсюду людей, ты мог бы изучить немало святых книг. Однако же ты приобрёл внешний опыт, который тебе необходим для внутреннего развития, он толкает тебя к его отрицанию претящего внешнего, к постижению самого себя внутреннего.

– Следует ли мне вернуться в отчий дом?

– Ты многое познал. А потому для тебя нет дороги назад, «ибо положена печать, и никто не возвращается». Невозможно стать прежним, пройдя сложный путь. Человек внутренне становится другим после стольких испытаний. И возвращение в какое-то место на земле не вернёт тебе внутреннего состояния, которое было у тебя тогда, когда ты прежде был на этом месте. Но есть учитель, способный помочь тебе. Отправляйся к нему.

7. О ЗОЛОТЕ

Драгоценный мой Ровоам, должен сказать тебе, красильщик рабби Авраам весьма просвещён в искусстве алхимии. Добываемое им философское золото помогает ему нести ярмо непосильных для обычного человека поборов. Я сам видел создание этого благородного вещества. Должен сказать тебе, что оно несколько отличается от металла, производимого более искусным мастером, то есть Землёй. Философское золото не такое стабильное, как золото естественное, оно ломается и крошится. Я вопросил рабби Авраама, возможно ли спорить в этом искусстве с природой и Богом, создавая вещество, равное добываемому. Помещаю здесь его ответ:

Многие стремятся ступить на тропу, ведущую к Богу ради финансового благополучия, желая исцелять не ближнего, не свою грешную душу, но металлы. Но грех Золотого Тельца – это не путь к Господу нашему, хотя и имеет духовное основание. Золотой Телец, как тебе известно, отливался для привлечения благоприятных астрологических влияний. Между тем жизнь еврея не подчиняется звёздам. Путь к Богу – передача себя всецело в его руки, уход от естественной причинности.

Знай также, все творения находятся на своих особых уровнях мировой иерархии, на ступени или ступенях, отведённой или отведённых Господом. Каждое на своём. Есть тут пространство и для некоторого падения, но всё в этом мире покорно энтелехии, всё стремится к указанному Богом возможному совершенству, высшей стадии своего развития. Однако золото – наиболее возвышено и благородно, по сути, среди всех неживых веществ. Человек же соединяет в себе разные миры, а точнее три мира. На нижнем уровне он подобен животным, а на высшем – ангелам. Но мало достигших совершенства в подлунном мире, сопоставимого с золотом. А низменный человек разве коснётся высот блистательного металла? Можно ли искать высшего, грезя материальным благополучием? Можно ли изгнать из своей души мысли о богатстве, ежечасно мечтая о золоте? Разве сосредоточенный на материальных благах человек возвысится до встречи с находящимся на высях мировой иерархии золотом? Сколько бы ложный алхимик не скреплял воском перья, дабы воспарить к Солнцу металлов, – его ждёт позорное падение. Неочищенный и отягощённый стихией земли, он устремится к сородственной ему среде.

Ты вопрошаешь, как же возможна встреча низких людей с золотом, – мы это постоянно наблюдаем в обыденной жизни. Знай же, что вульгарное материальное золото так же отягощено низменным, как и души людей в подлунном мире. Однако же, не проникнув в духовную причину этого металла, невозможно и оперировать им, выводить его из веществ, находящихся на низших ступенях мировой иерархии.

Знай также, возвышенная природа золота – причина падения многих душ. Нельзя нечистым входить в Храм. И люди ничтожные от соприкосновения с золотом часто гибнут, в силу своего низкого достоинства. Высшее губит низшее, как птица ест червей и лягушек.

А ещё знай, путь к высокому является соблазном и содержит соблазн. Чем выше поднялся человек, тем сильнее силы другой стороны влияют на него. Так и с золотом. Сколь часто оно уводит от изучения Торы! Днём и ночью человек направляет мысли к женщинам и пропитанию. А ведь следует всем сердцем своим, всей сущностью своей прикрепиться к Богу. К одному Богу, а не как в случае с Ахером, который достиг высот, но из-за недостаточной праведности не воспринял духовное правильно. И за любое обретение, за любое обладание следует платить. А плата бывает неожиданной, страшной и высокой.

8. ЕГИПЕТ

«В тот день жертвенник Господу будет посреди земли Египетской, и памятник Господу – у пределов её». По совету Авраама я спустился в страну, из которой Бог сильною рукой вывел народ Израиля. Ради этого я пересёк страшную пустыню, полную змей и разбойников. Меня сопровождали спутники, которые казались не менее опасными. Однако Бог хранил меня, как бывает со вступившими на верную стезю. Видел гору Синай, где рабби Моисей получил от Господа нашего заповеди. Сегодня на её вершине обитель монахов, именуемых сирийцами. А внизу, у подножия горы, большое селение, называемое Тур-Синай. Тамошние жители говорят по-арамейски и состоят под властью египтян. Оттуда до Египта пять дней пути.

Нет в мире другой, подобно Египту, столь населенной страны. Притом же она чрезвычайно обширна и изобилует всеми благами. Здесь не бывает дождей и всегда светит солнце, отчего в Египте чрезвычайно жарко. Никто здесь никогда не видел льда и снега. Жители страны питаются от великой реки Нил. А от питья её воды нет никого вреда, но она служит как лекарство. Я вопрошал местных жителей, отчего река так поднимается. На это они отвечают: это происходит от обильных дождей, выпадающих в земле Аль-Хабаш, или Хавиле, из-за них Нил наполняется, выступает из берегов и наводняет страну.

Я посетил Александрию, которую король Македонии построил чрезвычайно прочно и красиво, назвав своим именем. Весь город выстроен на сводах, под которыми текут воды Нила. К многолюдным рынкам ведут улицы прямые и столь длинные, что с одного их конца нельзя видеть человека на другом конце. В порту устроен мол, вдающийся в море на целую милю. Здесь Александр воздвиг высокую башню, а на её вершине устроил стеклянное зеркало, в котором можно видеть издали, на расстоянии пятидесятидневного пути все корабли. Но этому положил конец хитрый грек Теодорос. Он вошёл в доверие к смотрителю, опоил его и разбил зеркало.

Вне города находится академия Философа, наставника короля Александра. Это прекрасное и огромное здание, заключающее в себе до двадцати школ, которые отделены одна от другой мраморными колонами. Сюда стекались со всех стран света учиться мудрости Аристотеля, постигшего многое в естественном, но не в Божественном свете. Далее я добрался до Махале, где живёт пятьсот евреев. Оттуда пять дней до Рамиры, где я обнаружил семьсот евреев. От неё до Манзифта, там – двести евреев. Далее – до Аль-Бубиига, где я обнаружил такое же число евреев. После я прибыл в Искиил-Аин-эль-Шемс. Это древний Рамсес. Он разрушен. Но там можно видеть остатки построек, возведённых нашими предками. Все башни из кирпича. Оттуда полдня пути к Бульсир-Сальбис. Город этот весьма велик, в нём обитает не менее трёх тысяч евреев. Посетил я и древний Мицраим. Он простирается в длину на три мили, но сам город разрушен. В нём и сегодня можно видеть остатки житниц Иосифа. Посреди города находится пирамида, возведённая посредством чёрного чародейства. Я слышал также о трёх пирамидах не превзойдённой никем высоты. Их охраняет огромное чудовище с туловищем льва и головой человека. Его зовут сфинксом. Живущие поблизости люди, предки которых когда-то давно отказались от религии идолопоклонников, сегодня приносят этому монстру дары. Но сам я этого не видел. Расстояние от древнего Мицраима до нового – две фарсаги. Это огромный город, в котором проживает две тысячи евреев. Здесь две синагоги: одна для евреев Святой Земли, а другая – для евреев Вавилонии. Хотя в службах общин есть расхождения, праздники Симхат-Тора и Матан-Тора они отмечают совместно. В городе множество рынков и богатых евреев. В новом Мицраиме есть резиденция князя князей, главы академии и начальника над всеми святыми общинами Египта, от него зависит назначение раввинов и канторов в синагогах. Он также состоит советником при великом государе.

Далее за четыре дня я добрался до Пифома, который называют ещё Фаюмом. Там проживает менее двадцати евреев. Там видны следы древних зданий, воздвигнутых потомками Израиля. Оттуда я проследовал в Куц, от которого тринадцать дней добирался до Хелуана. От Хелуана до цели моих странствий, до Асуана, двенадцать дней пути. Город этот самый жаркий в Египте, а за ним – страшная пустыня.

Расспрашивая людей, я без труда отыскал пещеру отшельника рабби Элифалета, к которому направил меня рабби Авраам. Его в равной степени почитали евреи, исмаэлиты и копты. Однако никто не решился последовать со мной в пещеру, – меня подвели к широкой, рукотворной плите большого размера, располагавшейся на некотором отдалении от обиталища отшельника. На неё местные жители, словно на какой-то странный жертвенник, выкладывали дары для рабби Элифалета. Считается, что благословение

и молитва старца поддерживает процветание города, но при этом святость опасна для человека нечистого в достаточной степени. Так что обитатели Асуана избегали личных контактов с рабби Элифалетом, полагая себя недостойными. Я же, пройдя столь долгий и тяжёлый путь, мог следовать лишь вперёд.

9. ВЕЛИКИЙ АДЕПТ

Оставленный провожатыми, я направился к пещере. А из неё мне навстречу вышел почтенный старик с длинной седой бородой. Чело его словно светилось, излучало многие знания, а глаза – одновременно доброту, спокойствие и указание на бездонную бездну. То был рабби Элифалет. Он приветствовал меня на арамейском языке, а потом крепко обнял, словно старого друга.

Я с опаской вошёл в его обиталище, ибо всё в Египте кишит ядовитыми гадами, а в особенности пещеры в пустыне. Рабби Элифалет сразу разгадал причину моих опасливых движений и сказал: «Змеи и скорпионы не посещают моего жилища; им нестерпима сила святости, исходящая от Божественных имён в хранимых мною книгах».

Пещера оказалась весьма просторной, состоящей из трёх больших соединяющихся залов. Через один из них проходил источник. Он был достаточно глубок, чтобы в него погружаться.

Рабби Элифалет предложил мне место в своей пещере, делился он со мной и едой, которая состояла лишь из фруктов и овощей. Отшельник не ел мясо и рыбу, избегал он и каши, похлебок; не пил вина и пива. Даже в шаббат он придерживался этих правил, что казалось мне странным, – ведь в других вопросах рабби Элифалет строго держался закона. Правда, разумеется, молитва в миньяне также невозможна в сложившихся обстоятельствах.

Много дней, полагаю, где-то год мы изучали Закон. Все мои попытки заговорить о практической каббале рабби Элифалет резко прерывал, никак не объясняя своего нежелания её обсуждать.

Поразительно, но учитель всегда знал наперёд то, о чём я хочу спросить. Лишь стоило мне задаться каким-то вопросом, как рабби Элифалет ставил его темой следующего занятия. Впрочем, если я желал обратиться для разрешения какого-то затруднения, учитель всегда побуждал меня самостоятельно всё проговорить, делая вид, что без этого ему не понять суть. Скоро я сообразил, что ему важно дать мне самому сформулировать вопрос. Только так я смогу адекватно понять и ответ. Следует искать не формулировку как ответ на формулировку, а свою истинную волю, знание, которое уже заложено в нас, но нам требуется помощь, дабы его пробудить.

В какой-то момент я смирился с таким обучением, пришёл с ним в полное согласие, оставив иные устремления. И утром, после чтения Шахарит, рабби Элифалет, улыбнувшись мне, заговорил:

– О, Шломо, ты оставил свои испытанные намерения, как человек, потерявшийся в материи, забывший о своём истинном отечестве. Теперь же, когда душа твоя пуста и свободна от тщеты, вызванной ложными представлениями об истинном знании, я открою тебе великий секрет. Когда Тит разрушил Храм, он обнаружил на горе Мория внезапно отворившийся тайный ход. При этом никто из легионеров не заметил этого прохода. А их предводитель, будущий император, спустился во тьму, следуя по грубо выполненной лестнице вниз. В конце пути его взору открылся огромный зал, заставленными книгами. Там же сидел почтенный старец, который словно ждал прихода Тита и сразу воскликнул, узрев разрушителя Храма: «Приветствую тебя, благородный повелитель, покоряющий народы, но неспособный совладать с мухами!». Почтительный поклон и слова последовали в ответ. Скоро между старцем и Титом завязалась учёная беседа. Будущий император не мог надивиться мудрости встреченного им в подземелье человека: «Что я могу сделать для тебя, старик, дабы твои наставления очистили осквернённую кровью землю и вернули людей на пути истины?». Старик ответил: «Мои дни сочтены. Мир меняется, и в новых временах мне нет места. Мудрость с этими книгами будет потеряна. Никому их не спасти. Даже тебе. Но сохрани одну – в этом твоя надежда на Божественное прощение». С этими словами Тит получил в свои руки некий свиток. В тот же момент земля заколебалась, и камни посыпались сверху на пол. Тит заспешил наверх, спасая свою жизнь. Вскоре будущий император забыл о книге, полученной при столь необычных обстоятельствах. Само событие казалось столь невероятным, что сам Тит сомневался в его реальности, хотя и пережил его, видел всё своими собственными глазами. А ещё Бог поместил в его голову муху, которая не позволяла сосредоточиться на какой-то мысли. Тит звал барабанщиков, дабы они заглушали жужжание, – ничего не помогало. И, уповая на помощь богов, он отправился в Египет, приносить жертву Апису. Там он случайно забыл книгу, а её нашел некий адепт, удалившийся впоследствии в пещеру, в которой мы с тобой проживаем сегодня. Место это неслучайно. Здесь недалеко, на острове, когда-то стоял храм Господу нашему. Его разрушили служители демона Хнума, восставшего против своего небесного повелителя. Хнум осерчал на Казни Египетские, не постигнув ввиду своей низкой природы их высшего предназначения.

10. ПУТЬ АДЕПТА

Я немало подивился рассказу рабби Элифалета. И с этого дня мы приступили к изучению древнего свитка, открывающего вход в Святая святых. Далее я приведу его содержание, но с исправлениями тёмных и маловразумительных мест, – многое в подлинном тексте является шифром, скрывающим сокровенную тайну от невежд и жонглёров. Немало я сделал и дополнений, пространных пояснений, без которых практика отчасти невозможна, отчасти святотатственна и всегда опасна. Рабби Элифалет владеет истинным пониманием несказанного, непосредственно устно получив тайную традицию. Многое мы разобрали вместе, многое нам сообщили ангелы, многое изрёк нам сам Господь. Мы следовали наставлениям свитка, а я достиг многого, ошеломительного и великого.

Однажды Рабби Элифалет наставлял меня так. Успех в материальном мире уводит человека от желания познать свою сущность. Ударам же судьбы следует радоваться. Редкая душа после смерти может попасть на небеса. Но души, не отягощённые грехом и не обречённые на погибель, проходят сквозь очищение. Земные страдания сокращают срок очистительных страданий после смерти. По этой причине злодеи часто процветают. Они обречены после смерти и их душам не требуется никакого очищения ввиду его полной бесполезности. Блажен тот, у кого душа завязана в узле жизни у Господа. Не следует стремиться к долголетию. Праведнику следует выполнить волю Божью и уйти. Долгая жизнь может говорить о неспособности найти верный путь, – и блуждает человек по земле, не умея выполнить волю Всевышнего, проложить к нему дорогу. Блажен ушедший во время молитвы, выполнения ритуала, в субботу. Иными словами, когда человек общается с Богом, легче и отдать ему душу.

После этого наставления, ночью, я облачился в очищенные магические одеяния и отправился в глубь пустыни, ибо ангел повелел мне исполнить там один ритуал. Я шагал сквозь мрак, случайно войдя в круг сидящих в пустыне разбойников. Сперва их охватил ужас, они упали ниц предо мной и принялись читать молитвы. Ко мне быстро пришло понимание, – причина страха в моих непривычных одеяниях и в том, что я свободно в одиночку разгуливал по пустыне. Разбойники приняли меня за ифрита. Я же не повёл себя благоразумно, разуверив их, объяснив, что я – человек из плоти и крови. Люди стыдятся проявлений слабости и всего, что её вызывает. Рассвирепевшие разбойники бросили меня в темницу. Сперва их предводитель решил меня убить, но потом заколебался. Так что, я до сих пор не знаю, сохранят ли мне жизнь. Однако вожак шайки проявил великодушие, пообещав переслать тебе, Ровоам, мои записки.

11. УТЕШЕНИЕ

Я заснул в темнице… а может это случилось и наяву. В углу камеры замерцал свет. Он ослеплял меня, его созерцание вызывало боль. Мою душу наполнял трепет. И я прошептал:

– Господи, уповаю на твоё милосердие!

– «Милосердие», «сострадание» – эти слова описывают чувства. Я и мои ангелы ими не обладают. Мы – идеи, наша сфера – интеллект. Люди легко забывают об этом, реальность им кажется слишком холодной и жестокой. Но поразмысли хорошенько. Сфера чувств – это сфера, в которой обитает зло. Всё, что воспринимается как беды и несчастья, проистекает из этой тёмной области. А милосердие… Разве оно возможно без наличия зла? Так что у меня нет милосердия. Его приписывает мне человеческая блажь.

– Легко быть Богом. Не ведать страданий.

– А ты страдаешь? Тебе больно?

– Я страдаю, предвкушая ожидающие меня пытки и гибель.

– В этой обращённости человека к грядущему заключается источник его силы. Умение отказываться от привлекательного здесь и сейчас ради туманного, призрачного будущего тащит вас к вашим иллюзиям достижений. Этому научило вас грехопадение. Нарушение баланса, гармонии гонит вас вперёд за навьими огнями. Но сегодня у тебя нет реальных причин для жалоб. А завтра – это завтра. Оно ещё неактуально.

– И всё же я словно сорвался с высочайшей скалы и падаю.

– Ты упадёшь, лишь стукнувшись о землю. И этот удар – лишь миг. А до него ты в свободном полёте. Разве он не приносит тебе радость, ради которой можно стерпеть кратчайший момент удара?

Я промолчал и закрыл глаза. Меня клонило ко сну или во сне снилось, что я засыпаю. То было влечение к вечному сну без пробуждения. И вот меня захватывало ночное видение – я свободно парю между скалами. Безудержная радость полёта. Моему взору открываются бескрайние просторы. Я снижаюсь, но это хорошо. Мне любопытно, что там внизу. Меня охватывают скорбное ликование, горькая радость.

12. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ТЕКСТА

<Я упускаю эту часть сочинения, хотя она и превышает по объёму весь приведённый здесь текст. Однако читатель не найдёт здесь ничего интересного. Здесь описывается создание персонального частного храма, освящение предметов для него и культ, ритуалы, совершаемые в течение года. Цель этих обрядов не разъясняется. После следует описание талисманов, а потом – приводится некоторое количество практических магических рецептов>.

13. ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Всюду обман. Иногда что-то говорится для упрощения, – не хочется углубляться в подробности. И пустое «отцепись» превращается в воронку, которая затягивает в пропасть. Сейчас, впрочем, это некритично. Самолёт на Тель-Авив летит в Рамле-Лод. Мир меняется, современный Тель-Авив известен всем. Древний Лод и средневековая столица мусульманских властителей Рамле – кто их помнит? В Лоде покоится голова св. Георгия, убившего животное, которое бы сегодня стало украшением любого зоопарка. Но зверинцы лишись ценного экземпляра. А кому нужна какая-то голова?

Есть и другое: упрощение часто граничит со слабым пониманием событий в их правильном контексте.

Рядом со мной сидит велеречивая рыжеволосая женщина с мраморно-белым цветом кожи – летит проведать мужа, подрабатывающего в Израиле программистом, а сейчас ей скучно и она без умолку болтает:

– Я была в музее Израиля. Такое обилие очень качественных древних изображений людей! Образы знакомые. Древние люди от нас ничем не отличаются. Те же типы лиц. Император Адриан – обычный мужик. Я таких часто видела в сёлах.

– Мир пронизывает всеобщая гармония, всё тут связано таинственными сочетаниями. А времени для Бога и вовсе не существует, как считается, – лениво парировал я.

– Это разумное, человеческое, связанное со свободным выбором. Только в этом контексте разговор имеет смысл. Я имею в виду, сложные, «таинственные» сочетания. Животные живут просто по инстинкту.

– Странное заблуждение. Сегодня известно, что, например, и среди муравьев есть тунеядцы. Насекомые тоже делают свой выбор. А если уж вспоминать римских императоров, Диоклетиан, кажется, был в детстве свинопасом. Тогда он приобрёл все необходимые навыки, позволившие ему успешно управлять империей. Разница между животными и людьми оказалась несущественной.

– Да, пожалуй, это так, – сказала женщина в задумчивости, но, выдержав небольшую паузу продолжила. – На этот раз я поезжу не только по Израилю. Мы с мужем собираемся в Египет. В Асуан.

– В Асуан? Место любопытное, но не самое популярное у туристов. Кроме того, там чудовищная жара даже для Египта. Почему туда?

– Так надо.

Я понял, что уточнять не следует и вспомнил текст, который мне дал Сергей. На мгновение мне почудилось, будто что-то из далёкого прошлого втягивает меня в непонятную мне череду событий. Пусть.

АЛЕКСАНДР ЩЕДРИНСКИЙ

ИНСТАЛЛЯТОР
рассказ

Все мы – лишь сон Брахмы…

1.

В комнату вошли двое, как можно было понять по голосам. Они не особо скрывали своё присутствие, потому что большинство из нас уже давно потеряло связь с тем миром, к которому принадлежали. Двое спокойно вошли, вкололи мне ампулу и вышли.

Им казалось, что пробуждения в таких обстоятельствах быть не может. Однако нас на самом деле было намного больше.

Чтобы полностью убить самосознание, нам регулярно вводили вирусы разнообразных мировоззрений. Самыми популярными были политические и религиозные. Люди целиком уходили в идеологию, обустроенную для них по всем канонам, и забывали, кто они, и начинали верить в реальность того, что им навязано, отказавшись от своей настоящей личности.

Но оставались те, кто сохранял себя, – такое, как мы поняли со временем, происходило, когда человека что-либо по-настоящему держало в реальном мире и было намного сильнее иллюзии.

Для меня это была Кэт.

Странно было подумать, что любовь к человеку, такое простое чувство, способно сохранить сознание, а возможно, и жизнь. Когда произошёл Захват, мы были разделены – её отправили на Голубую Ветвь, а меня – на Коричневую. Наши Номера существовали слишком далеко друг от друга, чтобы пересечься, потому что слишком далёкие путешественники по миру Инсталлятора сразу вызывали подозрения. Контролеры расценивали малейшую возможность проведения переворота, а потому пресекали на корню любую возможность групповщины. А та групповщина же, которая творилась в Инсталляторе, была им лишь на руку – ничего не подозревающие Номера выкрикивали политические лозунги, проводили религиозные столкновения, не понимая, что всё это – есть результат большой Игры, придуманной не ими.

Каждый день они находили для нас какие-то бестолковые занятия, чтобы создать некую искусственную событийность, чтобы люди, погружаясь в неё, полностью жили миром Инсталлятора. Одному, едва лишь он просыпался, доводилось отправляться на каменоломню, после чего выпивать с «друзьями» в баре и возвращаться домой спать. Второй работал в местной конторе по расследованию преступлений – филиале Трибунала. Третий же полностью уходил в эзотерические учения, проводя дни в медитации. Что общего между всеми этими людьми? Они были частью системы и не имели никакого отношения к реальности. Более того, если бы к ним пришли и захотели бы их освободить, то они готовы были сражаться за свою иллюзию.

2.

Я не хотел идти в центр LTD K, но Кэт очень просила: подруга прожужжала ей уши про эту недавно открывшуюся контору виртуальной реальности. Она постоянно ныла, что все знакомые уже давно там побывали и лишь мы, как тормоза, довольствуемся книгами и ноутбуком. На этот раз я сказал: «о'кей», хотя, если честно, совсем не любил все эти виртуальные миры – они казались мне слишком примитивными даже по сравнению с тем, что писал я сам, продавая издательству.

Мы пришли, и последнее, что я запомнил, – в глазах потемнело. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я на какой-то средневековой площади, где вовсю шла торговля. Я не мог понять, что со мной происходит – было, с одной стороны, ощущение какой-то двойственности реальности, а с другой, я чувствовал себя опьяневшим. Неожиданно я осознал, что весь мир передо мной существует лишь

перед *моими* глазами. Я попытался ощутить своё тело, и понял, что оно существует за пределами видимого мира. Я попытался пошевелиться и не смог, руки и ноги были связаны. В этот момент что-то тонкое и острое вошло мне в правое плечо, и по телу растеклось неестественное расслабление, которое ещё больше размыло чувство между картинкой и реальностью. После этого меня развязали, но у меня уже не было никаких сил сопротивляться.

Это был мой первый день в Инсталляторе.

3.

Единственное, что оставалось единицам тех, кто сохранил себя, – воображение, которое должно было оказываться сильнее иллюзии, которую нам транслировали. Как я сказал, для меня таким спасательным кругом была Кэт, для кого-то – занятие всей их жизни, для третьих, как ни странно, – любимое домашнее животное или походы в бар по пятницам. Но факт был един: каждого из нас, сохранивших своё сознание, что-то держало в реальности.

4.

Удивительно, но, несмотря на то, что ввод многих из нас в Инсталлятор был насильственным, почти все, попадая туда, быстро забывали об этом – потому что становились в нём теми, кем хотели быть всегда. Изменялась их внешность, способности – система всё это подстраивала под наши желания, чтобы как можно быстрее поработить сознание. Помню, практически сразу, как я оказался на Средневековой площади, ко мне начали подходить люди и толпами просить автографы. Я не понимал, в чём дело, а они показывали мне мою книгу – «Перегон» – написанную в реальности. Но если в реальности она пылилась на полках издательства, то здесь была самым настоящим бестселлером. Ну как не потерять голову?

5.

На самом деле Инсталлятор не был идеальной системой. То и дело в нём обнаруживались какие-то недостатки. Сложно сказать, кто первый стал замечать нефиксируемые Контролерами территории, слепые пятна, но на одной из них давно располагались мы – участники Сопротивления. Мы собирались там по ночам, когда оставалось семь часов до введения ампулы. Мы собирались и могли спокойно общаться друг с другом. Между собой мы называли эту территорию Лакуной. Пускай каждый раз, собираясь туда, мы испытывали страх, но мы знали, что это единственная наша возможность выбраться отсюда.

Нас было пятеро – Карл, бывший в жизни зубным дантистом, а теперь напичканный идеями политических восстаний в Сирии; Брэдли, восемнадцатилетний парень, который занимался скейтингом, а теперь его мир был полон фанатскими идеями Симпсонов; Лили, которую Инсталлятор разлучил с ребёнком, а теперь внедрял ей идеи феминизма; Гарри, инструктор по фитнесу, которому создали виртуальный спортзал с дальнейшими соревнованиями за звание главного бодибилдера, ну и я, бывший писатель и, собственно, нынешний подопытный под идеи Нобелевского комитета.

Сама суть того, чем нас пичкали, была не случайной, – Контролеры детально изучали наши жизни и пытались подсадить нас на иглу того, чего мы больше всего хотели. Проще, конечно, было управлять теми, кто и в реальной жизни был подвержен массовым влияниям – таким, как политика, религия, здоровое питание и прочее. Но чем более индивидуален был человек, тем более индивидуальную биографию ему придумывали в Инсталляторе.

5.

Итак, этой ночью мы в очередной раз собрались, чтобы обсудить, каким образом можно найти таких же, как мы, неуснувших. Это осложнялось тем, что большинство таких людей скрывались и не шли на контакт, поскольку было известно, что Контролеры под видом Номеров заходят в Инсталлятор и отлавливают их. Нам пока что удавалось удачно прятаться. Первым Лакуну нашёл Гарри. Он освободил Лили, Лили привела меня, я нашёл Карла, который, наконец, привёл Брэдли. Нас было пятеро. Это мало, поскольку каждый из нас находился в разных штатах, а потому говорить о каком-то единстве Восстания в реальном мире было невозможно. Я был уверен, что в разных участках Инсталлятора существует множество таких зон, однако нашлись бы те, которые также стали объединяться? Это было непонятно.

6.

Начинался очередной день Инсталлятора. Всех Номеров моей Ветви созывали на утренние сборы, где мы слушали голос Главного, звучавший из динамиков. Он говорил, что сила – в единстве. Что индивидуализм – рождение всех пороков, а потому мы должны помнить, что все мы – одно целое, работающее на благо Государства.

То, что происходило по утрам, в чём-то могло походить на какую-то всеобщую зарядку, а после – направление в столовую на завтрак. Если чем-то Инсталлятор внешне отличался от тюрьмы, то, пожалуй, лишь тем, что срок пребывания здесь был безграничен, и большинство и понятия не имело о какой-либо иной жизни – для них это было реальностью.

После завтрака все разбредались по своим делам. Самые обычные люди, которые не представляли опасности и в реальности, были отправлены на Каменоломню – такое же бессмысленное занятие, как и обычная работа в обыденной жизни. Такие люди были напрочь уснувшими. Они не задавали вопросов ни там, ни здесь, а просто тянули лямку.

Для тех, кто посложнее, выдумывали более изысканную биографию – и тем изысканнее, чем было более развито их сознание и чем сложнее давалось его запутать. Как я уже упоминал, лучшей ловушкой служило удовлетворение самых глубоких желаний. Со мной, повторюсь, это была судьба будущего Нобелевского лауреата, а потому я почти все дни проводил то в издательстве, то в эфирах на радио, то на автограф-сессиях. Цель была одна – чтобы, активно уходя в дела Инсталлятора, никто не вспомнил, что он только раб.

7.

Дни, в общем, тянулись достаточно равнодушно. Да, мы нашли Лакуну, мы регулярно собирались там, но по большому счёту это совершенно ничего не давало, кроме чувства единства. Что могли сделать пять чудаков против целой системы? Мы жили без какого-либо обозримого будущего, но всё равно никто из нас не терял надежды. Мы верили, что когда-то настанет день и – что-то изменится. Мы не знали, когда, мы не знали, что это будет, но мы верили, что это будет. Непременно.

8.

Я очень скучал по Кэт. Я вспоминал её каждый день. Я не знал, где она, куда её забросили, что с ней сделали. Я даже не знал, жива ли она. Но кто же мог подумать, что ответы на эти вопросы я узнаю так скоро…

9.

Голос Главного созывал всех на внеочередное собрание к Обелиску. На подиуме стоял его вечный Представитель в Инсталляторе, а рядом с ним… Чёрт побери, рядом с ним стояла Кэт. Я едва не ринулся в её сторону, но быстро вспомнил, где я нахожусь.

Главный продолжал:

– Сегодня мы представляем вам главного лидера Трибунала вашей ветви – Номер 323. Просьба склонить колено.

Все рухнули на одно колено, я повторил за ними.

– Ваш новый лидер зарекомендовал себя в другой Зоне, а потому будьте уверены, что преступность в ваших краях значительно пойдёт на убыль. Во имя государства!

– Во имя государства! – массово повторили Номера.

10.

С тех пор, как я её увидел, я всё время думал, как можно к ней подобраться. Здание Трибунала всегда зверски охранялось, пробраться туда было невозможно. Увозили и привозили её в дом и из дома на машине, а вокруг дома постоянно стояла охрана.

«Ох, Кэт, моя любимая Кэт».

11.

Когда мы собрались в Лакуне в очередной раз, я рассказал о Кэт, о том, кто она и что мы были парой.

– Да, Чак… Но неужели ты не знаешь, что сотрудником Трибунала просто так не становятся?.. А тем более зональным лидером… – сказал Брэдли…

Чёрт побери! Он сказал то, что я всё время пытался гнать от себя, как назойливую муху. Я пытался просто не думать об этом, не задавать себе вопросов. Знал ли я? Конечно, я знал! Я всё понимал, но… Всё равно для меня это была Кэт, та самая любимая Кэт, с которой мы вместе покупали щенка и которая по ночам забрасывала на меня левую ногу…

– Ты должен понимать, Чак…

Неожиданно голос Брэдли прорезал резкий сверлящий шум. Я с криком упал на землю, пытаясь заткнуть уши. Шум только усилился. Я увидел, что все мои друзья сделали то же самое. Мы корчились на земле, пытаясь противостоять ужасающему звуку. Неожиданно он прекратился, и у нас в ушах раздался голос:

– Все вы! Молчать и не двигаться! Если вы сделаете хоть одно движение, будете ликвидированы.

«Ну вот и всё. Контролеры. Они нашли нас».

12.

– Не двигайтесь и не делайте резких движений. Находитесь там, где находитесь. Не смейте покидать Лакуну или вас уничтожат. Меня зовут Пит, и я Контролер. Точнее… Бывший Контролер. Я знаю, кто вы и к чему готовитесь. Я знаю, чего вы хотите. Я хочу того же. Я пришёл, чтобы освободить вас.

Мы повставали с земли, оглядываясь друг на друга и не понимая, что происходит. Хотя на самом деле вопрос, верить этому голосу или нет, не стоял. У нас попросту не было выбора. Худшим, что могло быть в данной ситуации, – это то, что нас застигли Контролеры и скоро нас отправят на Гильотину. Так что если это случилось, то оно уже случилось. В то же время голос в наушниках говорил, что он пришёл нас освободить, а потому не было причины не использовать эту последнюю надежду на спасение.

13.

– Меня зовут Пит. Я бывший Контролер. В своё время я начинал вместе с ними, потому что изначально всё предполагалось совсем по-другому. Мы и Главный хотели создать идеальный мир, в котором каждый человек мог бы найти себе место и получить то, чего он не имел в реальной жизни. Мы хотели воплощать мечты. Инсталлятор должен был быть добровольной площадкой для отчаявшихся и утомлённых людей, где каждый находил бы себе пристанище и отдых. Но, как часто бывает, постепенное увеличение власти всё больше затуманивало им разум. Я был одним из главных разработчиков программного обеспечения системы, поэтому знал множественные системные ходы, проколы и в том числе Лакуны, одну из которых вы нашли. Когда я увидел, во что превращается первоначальное детище, я решил всё бросить и уйти. Но было поздно. Дороги назад не было – каждый, кто владел тайнами Инсталлятора, был навечно прикован к нему. Главный никого бы не отпустил. Поэтому мне попросту пришлось сбежать, заметая следы и скрываясь до сих пор. Чем я занимаюсь на данный момент? Вывожу таких, как вы, неуснувших, из системы и готовлю из них Кампанию Сопротивления. Возможно, нас не так много, как хотелось бы, но намного больше, чем вы могли бы подумать. Сейчас я здесь для того, чтобы вывести вас отсюда. Я долго думал, как это сделать. В принципе, почти каждый из вас имеет малую степень публичности, а потому исчезнуть из Инсталлятора до тех пор, пока вас не хватятся, не составит большой проблемы. Куда хуже дело у тебя, Чак, – да, он обратился ко мне. – Ты в Инсталляторе известный писатель, ты всегда на виду, тебя ежедневно преследуют интервью на радио и на ТВ. Твоё исчезновение приведёт к очень большому всплеску. Но мы что-нибудь придумаем. К завтрашнему дню, думаю, я сумею подобрать код к каждому из вас, чтобы вы покинули Инсталлятор. А пока что продолжайте жить так, будто ничего не было. Я свяжусь с вами завтра.

14.

Мы переглянулись друг с другом, не совсем понимая, что только что произошло, но, тем не менее, без лишних вопросов решили следовать советам. Мы чувствовали, что свобода уже совсем рядом, а потому не хотели ничем нарушить нашу мечту. Мы слишком много страдали и слишком много думали. Судя по всему, теперь наконец мы могли расслабиться и просто выполнять то, что нам скажет голос… Точнее, Пит. Мы оставались ждать завтрашнего дня.

15.

Мы осторожно вышли из Лакуны и хотели было уже направиться каждый в свою сторону, как вдруг услышали крик: «Вот они, это точно они!» – на нас показывал пальцем какой-то толстяк, а за его спиной стояли два Контролера.

– Чёрт!

Мы ринулись бежать. Я потерял из виду своих друзей и просто бежал в сторону, подальше от законников системы. Повернув за поворот, я с кем-то столкнулся и упал. Подняв глаза, увидел, что это один из них.

– Ну вот и всё, доброй ночи, – произнёс он и ударил меня шокером. Я почувствовал, как теряю сознание.

16.

Проснулся я уже прикованным к металлическому стулу. Вокруг меня располагались полукругом пустые стулья, никого не было, однако прямо передо мной возвышалось что-то вроде трибуны с микрофоном, которая, впрочем, также была пуста. Прошло ещё минут десять, как я понял, что это было каким-то импровизированным залом суда.

Потом неожиданно на трибуну взошла фигура, которую я вначале не смог разглядеть, но через время понял, что это Кэт.

– Кэт! – крикнул я. – Как я рад тебя видеть! Это я, Чак…

– Я – Номер 323. Другого имени у меня нет. В твоих же интересах, Номер 335, хранить молчание и просто выслушать, что тебя ожидает и за что ты здесь. У нас в Государстве царит полное доверие к справедливости и объективности сотрудников системы. Поэтому твоя судьба будет решаться здесь и сейчас.

– Какая справедливость?! Кэт, ты находишься в виртуальном движке, созданном захватчиками. Ты здесь одна. Оглянись. Здесь нет ни души!

– Повторяю – в Государстве царит полное доверие к справедливости и объективности сотрудников системы. Особенно сотрудников Трибунала. А значит, в большем количестве людей просто нет необходимости. Здесь Я есть закон. А потому готовься. Ты будешь осуждён за измену Государству.

17.

Меня вели на казнь. Народ шумел по всем сторонам, образуя около меня и палача сомкнувшийся круг. Несколько выше, напротив нас, стояла она, К… Точнее, Номер 323. У меня более не было сомнений, что система захватила её целиком. Это больше не была та самая моя любимая девочка, с которой мы могли колесить по Сан-Франциско и целыми ночами целоваться на пляже, когда океан плескался у наших ног. Нет, теперь всё было иначе.

Я чувствовал, что время подходило и что ноги мои подкашивались. Меня подвели к Гильотине, положили мою голову на перекладину. Зачем-то я пытался сопротивляться, но всё было бесполезно – мышцы, как в реальности, так и в Инсталляторе, не поддавались. Мне оставалось лишь безропотно принять свою участь.

Один, два, три… Я увидел, что в искусственном небе летали такие же искусственные голуби и искусственное солнце, казалось, светило ничем не хуже реального.

– Номер 335, – раздался уже знакомый и некогда родной мне голос. – Вы признаны виновным в измене Государству. Требую привести приговор в исполнение немедленно!

Как только она это сказала, слюна тяжело протолкнулась у меня в кадыке. Оставались секунды. Я понимал, что это конец.

Один, два, три…

Я услышал, что лезвие занесено надо мной. Ну вот, последние мгновения…

Я успел уловить свист над моей головой, когда гильотина… звонко рухнула.

18.

«Сделано!», – услышал я в наушниках голос Пита.

«Что? Где? Как?.. Я умер?» – проносилось у меня в голове. В голове, которой уже вовсе не должно было быть на моих плечах.

Но, чёрт возьми, я был жив! Я очнулся, меня откинуло назад. Я обхватил голову, начал искать её контуры – всё было в порядке. В итоге я нащупал на голове шлем, а потом попытался его снять.

«Кнопка справа. Чуть выше самой крупной», – снова продолжал Пит наставлять меня. Я нажал её, и шлем подался, я смог его снять. Глаза чертовски болели, но в комнате тем не менее было довольно

темно – единственный свет исходил от трёх больших экранов передо мной, которые, собственно, повторяли то, что я должен был видеть в шлеме.

Неожиданно я увидел, что мой Номер попросту пропал с площади. Внутри Инсталлятора люди суетились, а я понимал, что довольно скоро это заметят Контролеры и придут сюда за мной.

– Что мне делать? – спросил я Пита.

– Слушай внимательно. Пойдёшь так, как я тебе скажу. Подойди к двери, выжди десять секунд и введи код «2372». Она откроется. Слева ты увидишь охранника, он должен будет зайти за угол, после чего ты резко побежишь направо, потом на первом же повороте налево. Пошёл!

Я сделал всё, как мне было сказано. Когда я подбегал ко второму повороту, Пит сказал, что там будет чёрный ход, до которого рукой подать. Я повторил всё приказанное мне, оказавшись перед дверью, за которой – о Господи! – увидел чистое настоящее небо.

– Что дальше делать? – с трепетом в голосе и неверием спросил я.

– Открой её, – улыбаясь сказал Пит, – Да. Этот день настал. Ты свободен.

19.

Когда я вышел, то упал на колени и несколько минут вдыхал чистый воздух. Я не мог поверить, что снова вижу своими глазами тот мир, к которому привык. И несмотря на то, что всё скорее напоминало постапокалипсис, но всё же ветер, деревья, песок… Всё это было реально. Через несколько минут я нашёл кран с водой и пил так жадно, что мне даже стало стыдно за свои животные повадки.

Пройдя метров сорок от здания, от которого Пит сказал мне отдалиться, и спрятавшись за ближайшей дюной, я встретил там их! Но… четверых.

Я был счастлив, что мои друзья рядом, но не мог не спросить:

– Но… где же Брэдли?

– Нам очень жаль, Чак, – сказала Лили. Именно он должен был перерезать провод, благодаря которому ты смог выскочить из Инсталлятора… Они… Поймали его и… Прости, Чак.

– Чёрт побери! – рассвирепел я и ударил кулаком о землю. – Он же был ещё совсем ребёнком. Что, чёрт возьми, произошло? Как? Зачем? Вы спасли меня такой ценой. Какой в этом всём тогда смысл?

– Успокойся, Чак, – услышал я голос за своей спиной. Я и все мы удивлённо обернулись. – Ты жив, и ты должен поблагодарить за это в том числе Брэдли. Теперь ты вынужден дойти до конца. Это будет твоя лучшая дань его памяти.

Незнакомец замолчал, а потом сказал:

– Я – Пит. Приятно познакомиться. Я знаю, как долго вы ждали этого дня. Думаю, я обрадую вас, если скажу, что в Инсталляторе существуют десятки Лакун. Нас впереди ждёт большое Дело. Я не знаю, сколько нас будет, и не знаю, превзойдём ли мы числом Захватчиков. Я только знаю то, что я готов сражаться до последнего. Все согласны?

Мы скрестили руки.

20.

Мы шли около суток на север, пока не вышли на дорогу. Именно тогда мы поклялись не прекращать восстания. Мы поклялись найти тех, кто находился в других зонах и начать полноценное Сопротивление.

21.

В это время над Государством всходило новое солнце. Толпы Номеров опять бесцельно шли к Обелиску, а мы впервые за последнее время дышали свежим воздухом и смеялись рядом с настоящими живыми людьми, от которых исходило тепло и внутри которых текла кровь по жилам.

Мы совершенно не знали, что будет завтра и вообще настанет ли это завтра для нас. Но настоящее солнце светило над нами, а под ногами развевались настоящие колосья. Во всяком случае, уже одно это внушало надежду. Надежду, которую ничто не могло погубить – ни здесь, ни внутри Инсталлятора. Мы не знали, что будет дальше. Мы не знали, сможем ли противостоять. Мы не знали, сколько их. Но пока мы свободны, наши сердца продолжают биться за каждого из тех, кто ждал нас и чувствовал, что мы идём. Последняя надежда. Пятёрка безумцев, противостоящая целому огромному миру.

«Жребий брошен», – сказал Пит, и мы продолжили наше движение.

ДМИТРИЙ БУРАГО

ИЗ ХРУСТАЛЬНОГО НЕБА В ЛАДОНЯХ

СКАЗОЧНОСТЬ

Евгении Миро

У лошадки на полозьях лунная пыльца,
бирюзовые колосья в дверцах у ларца.
Улыбается Жар-птица в палевую даль,
по растрёпанным страницам катится хрусталь.
Дом в ореховом наряде, зоркий петушок
окликает счастья ради запад и восток.
Ставни – пёстрые ладошки. Сердце сердцу пой!
В небе радужные ложки пляшут над рекой.
Расцветают сны кувшинок в кружках серебра,
облака – творог с малиной. Тропку со двора
водит поле в босоногом шелесте травы,
чудится заветный локон в дрожи тетивы.
Мишка в праздничном кафтане, щука на цепи,
карусель на барабане солнышко слепит.
Книга в ситце, буквы вьются, свет на волоске,
месяц крошится на блюдце в сахарном песке.
Время прячется за стрелки, прялка – за судьбу,
ходят девки на гляделки в бабкину избу.
В тёплом свете зоркой свечки шёпот и смешки,
словно щурятся из речи взбитые вершки,
словно нет другого клада, только весть,
что лучится из оклада: выход есть.
Смотрит небо из окошка голубой слезой –
всё на свете понарошку,
Бог с тобой.

ПЯТИСТИШИЯ

1. Ода ослу

По каменистой тропке змеится время до кельи,
колет в бока, выгорает в цветастом хлопке,
срывается из-под копыт в трели
костлявых уступов, летящих за край от края,
до последнего отзвука само на себя насупясь.

Незатейливый быт перетянут в тяжёлых вьюках.
Удлиняется тень к перевалу, от деда к внуку.
Под чарующим омутом, морду задрав, бывало –
из сиреневых устриц жемчужинка выплывала.
Хомуты и хлопоты – радость грусти.

На студёном рассвете сходят обид луны.
Позади терпение – бич свободы.
Все наветы втуне, мудрят приметы.
Он же движет в гору тугие годы
в исступлении – к собственной бездне ближе.

Ни монах, ни погонщик, похлопывая по загривку,
утешают солёную боль и нежность,
а колючие травы под золотой оливкой,
окаймляют юдоль ручейком тощим.
И стоит он во славе, выпуская пар из ноздрей потешно.

2. Деревушка

В глубине деревушки, затёртой в мечтах и разлуках,
где злословия похоть смиряется ранним трудом,
где наивная зависть чудит, замирая от каждого звука,
и коровушки по лугу тянутся млечным путём,
горевать хорошо, да отчаянье сносится плохо.

По растерянной памяти мечется голая мысль –
то взлетает стремглав, то таращится, тащится волоком,
подойдёт к рубежу, воздевая признание ввысь,
и гудит, как оса, как ударенный палицей колокол:
прав – не прав, осажу-накажу.

Деревушка всегда просыпается затемно, копошится в сенях.
Тень, как ссадина – это овинник крадётся.
Бормотанье ночное прищурится – тут и взовьётся
острокрылое солнце на рыжих своих куполах:
расклюют изумрудные курицы страха червлёные зёрна.

А в предгорье краса – в березняк пробирается золото,
на ресницах травы чуть замешкались бусинки сна,
на подворье возня, раззадоренный лай, колкий хохот,
заплетается смысл в голосах, это время рассеяно, смолото –
страсть, как солнце жестоко, как ласков сухой ковыль.

Только б кряжистый живности пастбища застили дол…
Только б кров был обилен и тучными полон годами…
Деревушка гадает на гуще от собственных зол:
и не верится даже, что жили-были.
За косматой церквушкой трава в человеческий рост
стережёт от чужого глаза её могилы.

На чернильных полях проступает зелёная вязь,
за погостом дымит сухотравье, топорщатся клёны.
У бесправья нет времени ждать, только дышат иконы
над зелёной лампадкой, где слёзы горят на губах,
там в беспамятстве лаз, там, как в детстве, – обидно и сладко.

3.

Белокурые яблони пчёл увлекают собой,
кто их счёл – обознался дорогой.
За скалой в перламутровых мхах
Тень, как лань длинноногa,
И страх неуклюж, как хмельной великан.

Это тучи ворчат! Это солнце в сердцах скоморошит!
Оправданий рутинная чушь ожиданья пьяней.
Это время цветёт, провожая цветы из окошек
голубыми глазами волчат из рассохшихся дней.
Треск и всхлип причитаний – безумья торжественный свод.

ИСТОК

1. Ключ

Лошадиным зрачком,
чёрным плеском
метит звуки,
моргает смычком,
и лаская,
лаская клинком,
ворожит зорким блеском студёным
до колючего света,
до спазма глотка,
где скользит отражение
в глубь ободка
из хрустального неба в ладонях.

2. Ручеёк

То с листовою играет в кустах-закутках,
шебуршит чешуёй – пёстрой галькой,
то медянкой под склон, то зависнет в тисках
мхом окутанных пальцев
у бесстрастных небесных скитальцев.
И чем ниже, тем вязче земельная плоть,
гуще сумрак, течение тише.
На рассвете деревня поёт-предстаёт
в спелом запахе вишен,
и ещё далеко до широкой судьбы,
до песчаных гнездовий,
где пернатое небо теряет следы
у луны в изголовье.

3. Низовье

У подножья степи заплетает узлы на подворье осоки,
но проворные травы – его должники, так беспечно высоки,
что теряя сомненья уют,
на лету,
сгоряча
превращается в реку, во рту валунами вороча, ворча.

СТАРЕЦ

От заплечного поезда страсть – молодая рука.
В топке полымя лет, в горе – корысть любви.
Небо смотрит в глаза, словно просит глоток молока,
словно будущий взгляд лучезарною тьмою обвит.

Будет скрип половиц об упрятанном свете икон,
будет грузная даль в комьях глины на сапогах,
и отрезки судьбы между ропотом похорон –
лоскутки и надежды в растрёпанных узелках.

Будут люди идти, пробиваясь сквозь немоготу,
задушевную боль разделить и утешить,
чтобы крест был венчальным, чтоб духу на доброту
доставало, когда от отчаянья бесятся вещи,

и кончается мир в топях горечи искренних слов,
чтобы хворь отошла и свои не мостила ловушки,
чтобы выход найти из дурных лабиринтов долгов…
Что ты можешь один посреди суетливой избушки?

Так что пой, пой о том, что на сердце легло,
что свершается там, где глубокая кроется радость,
где распахнута старость, и время в душе запеклось
восковыми мазками под страстною тенью оклада.

НИНА САВУШКИНА

Я ПОМНЮ ОТСТУПЛЕНИЕ ЗИМЫ

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Видим всполохи молнии издалека,
слышим треск тростника, как внезапный намёк на
то, что чёрною коброй взовьётся река
и проглотит наш домик по самые окна.

Для чего оказались мы здесь взаперти,
словно рыбы в сети, где, почти задыхаясь,
онемев, не успеем промолвить: «Прости!»
перед тем, как нахлынет бессмысленный хаос?

Мы привыкли качаться на общей волне
и подхватывать реплики на полуслове,
не успев уловить: я – в тебе, ты – во мне
бормотание тайное родственной крови.

Вдруг неведомый рок, что испытывал впрок
и до срока берёг от вины и соблазна,
не случайно привёл нас на этот порог,
на соседство обрёк неспроста, не напрасно.

Верю – молнии нам прочертили маршрут,
знаю – ветры случайные соединили.
Скоро кончится воздух, который сожрут
плотоядные пасти обугленных лилий.

Дождь впечатает капли, как буквы в стихи.
Но кому их читать, если небо ослепло?
Ветер бросит в глаза жёлтый пепел ольхи.
Мы друг друга не видим уже из-за пепла.

ЭВРИДИКА

Когда тишина тебе надоест,
нагрянет лабух издалека
в рубашке апаш. Золотится крест
над могильной ямой пупка.

Скажет с порога: «Привет, Эвридика!
Долго тебя искал».
Пальцами щёлкнет: «За мной иди-ка
в край, где царит вокал.

Хочешь, чтоб нас с богами сравняли
в текстах античной хроники?».
Грузно садится к роялю. С рояля,
как зубы, сыплются слоники.

Думаешь – как гениально, тонко.
Вот – новый Бог, или Бах!
Следом готова, как собачонка,
ноты носить в зубах

в кабаках, где он поёт, неопрятен
что-то БГ или Цоево,
где самое масляное из пятен –
это лицо его.

Оборотись, Эвридика, помешкай.
Там – капкан для тех, кто влюблён.
В уши хозяин плеснёт с усмешкой
мутный шансон-бульон.

Следом припустишь на ножках слабых.
Забыв, что Орфеем звала
Стонешь вслед ему: «Лабух, лабух!».
Эхо вторит: «Бухла!».

КАРАОКЕ

Вот подошла к финалу отвязная вечеринка,
где караоке звучало, где навалом жратвы и дринка.
Кто-то громко под стул упал,
кто-то тихо домой ушёл.
Как вдруг караоке сказало,
что я пою хорошо.

В этом доме вообще толерантное караоке.
Так выпьем за культ вещей, ибо люди жестоки.
Кто-то наморщил нос,
кто-то скривил губу,
а один вообще произнёс,
что слышал нас всех в гробу.

Расползлись по квартирам, твари! Я
в тишине пою в караоке.
Хороша, мол, страна Болгария,
где все девушки кареоки.
По дорогам пыльным солдат
тащит свой вещмешок,
а с экрана вновь говорят,
что я пою хорошо.

Это вам не школа, где песню «Взвейтесь кострами»
доводилось мне голосить под портретом в раме.
Выступление хора было обречено,
и вожатый сказал, что я подвела звено.
Меломан недалёкий
решил – я пела назло.
А было бы караоке,
оно бы меня спасло.

Не было караоке, но звуки были повсюду.
Ты поставил пластинку: «Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу…» (Ага, размечтался!)
Ты сжимал меня, как пассатижи,
кружил меня в ритме вальса.
Страсть меж нами искрила,
как искусственный шёлк,
но подсознанье не говорило,
что это нехорошо.

Я забыла тебя, а вот музыку или строки
Никогда не забуду, покуда звучит караоке.
Как, уже не звучит? Как раз посреди романса
«Колокольчик» экран погас, агрегат сломался.
«Динь-динь-динь, динь-динь-динь» –
дребезжит моё меццо-сопрано,
Разбиваясь о мёртвую стынь экрана.
Видимо, накипело…
Взорвался электрощит.
Я пою а-капела. Караоке молчит.

ШУРОЧКА ЦАХЕС

Шурочка Цахес ночью выходит в сад.
Возле канавы в сумерках голосят
жабы – да так утробно и похотливо.
Даму тоска начинает под грудь колоть.
В кресло она погружается так, что плоть
чавкает, словно волны в момент отлива.

Ноги её натруженные гудят.
Перед глазами стелется райский сад.
Долго она брела к своему Эдему.
«Пусть сорняком взошла я в этом саду,
но в перегной до срока я не уйду», –
думает, и вплетает лавр в диадему…

В дачном алькове спит неофит, мордаст.
Завтра его издаст, а чуть позже сдаст
в макулатуру – пусть шелестит в утиле.
Сколько поэтов через неё прошли
и проросли, как зёрна из-под земли
в вечность, а ей ни строчки не посвятили.

Всякий поэт, желая узнать секрет,
едет с визитом, сплетнями подогрет,
кланяется, как Германн перед графиней.
Предан ей, словно Брут, словно «брют» игрист.
Очередной словесный эквилибрист
ручку целует – хладную, точно иней.

Лопнули звёзды – водные пузырьки.
Шурочка дремлет… Мысли её горьки –
кто она в мироздании – уж не жаба ль?
Чтоб не тонуть в забвении, в злой ночи,
тапками энергично она сучит
и воспаряет плавно, как дирижабль.

***

Я помню отступление зимы,
когда внезапно город обезлюдел.
Должно быть сверху выглядели мы
подобно крошкам на огромном блюде

летящим через площадь и вокруг
неё, спеша к вокзалу в ритме вальса.
И я спешила, – ждал последний друг,
который от меня не отказался,

в то время, как иные, в бункерах
спасаясь от чумной фантомной моли,
так опасались обратиться в прах,
что обрывали связи поневоле.

Твой пригород был снегом занесён
в отличие от города, по бровки.
Там памятник, похожий на сифон
стыл в инее колючей газировки.

В каналах ленты разноцветных вод
таинственною вязью заплетались.
Лишь башня у вокзала в небосвод
вонзала гневно свой кирпичный палец,

Пророчествуя: «Все обречены!
Возрадуйтесь последнему мгновенью!».
Но только флигель цвета ветчины
меня манил под липовою сенью.

В твоей норе мы – мухи в янтаре,
украденном у прошлых поколений.
Бессмертны, как на плюшевом ковре
пришпиленные к вечности олени.

Когда я там спала, то зеркала
мерцали, словно витражи вокзала.
Мне снилась мама, и она звала
на станцию, где время ускользало.

Послушно я зашла за ней в вагон,
и электричка, вздрогнув, покатила.
Испепеляло нас со всех сторон
неугасимо-грозное светило.

Я соскочила с поезда, пока
не собираясь доезжать до рая,
и сделалась легка, как облака,
что плыли, перспективу растворяя,

и падали в Обводный в виде льдин,
дрейфуя дальше, не меняя галса…
Я возвращалась. Ждал меня один
забытый друг и, кажется, дождался.

ДРУЗЬЯМ

Пускай не наяву – в фантазии уйду за
реальности забор сквозь временной разлом –
в тот деревянный дом, где абажур-медуза
невозмутимо плыл над праздничным столом.

Я помню, в унисон позвякивали вилки,
зубцы вонзая в плоть румяной ветчины…
По милости чумы – всеядной некрофилки –
от дружеских пиров мы вмиг отлучены.

Там пенные валы взбесившейся сирени
готовы затопить погасшее окно.
Я выйду на балкон, что ощутить паренье.
Пускай в груди свербит тоски осколок, но

«Скажите, почему нас с вами разлучили?», –
вполголоса спою при виде этих мест,
где вдалеке закат горит, как соус «чили»,
намазанный на пляж, но мгла его доест.

А я останусь здесь, руины обустроив,
подброшу в печь газет, чтоб угол был согрет,
воображу среди рассохшихся обоев
наш групповой, никем не созданный портрет.

Я буду ждать, пока придёт зима, сшивая
холмы и берега иглою ледяной,
и между нами нить протянется живая,
не давшая упасть до срока в перегной.

Заштопает тепло провалы тёмных комнат,
пыль сморщится в углу, как бабочка, дрожа.
Но вы там далеко, что вряд ли кто напомнит,
что в этом доме нет второго этажа.

ЭЛЬДАР АХАДОВ

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ СОСНЫ

ПЕЩЕРА

Покажи мне пещеру, в которой прячутся облака.
Пещеру, к которой стремятся
причудливые стайки разметавшихся глаз,
настойчиво следующих за
солёными пенными губами прибоя…
Покажи мне пещеру свою.
Нет золота в ней и алмазов нет,
но тысячи огненных джиннов
стерегут
её дремлющую древнюю дымную бездну,
в которой каждому чудится
только его исчезающая тень
только его исчезающий голос,
только его дыхание…

***

В час, когда из мёрзлой тишины
Возникают промельки рябые:
Добрые, недобрые, любые –
Перед первым снегом все равны.

Вот бредёт старушка вдоль стены,
Вот, беспечный хвост рулит собакой
И ликует от снежинки всякой:
Перед первым снегом все равны.

Все равны… Наивны и смешны
Сгинувшие за ночь опасенья…
Вот и наступило Воскресенье:
Перед первым снегом все равны.

Всё не в счёт: ни славы, ни вины,
Ни следов под снегопадом мерным,
И ничей полёт ещё не прерван…
Перед первым снегом все равны.

***

Мне нравится то, что мы все с вами разные,
Что вы со мной часто ни в чём не согласные,
И что, ни на чьи не взирая веления,
На всё у вас есть своё личное мнение.
Мне то несогласие кажется знаковым:
Весь мир оно делает неодинаковым,
Живым, настоящим, ни с чем не рифмованным,
Невыдуманным, озорным, очарованным,
Единственным, в меру того одиночества,
Где каждый живёт, как ему того хочется.

МУЗЕ

Не поперечно, не продольно,
Не абы как, ни что попало:
С тобой то радостно, то больно,
Всего с лихвой и вечно мало…
С тобою то светло, то грустно,
А жизнь опять таит интригу.
Я помню всю тебя изустно,
Как ненаписанную книгу,
И нам пора на все четыре,
Пересекая снег и слякоть…
Покуда есть в подлунном мире,
О ком заботиться и плакать.

***

Когда она заглядывает в душу,
Чтобы её забрать и унести,
Я не кричу, не плачу и не трушу,
А всё пытаюсь что-нибудь спасти
Из прошлого, из юности, из детства,
Из голосов далёких и родных,
Они – моё проверенное средство
Продления коротких дней земных.
Она стоит во мраке тёмных комнат
И молча ждёт, уже в который раз.
Но чувствуя, что здесь их кто-то помнит,
Ушедшие сражаются за нас.
У них и нас на всех одна молитва,
Как Родина и небо за спиной…
И это – не проигранная битва,
Покуда всё минувшее – со мной.

АСТАФЬЕВ

Его похоронят в Овсянке,
В лесу, над сибирской рекой,
Где камни на каждой полянке
И всюду небесный покой,

Где звонкие птицы в июле,
Где иней в седом январе,
И сосны стоят в карауле,
И ветер поёт на горе –
Весёлый в осенней короне,
Весенний в кипучей листве…
В Овсянке его похоронят,
Помянут в Перми и в Москве.

***

Там, откуда глядел я на вечный простор,
Простирается ныне широкий забор.
С каждым днём он всё шире и выше.
И за ним, сколько взглядом его ни сверлю,
Как ни пробую вытянуть шею свою:
Ничего я, ребята, не вижу.

Говорят, там иное теперь естество,
И от жизни не ждут непонятно чего,
А любуются вечным простором
И желают здоровья друг другу с утра,
И полна их мошна, и черна их икра…
Где-то рядом совсем. За забором.

БАКИНСКИЕ СОСНЫ

Головокружительные сосны
Проплывают в небе надо мной:
Всё, что было или будет после,
Их, как дождь, обходит стороной…
Кем себя любой из нас ни числи:
Мы – лишь пыль, послушная ветрам.
И текут извилистые мысли,
Как живые тени по ветвям…
Где в тумане с моря дышит осень,
И с волной рифмуется волна,
Спят ошеломительные сосны
И сияет спелая луна.

АМОН И ХАТШЕПСУТ

Амон познавал Хатшепсут в темноте,
Скользя по ложбинкам в её наготе.
Незримый, шептал он, всем телом дрожа:
«Я раб этой ночью, а ты – госпожа.
Что хочешь проси, госпожа, у меня:
Исполню с началом грядущего дня!»
Глаза Хатшепсут глубоки словно мёд,
В них тайна познания мира живёт,
В любви пребывает её естество,
Не просит у бога она ничего…
И бог растворился. Забрезжил рассвет.
Ей было не больше пятнадцати лет…

Но верен обету владыка Амон:
Правитель Египта, его фараон –
Отныне – его молодая жена.
О, ночи великой хмельная цена!

***

Мы больше не увидимся с тобой
Ни на краю лагуны голубой,
Ни под крылом ночного небосвода,
Ни ясным днём среди толпы народа.
Ни в соцсетях, ни в жизни, ни во сне
Ты больше ни о чём не скажешь мне…
Лишь памяти невидимое око
Сквозит, как ветер с северо-востока.

МУЭДЗИН

Знойный день – вторая половина.
Дремлет крыш сушёная глазурь.
Вездесущий голос муэдзина
Медленно впивается в лазурь.
Спит за моря дымкою белесой
Древних гор задумчивая пядь.
А над ней, туманной и безлесой,
То, что нам вовеки не объять…

АЗАН

Спит земля во тьме глубокой ночи.
Вечность и безмолвие вокруг.
Словно свет сквозь сомкнутые очи,
В небо проникает первый звук.
И оно, как дрогнувшее веко,
Стряхивает звёздную пыльцу…
Одинокий голос человека
Вьётся и возносится к Творцу.

***

Его не видно и не слышно,
Он в паузах и между строк:
Юпитер, Яхве, Будда, Кришна,
Аллах, Элоим… просто Бог.

Пока не верящие чуду
Опять – в сомненьях и нытье,
Он непрерывно и повсюду
Осуществляет бытие.

Но если верить неприлично,
Он промолчит, само собой…
Незримый, словно электричка
За каждой встречей и судьбой.

СЛОВО КОЛОКОЛЬНОЕ

Разбежался ветер залётный, ураганный
и ударил по колоколу изо всей силищи.
Ударил прямо по пустой колокольной голове.
Загудел колокол от боли, уронил язык в землю.
Присох язык колокольный к земле.
Одичал. Никого не узнаёт.
Вертится на языке слово,
а какое оно – само не знает.
Сдул его ветер, унёс в море.
Зашептались волны морские,
назвали слово колокольное.
Воссияло оно из вод,
полетело в обратную сторону,
стрижёт крыльями воздух,
полыхает на ветру, аки знамя небесное.
Влетело в ухо колоколу,
затрепыхалось в нём.
Истаяло без языка.
И утекло в землю.
Глубоко. Темно. Тесно.
Просочилось слово в самую глубь.
Стало там твёрже твёрдого,
острее острого, горячее горячего
и вверх заструилось.
Пронзило оно колокольную голову изнутри.
Дрогнули горы. Развалились.
Выпал из них язык колокольный,
обжёгся словом и ударил в колокол.
Заговорил колокол, запел словом небесным.
Разнеслось оно высоко-высоко по всему белому свету.
И настал праздник!

ТАТЬЯНА НЕКРАСОВА

СУДЬБА ВСЕГО ЦАРАПИНА

НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ

кажется, я застряла, снова застряла тут –
дело нескольких жизней (суток, часов, минут) –
тело не успевает – а никого не ждут –
снова застряла
кнут кнут кнут
(когда же бывает пряник?!)
и снова кнут

вот же стерпелось, слюбилось,
можно считать, сбылось:
вера моя и сила – в чём-то всего лишь злость
(спортивная, не абы как выпендрёж –
входишь красиво, уходишь красиво –
может, и был хорош?) –

может, и не застряла?
может, она ко всем
ласкова, avenue des Champs-Élysées..?
и тихонько мурлыкает Joe Dassin:
Aux Champs-Élysées…

ОПРЕДЕЛЁННОЕ

глаза закрыла – и тебя не стало,
а всё вокруг замедлилось, застыло –
и разглядела солнце, как впервые.
прости мне, солнце, я теперь из стали,
лечу, вливаюсь в собственный затылок,
а всё живая, и вокруг живые,

но сердце, хоть убей, уже не бьётся,
а тикает –
и что мне остаётся? –
и тикает
а все вокруг уснули
и вижу сон – а что мне остаётся

вот пасечник окуривает улей
(глаза закрыла – и тебя не стало)
вот пчёлы, одурманены, уснули,
и почему-то очень важно было
не упуская ни одной детали
быть пулей – и спасением от пули –

(глаза закрыла – а тебя не стало,
глаза открыла – так и не вернули)
всего пчелой в пыльце и звёздной пыли
пчелой весенней и водою талой

СТОРОЖЕВОЕ

ни сна, ни покоя,
спать хочется так, что в глазах двоятся
закроешь – овцы, откроешь – агнцы
несчётно, несметно – боже, да что ж такое,
нужного не узнать, разве что обознаться

день – или час – или сию минуту
жизнь происходит –
то есть пока мы живы,
кто-то зачем-то нужен ещё кому-то –
много людей, много смешных ошибок

хочется просто спать –
не выспаться даже, а лишь проснуться
утром от яркого солнца,
потянуться, как ни в чём не бывало

чтоб ни овец, ни пастырей –
только облака хвостик куцый,
солнечные червонцы,
сонное покрывало

НЕРАЗДЕЛЁННОЕ

…и сердце повернулось как зверёк
во сне во тьме но так и не проснулось
хотя теперь не вдоль а поперёк
во сне во тьме чужих знакомых улиц

и всё равно куда когда зачем
во сне во тьме а наяву едва ли
за что тебе на что тебе вообще
во сне во тьме такого надавали

и шарик и флажок и божий свет
во сне во тьме всё ярче всё свободно
и сердце просыпается в листве
и в зайцах солнечных щекотных

ПЕРЕПАДЫ

я ухожу в свой синий, как ты в безразличный серый
«вспомни», «вообрази» – жалкие консервы:
вскроешь – и сыт на время, и пьян, но вокруг всё стрельбы:
эдакий вдруг-транзит, тянется век – скорей бы,

тянется жизнь – узнать бы, а нет – и чёрт бы,
это у сказок свадьбы, а в жизни чёрствой
стаптываешь железные сапоги, гложешь хлеб железный –
попадаешь в силки некоей вечной песни:

ой да гой еси – ой отмучалси
гуси-лебеди пролетят – и швах
умер – воскреси ой да гой еси
слава небеси
ах!

АПРЕЛЬСКОЕ

на весёлую улицу выйти
и смотреть сквозь высокий забор
как обшаривает белый китель
абрикоса карманник и вор

как звенящую птицу-синицу
достаёт и подносит к лицу
разглядеть разгадать восхититься
и вернуть на лету на весу

как брегет музыкальный с портретом
как лимонку уже без чеки
ветер свистнет
рассыплется цветом
белый китель
и пёрышко следом

век стоять и смотреть бы на это
нет же вечно беги да беги

ЛЕГЕНДА ТРОЛЛЕЙ

я хочу рассказать,
как меж света и тьмы,
неожиданно,
нежные,
встретились мы:
свет и тьма подались
будто, в стороны – и
сбли-зи-лись –
и слились,
долгожданные,
мы

но не хватит ума (или чувства?)
одной
разглядеть этот путь,
посейчас ледяной,
чтобы снова
сви-де-тель-ство-вать,
что всегда,
ты и был – моя твердь,
я была – ах, вода! –

ах, вода, невода, не победа – беда,
что ни рыба – ведёт в никуда, в никуда,
что ни парус, то алый, русалочья блажь:
так надеялась –
сбыться
мне,
нежити,
дашь

ПОЗДНЕЕ

к острову яблок пристала моя ладья,
яблони выступают из забытья
в ореоле света, цвета – со свитой пчёл:
вечное «скоро лето», пасмурно, ветрено, горячо!

холодно-горячо:
ветер дует, море внизу шумит,
собака во сне бежит, улыбается иногда.
что я здесь делаю? сно-видение, вид
золотой рыбки, трижды попавшейся в невода:

собака во сне бежит и бежит ко мне,
яблони светятся, воинство пчёл гудит;
ты вышел навстречу, но не спешишь и не
осознаёшь, что проросло в груди:

яблоня, яблочко, хвостик с огрызком и
семечко – симиренко, рихард, ранет, дичок?
облака проплывают медленно, низко и
холодно как же холодно
о, солнышко
на солнышке горячо

собака у ног снова бежит – куда?
от себя можно ли убежать
вышел встречать – сердце, держи удар –
мну мной мне
не вспомнить нужного падежа

ЛИЧНО В РУКИ

скажи, а сквозь волшебное стекло
всё так же время медленно текло:
не детство, и не юность, и не зрелость,
но что-то столь же важное и столь
же без-раз-лич-ное –
что вдоль,
что поперёк? –
не ум, не честь, не смелость –

такое, что и вброд не перейти,
а только переплыть, перелететь бы,
как ангельские тайные пути
сквозь адские внеплановые стрельбы:

не в лоб, так по лбу,
и не в бровь, так в глаз
(стрелки матёры и поднаторели
(свинья не съест – так бог и не предаст)
садить точь в точь
в копейку
мимо цели)

как в белый свет
и ты в его тени
по-прежнему так уязвим, так стоек,
солдатик оловянный
не тяни
яви себя
ведь ничего не стоит

да, кроме трусости
как за пустышку ты
так держишься её, что и пускай бы –
судьба, распущена на лоскуты,
всего царапина
и заживёт до свадьбы

ВНЕВРЕМЕННОЕ

полуденная лодка уплыла,
неразличима в мареве бессонном –
один из многих невесомых снов.
и тут прибой – а там ровней стола
до поплавка звезды у горизонта
(ещё звезда оборванной блесной).

а дальше вспоминай – не вспоминай,
всё только недалёкое и только
покачиванье мерное во сне.
вот за пределом будничного сна
и встретимся когда-нибудь надолго
в субботней и воскресной белизне.

***

Много в жизни смешных потерь…
С. Есенин

ничего
тайного или запретного
секретного
тебе не хочу сказать
вообще разговаривать не хочу
соответствовать и касаться
нет нет нет
ни в коем случае
просто подую в ухо
летний зефир
бабочка на щеке
на кончике носа

ДМИТРИЙ ВОРОНИН

ОДИНОКАЯ ПАРТА
рассказы

СКАЗОЧНЫЙ ЧАЙ

Пассажир в пенсне поднялся вслед за носильщиком в вагон поезда, прошёл в купе, достал портмоне и расплатился.

– Благодарствую, барин, – поклонился носильщик и закрыл дверь.

Барин вынул из саквояжа стопку писчей бумаги, дорожную чернильницу и две ручки. Разложил на столе и задумался.

Через десять минут поезд тронулся.

– Сутки ехать, – предупредил проводник, проверяя билет. – Что изволите, ваше благородие?

– Чаю, – отвлёкся от мыслей пассажир. – Сделаешь, голубчик?

– Сей момент. Сахарку сколько?

– Три куска. Люблю сладкий, очень на мозг благостно действует.

– Ваша правда.

За окном мелькали телеграфные столбы, проплывали деревеньки и станции. По стеклу стекали капли дождя. Поезд «Екатеринбург – Тюмень» плотно вошёл в майскую грозовую ночь.

Господин сосредоточенно что-то писал, зачёркивал, вписывал другие слова. Читал. Морщился. Чёркал.

– Голубчик, а чай-то где? – недовольно обратился он к проводнику, заглянувшему в купе.

– А, сей момент, – спохватился тот, – не извольте беспокоиться!

Пассажир вновь погрузился в работу.

За окном забрезжил рассвет, когда господин в пенсне отложил в сторону ручку, растерянно посмотрел на стопку исписанных листов, поискал что-то важное глазами, и грозно открыл дверь купе:

– Голубчик, чай-то где?!

– А, сейчас будет…

За полчаса до конечной станции проводник зашёл за стаканом.

– Отменный у тебя чай оказался, сказочный, – хмуро поблагодарил его господин в пенсне. – Я, спасибо ему, интересный рассказ успел написать.

– Ого! Рассказ! – удивился проводник. – Извиняюсь, ваше благородие, а о чём он?

– О железной дороге, – ехидно усмехнулся пассажир.

– Про нас, значит, – довольно кивнул проводник. – А как название его, если не секрет? Даст Бог, почитаю.

– «Злоумышленник»…

МУЖИК

Обстоятельства забросили Виталия Андреевича Плотникова в дальнюю карельскую деревушку, спрятанную в глухих лесах от всевидящего ока цивилизации. Виталий Андреевич собрался писать новый роман, и выбрал это место в силу его оторванности от всяческой мирской суеты. Но и оказавшись среди тишины и покоя, Плотников никак не мог сложить сюжет. Прошло три дня, была исчеркана не одна страница, а роман не трогался с места.

Написав за весь день несколько предложений, Виталий Андреевич матерно выругался и вышел на крыльцо. Вечерело. На деревню опускались осенние сумерки, укрывая её предзимней прохладой. Выкурив сигарету, Плотников медленно побрёл в сторону единственного магазина. Следовало прикупить кофе, который в какой-то мере теребил мысли писателя и не давал окончательно погрузиться в апатию.

Дорога была безлюдна и спокойна. Виталий Андреевич в глубокой задумчивости пинал перед собой маленький камешек, не обращая внимания на то, что его окружало.

Метров через триста навстречу прозаику из проулка неожиданно вывернул местный житель в рыбацких сапогах и камуфляже. Мужика шатало так, что порой он занимал всю ширину улицы. Столкновение казалось неизбежным, но в последний момент рыбачок смог притормозить и на секунду остановился рядом с Виталием Андреевичем, сфокусировав на нём свой тяжёлый взгляд. Плотников тоже исподлобья посмотрел на пьяного. Через мгновение они разошлись в разные стороны.

– Мужик? – вдруг донёсся до писателя осиплый голос рыбачка.

Виталий Андреевич никак не отреагировал на этот возглас, мало ли кого ещё мог встретить поддатый селянин, продолжая свой замысловатый путь.

– Точно, мужик, – на сей раз утвердительно прозвучало в некотором отдалении.

Плотников вжал голову в плечи.

– Эй, мужик, я к тебе обращаюсь, – требовательно долетело до писателя.

– Чего тебе? – с опаской остановился Виталий Андреевич, выглядывая у дороги подходящий дрын. Дрына не было.

– Ты чей, мужик? – стоял метрах в двадцати рыбачок, обхватив электрический столб.

– В смысле?

– Ты не наш мужик, – набычился мужик.

– Не, не ваш, – попятился Плотников.

– Стой, мужик! – грозно воскликнул рыбачок.

– Чего тебе? – Плотников попятился ещё.

– Тебе плохо, мужик? – неожиданно донеслось от столба.

– С чего ты взял? – растерялся писатель.

– Да идёшь ты как-то скучно, невразумительно идёшь, будто ноги не твои. Еле плавниками шевелишь. И взгляд в землю. Нехорошо.

– Да нет, всё нормально, задумался просто, вот и медленно.

– Задумался? – прищурился рыбачок, – Это плохо, мужик.

– Почему плохо-то? – удивился Виталий Андреевич.

– Вредно, потому что. Думать вообще вредно. Будешь много думать, ничего в жизни сделать не успеешь. Ты не думай, мужик, ты просто живи. Вон красота-то кругом какая, глянь-ка. А ты идёшь, мужик, еле-еле, глаза в землю упёр, и ничего не видишь. А всё почему, мужик? Потому что думаешь. И, наверное, много. Перестань думать, голову подними, и красота сама к тебе придёт. И жить захочешь. Так-то вот.

Рыбачок встряхнул плечами, сосредоточился, и, оторвавшись от столба, продолжил свой путь, мотыляясь по всей ширине дороги.

Виталий Андреевич, открыв от изумления рот, смотрел ему в след пару минут и вдруг расхохотался.

– Вот это да! Вот это философия! – восторженно ударил он себя по бедру, – И каков философ! Куда там Канту!

«А может и правда – хватит думать?» – Плотников огляделся по сторонам. Красота, возникшая перед ним, ошеломила. Закатная красная полоса в небе, волшебные силуэты вековых елей у околицы, белёсые дымки печных труб, покосившийся штакетник – всё это сразу наполнило стеснённую грудь и заставило писательское сердце вернуться к здоровому ритму.

Виталий Андреевич поднял голову вверх и увидел первые звёзды…

Будущий роман полностью сложился в цельную картину.

МЕСТЬ КЛЕОПАТРЫ

У входа в приёмное отделение городского роддома столкнулись две женщины.

– Тю, никак Натаха? – радостно сжала толстуха в своих объятиях миниатюрную дамочку.

– Татьяна, ты? – удивилась одноклассница дюймовочка.

– Я, я, кто ж ещё, – гремела на весь больничный предбанник здоровенная тётка, – Чего ты тут? Работаешь, что ли? Вроде в медики после школы собиралась?

– Нет, Тань, не работаю. Дочку, вот, встречаю, внука нам родила. Первого. Бабушкой стала. Не рано ли только? – засмущалась Наталья.

– Ха, не рано ли? – хохотнула толстуха, – Я вот прабабушка нынче! Правнучку забираю. А ты говоришь, не рано ли?

– Шутишь? – недоверчиво покосилась на бывшую подругу Наталья.

– А чего шутить-то? В натуре я теперь прабабка. Старая калоша, – расхохоталась Татьяна.

– А как это так, не пойму?

– А чего тут непонятного? – удивлённо пожала плечами толстуха.

– Ну, тебе же, как и мне, сорок семь сейчас. Какая прабабка?

– А, вот ты про что, – снисходительно ощерилась Татьяна, – Ну так смотри, толкую. Я Людку в семнадцать родила, Людка Маринку в шестнадцать. На год меня обскакала, кобыла. Скандалу было на всю деревню. А вот Маринка, та вообще рекордисткой оказалась, в тринадцать залетела. Сейчас ей четырнадцать. И, главное, опять девку принесла. Если и эта в нашу породу пойдёт, то я к шестидесяти прапра стану.

– Ничего себе! – изумилась Наталья, – А что у них за мужья? Такие же подростки?

– Какие ещё мужья? Нет у них никаких мужей. Сажают их сразу же за растление малолеток. Туда им, козлам, и дорога. Моего первого трахаря ещё мои родители под суд подвели, я потом точно также Людкиного на зону отправила. Любка вот сейчас Маринкиными ухажёрами занимается. Уголовку завели, выясняют, кто там основной папаша, а кто второстепенный. Ничего, разберутся. Оба сядут.

– А жить-то в одиночках как? Тяжело же.

– Тю, Натаха, ты как с Луны, – надменно ухмыльнулась толстуха, – Эти алименты отчисляют, государство за каждого плотит, мы ж ещё рожаем. Плюс льготы разные, как матерям-одиночкам, плюс квартиры. Поорать, правда, надо, кулаком по столу постучать, письмо Путину написать. Но зато потом живи, не горюй!

– Так у тебя, что, не одна дочка? – расширила глаза Наталья.

– А то! – гордо подбоченилась Татьяна, – Конечно не одна. Четыре девки. Да у Людки скоро столько же станет, рожать через месяц. Да и у остальных по две, да по три. Я уже и сама со счёта сбилась, сколько баб в нашем царстве.

– И что, всех ухажёров сажаете?

– Не, не всех, токо первых. Остальных отпускаем с миром, если полюбовно договариваемся.

– Ну, ты прям Клеопатра, – ехидно усмехнулась Наталья, – Казнишь любовников после первой ночи. И как они не бояться только?

– Так мы ж сладенькие, – расцвела покровительственной улыбкой толстуха, – а они, как мухи, прут на мёд без оглядки. Вот за порчу сладкого и мстим.

ОДИНОКАЯ ПАРТА

Шестиклассник Алёша шёл в школу последний раз, хотя мог и не идти. Но он всё-таки решил пойти. Зачем? Если бы его спросили об этом, он, наверное, и не сумел бы ответить. Что-то притягивало Алёшку к этому ненавистному до последнего кирпича зданию. То, что здесь живёт зло, он понимал и внутренне содрогался от отвращения всякий раз, когда переступал порог этого дома.

Жёсткий ветер хлестал мальчика по лицу, как будто хотел своими пощёчинами остановить его, выбить из головы засевшую там смертную тоску, заставить вернуться домой. Снег, помогая ветру, вшивался в непокрытую голову тысячами колючих иголок. Казалось, что в лице непогоды все силы добра стараются выстроить преграду на Алёшкином пути. И чем ближе он подходил к школе, тем медленнее становился его шаг.

Мимо пробегали школьники, стараясь побыстрее оказаться в тепле. Кто-то из них дал Алёшке по шее портфелем и расхохотался, кто-то толкнул, может, и не нарочно, просто спешил и не мог вовремя остановиться. Но Алёшка уже давно перестал реагировать на них. Они были частью зла, окружавшего его со всех сторон.

Школа сверкала десятками глаз. Постояв в раздумье с минуту, он вошёл в неё, и дверь тут же захлопнулась, погрузив мальчишку в обстановку лжи и лицемерия.

Через минуту кто-то вцепился ему в рукав. Алёшка знал, что этот кто-то – она. Она всегда хватала его за руку и, глядя куда-то в сторону, начинала визжать, брызгая при этом слюной ему в лицо. «Явился, свинья! И как только таких земля носит! Опять наследил! Не пущу в раздевалку, пока сапоги свои сраные не вымоешь! Тут тебе не хлев, а школа! – и тут же кричала дежурным: – Смотрите, ворьё пришло! За карманами смотрите!».

И все смотрели на Алёшку, смотрели, как на вора. А он, опустив глаза, старался поскорее раздеться и скрыться в какой-нибудь закуток – подальше ото всех. Алёшкины опущенные глаза и руки, которые почему-то всегда не находили себе места, – то оправляли рукав, то лезли в карманы брюк, то слишком долго встряхивали старое пальто, доставшееся ему от отца, – ещё больше раздражали окружающих, убеждая их в том, что он и есть вор. Что деньги, пропадающие у них из карманов, присваиваются им, хотя при частых обысках денег у Алёшки не находили. Это ещё больше злило всех, и его били. А он молчал, да и что он мог сказать! Вначале Алёшкой делались попытки оправдать себя, но эти попытки ещё больше распаляли школьников, ведь они больше верили ей – взрослому человеку, техничке, а не ему. Она же всегда любила напомнить при всех: «Лично схватила за руку!».

И были свидетели. Оправдываться было уже поздно и бесполезно.

А началось всё с того, что, возвращаясь из туалета, Алёшка увидел, как она в раздевалке шарит по карманам. Он хотел пройти незамеченным, но она вдруг резко повернулась, заметив его, вздрог-

нула, побледнела и чуть ли не прыжками бросилась к нему, схватила за руку и испуганно зашептала: «Ты не выдавай меня, слышь, не выдавай! На, возьми деньги, все возьми!».

Алёшке стало плохо и противно. Он замотал головой, при этом стараясь освободиться от её хватки. Но она, будто клещ, вцепилась в его руку. После нескольких секунд испуга её недалёкий умишко сообразил невероятно паскудную мысль. Она вдруг резким движением засунула ему в карман украденные деньги и тут же, пока он не успел опомниться, схватила его за обе руки, втащила в раздевалку и завопила на всю школу: «Вора, вора поймала! Скорее, вора!».

Двери кабинетов распахнулись, и ученики с учителями тут же окружили его с ней. «Проверьте у него карманы!» – орала она.

Алёшка стал вырываться, кричать, что это неправда. Но его не слушали, деньги у него вынули, а она тут же показала пальто, из которых эти деньги были украдены. Ей вынесли благодарность за бдительность, а Алёшку в тот же день побили. Побили и дома.

Сегодня школа встретила его так же враждебно. Сняв пальто, мальчик спрятался в свой закуток под лестницей в надежде переждать там общешкольную линейку, зная при этом, что всё равно будет найден и препровождён в спортзал. Эта игра в прятки игралась между ним и другими обитателями школы уже давно. И они ещё ни разу не проигрывали.

Прозвенел звонок, и игра началась, закончившись в спортзале, где проходила линейка. Сейчас выступит директор. Будет говорить о том, что надо подналечь всем на учебу и дисциплину, что за последнюю неделю было получено столько-то двоек, и что их очень много, и что раньше такого не было, и что надо не подкачать и вывести школу на передовые позиции. Ему похлопают, хотя его никто и не слушал. Потом начнёт своё выступление заместитель директора. Она вызовет на середину зала наиболее отчаянных ребят и начнёт их казнить. Особенно достанется ему, Алёшке. Будет сказано, что он постоянно грязен, что от него вечно пахнет навозом и возле него неприятно находиться, что костюм его не чищен, а рубашка похожа на половую тряпку, что за последнюю неделю он получил массу двоек, что на переменах он позволяет другим подметать собой пол. И все снова станут смеяться, а после линейки завалят его и протащат за ноги по коридору на глазах у учителей. Учителя же, отвернувшись, заговорят о том, какой он неприятный ребёнок, и что давно пора избавиться от «этого идиота», который дурно влияет на всех остальных, собрать, наконец-то, все документы, свозить Алёшку к психиатру, создать комиссию и отправить его в заведение для умственно отсталых детей. А заняться всем этим должна классный руководитель.

Получая такие указания, Тамара Егоровна покрывалась пятнами. Она начинала кричать, что не обязана заниматься «этим быдлом», что пусть кто-нибудь другой идёт к нему домой и составляет акт, а её тошнит от «этого нужника», что с неё довольно походов в «этот хлев».

Тамара Егоровна и сама верила в то, что часто бывала в Алёшкином доме, хотя заходила туда один раз и вспоминала об этом с отвращением.

Кровати были не прибраны, бельё на них грязное, маленькие дети ползали по чёрному полу и не переставая хныкали. Особенно невыносим был запах, кислый и затхлый. Спросив, где родители, и узнав, что они на работе, она ушла.

На следующий день вся школа знала про её посещение этого дома. Тамара Егоровна поделилась своими впечатлениями даже с учениками. Ох, и устроили они Алёшке…

С того дня за мальчишкой прочно утвердилась кличка «вор-навозник».

Со временем впечатления классного руководителя обросли новыми наслоениями, как снежный ком. Она уже теперь и сама не могла отличить, что правда, а что ложь. Особенно она любила рассказывать о кучах испражнений, покрывавших пол, и тараканах, кишащих на драных обоях.

Как ненавидел её Алёшка, её и всех остальных! Мысленно он расстреливал их, представляя, как они ползают перед ним на коленях, моля о пощаде. Порой он воображал себя героем, даже генералом, и они с завистью смотрели на него и отдавали ему честь.

Но это было давно. А сейчас вязкая тоска обволакивала Алёшкино тело и тёмные его глаза были плотно затянуты плёнкой безразличия.

За партой с ним никто не сидел. Брезгливость переполняла одноклассников до краёв. Парта стояла в дальнем углу класса. Была она какая-то измученная, похожая на своего хозяина. За неё никто никогда не садился. Она считалась как бы прокажённой, на ней лежало клеймо, табу. Другие парты постоянно верещали, скрипели, эта же боязно молчала, опасаясь лишним звуком привлечь к себе негодующее внимание учеников. Тяжёлые камни обличений сыпались до тех пор, пока Алёшка не ронял голову на парту и не начинал обливаться слезами.

Уже все давно забыли Алёшкино имя. Для учеников он был «вор-навозник», для учителей – «дебил», «уо», «идиот», «кретин», «дурак».

– Посмотрите на этого придурка, этого дебила, – распалялась Тамара Егоровна. – Разве можно понять, что он тут нацарапал? Это же бред сумасшедшего! Не соблюдаются элементарные правила грамматики,

ошибка на ошибке! Что может дать нашей Родине этот… Боже мой, боже мой! Ничего не знает и знать не желает. Идиот! Твою тетрадь в руки брать страшно, ей место в туалете!

И тут же вступали одноклассники:

– Мы же вам говорили! Он же навозник, вор-навозник! Эй, навозник, в какой куче навоза ты раскопал свои тетради?

Те, которые сидели рядом с Алёшкой, начинали почти открыто плевать на него, корчить рожи и хохотать ему в лицо. Алёшка падал на парту, закрывался руками и… В классе устанавливалась относительная тишина. Дело было сделано.

Каждый учитель поступал с мальчиком по-разному. Один постоянно хватал его за ухо и выталкивал к доске, другой заставлял Алёшку приседать под общее веселье, третья не обращала на него никакого внимания, будто он и не существовал вовсе, четвёртая кричала ему, что яблоко от яблони недалеко падает, и что сын уголовника – сам будущий уголовник, и что она запретила бы рожать таким матерям «таких уродов».

Когда-то в мыслях Алёшка убивал и эту, четвёртую, а ещё раньше представлял её своей бабушкой. У него не было бабушек, и он представлял её доброй и заботливой, своей защитницей от отца и матери.

Отец, когда не сидел в тюрьме, его часто и жестоко бил. Бил всем, что попадало под руку, бил пьяным и трезвым, бил палкой и стулом, бил головой о стену и пол, бил всегда. Он всех бил и матерно ругался. Когда отца не было, Алёшку била мать, била и обзывала «ублюдком». А он представлял ту, четвёртую, учительницу своей доброй бабушкой. Но это было давно, очень давно. Он уже забыл об этом.

Алёшка уже забыл обо всём, он только помнил, что сегодня последний его день в этой школе и вообще последний его день.

Закончились уроки, и все заспешили домой. Мальчик одел пальто и вышел на улицу. Ветер стих, ярко и холодно светило зимнее солнце. Алёшке вдруг на минуту стало грустно, грустно от того, что сейчас не лето. Но тоска задавила грусть, и он побрёл к лесу. Солнце постепенно скрылось за тучи, пошёл снег. Снег обволакивал мальчишку, заставил сесть. Алёшке стало хорошо, так хорошо, как будто его обнимала добрая бабушка. Снег укрывал его мягким тёплым одеялом.

Наутро его начали искать и, как ни странно, очень быстро нашли.

В тот же день заменили парту.

ЮБИЛЕЙ

Харитоныч всю жизнь в школе. Без малого пятьдесят лет от звонка до звонка. Сколько учеников выпустил, и не счесть. А перед самым юбилеем, всего-то за месяц, плюнул на всё и уволился. Не смог больше этими идиотскими реформами насыщаться, перекушался. Пенсию льготную, слава Богу, ещё лет двадцать назад заработал, ну и спасибо на том. Правда, деньги аховые, но огород есть, куры есть, проживёт.

– Ань, не пора ли комнату для подарков освобождать, юбилей скоро? – шутил Харитоныч недели за две до знаменательной даты.

– Я тебе и две освобожу, дай только команду, – улыбалась мужу Анна.

За неделю до праздника Харитоныч стал волноваться:

– Что-то из школы ничего нет, ни приглашений каких, ни звонков. Из клуба тоже молчат. А я ж у них туркружок двадцать пять лет вёл. Ну и в избиркоме почти столько же бессменно. В самодеятельности, вот, так до сих пор состою.

– Ты ещё про районное начальство забыл, – подзуживала Харитоныча супруга.

– Эти меня не трогают. У них своя жизнь, у меня своя. А вот наши, считай, что родня, столько лет бок о бок.

– Позвонят ещё, не переживай, – поглаживала мужнины плечи Анна.

– Представляешь, Ань, каждый день в магазин хожу, то директора встречу, то завучей. Здороваемся, и всё. И Петровна, завклубом, ни гу-гу, – за три дня до даты жаловался Харитоныч.

– Позовут, Саш, никуда не денутся. Сюрпризом хотят, видать, порадовать, вот и молчат до поры, до времени.

В вечер перед юбилеем Харитоныч поставил на стол бутылку коньяка.

– Ты чего это? – настороженно посмотрела на него Анна, – Не рано ли? Праздник-то завтра.

– Не пригласят меня никуда. Забыли. Уволился, и тут же забыли начисто, вычеркнули из своей памяти, будто и не было меня. Вроде, как и из жизни тоже исключили, – налил себе стопку Харитоныч, – Дети-то хоть приедут?

– Приедут, – тяжело вздохнув, вытерла руки об фартук супруга, подсаживаясь к столу, – И мне налей.

Дети приехали с утра, и внуков с собой привезли. Суета, гвалт, поцелуи и объятия несколько взбодрили Харитоныча, и вывели его из печального состояния. Вечером дом наполнился соседями и друзьями. Харитоныч улыбался, слушал здравицы, принимал подарки, но глаза оставались грустными. И вот уже совсем поздно, когда праздник подходил к концу, раздался телефонный звонок.

– Спасибо, Варенька, спасибо, моя золотая. И тебе всего самого доброго, – расплакался к концу разговора Харитоныч.

– Что такое, что случилось, папа? – обеспокоились дети, глядя на плачущего отца.

– Поздравили всё-таки. Не забыли, – вытирал ладонью счастливые слёзы Харитоныч, – Варенька поздравила, Смирнова, с двойки на тройку которая. Не забыли.

РАДА ПОЛИЩУК

МАМА ВЕРНУЛАСЬ
рассказ

Ворона натужно каркала не своим голосом, в горле у неё скрежетало и скрипело, и твёрдое «кар» на себя не походило – так, нечто нечленораздельное. Но исправно и исступлённо, через равные промежутки времени, словно выполняя какую-то важную миссию, выдавливала она из себя этот отвратительный, как ножом по стеклу, звук.

Анатолий остановился и поискал глазами ворону. Она сидела на нижней ветке дерева, почти у него над головой, и, вздрагивая всем телом, скрипела, скрипела, скрипела…

«Ворона каркает – быть беде» – явственно услышал Анатолий тревожный шёпот, щекочущий ухо, и луком жареным запахло, и защемило в груди, и страшно сделалось, и радостно, как будто вжался лицом в потом пахнущую тёплую Нюшину подмышку.

Нюша, Нюшечка, няня, нянюшка, рябая, толстая, зеленоглазая – звезда и любовь его странного детства, через которую постигал он многие таинства жизни, природы, женственности и мужского начала в себе самом.

С крестьянской простотой и откровенностью рассказывала Нюшечка ему, несмышлёному малышу, не сказки дивные про волков и царевен прекрасных, а невыдуманные истории из жизни своей и своих всех в войну сгинувших родичей. И про то, как насиловали её, девчонкой, солдаты немецкие, поведала, горя сухими от ненависти глазами, заключив с протяжным, горестным вздохом: «В живых-то оставили, но бабу во мне навсегда сгубили». И притискивая к себе Толика, обожаемого любимца своего, жадно вглядывалась в его лицо, словно бы чего-то ждала от него – опровержения ли, совета ли, помощи?

А он, вжимаясь всем телом в большую и мягкую Нюшечкину грудь, невинно, как младенец, и в то же время стыдливо и жарко, как взрослый мужчина, не понимая ещё в себе этого и смутно лишь сознавая непоправимую Нюшечкину беду, плакал ночами от бессильного желания помочь ей, защитить, отомстить всем виновным, покарать их страшною карой, восстановив тем самым попранную справедливость. Думать так он, конечно, ещё не умел, но чувствовал что-то болезненно и пронзительно острое, и оттого по ночам ему бывало страшно.

Он спал в своей детской, отделённый двумя залами и холлом от Нюшиной смежной с кухней каморки, единственной из всей огромной квартиры оставшейся в памяти живым и тёплым уголком детства. Каморка была наполнена запахами Нюшиной стряпни, косыми солнечными лучами, падающими сверху, из маленького оконца под потолком, их секретами и ожиданием чего-то прекрасного впереди, от чего щекотно делалось его воображению и хотелось смеяться.

Вся прочая жизнь, происходившая в доме и вне его – мама, красивая, стройная, вечно окутанная, как облаком тумана, папиросным дымом, отчего ему казалось, что она живёт и плавает в этом облаке и является ему изредка, как дивная фея из сказки; папа, широкоплечий, с гордо откинутой головой и цепким взглядом больших настороженных глаз за толстыми стеклами очков; их гости, невнятные отзвуки их споров, нестройной разноголосицей проникающие в его с Нюшечкой уединённость – все это было лишь фоном, неотъемлемой, но не насущной частью его бытия.

Потому, быть может, а также по причине своей малолетней неразумности не сразу осознал он большие перемены, происшедшие с ним и вокруг него. Заметил лишь, что они с Нюшей в тот год необычно рано переехали на дачу – кругом ещё лежал снег, и, несмотря на наступившую по календарю весну, было по-зимнему холодно. И дача была не та, не своя, где жили они в прошлом и в позапрошлом и, наверное, в прежние годы тоже, с большой остеклённой цветными стеклышками верандой и открытой террасой с деревянными резными перильцами и балясинами, а совсем другая – подставленный со всех сторон ветрам маленький убогий домишко на краю безлесного поселка. Кроме него и Нюши, были здесь ещё Хозяин и Хозяйка, чужие, неприветливые люди.

Он ничего не понимал тогда в происходящем, но, даже и не понимая, чувствовал, как поселились в нём и рядом с ним непрошенными и жалкими постояльцами, как они с Нюшечкой, бесприютность и грусть, глаза всё время были на мокром месте, он беспричинно капризничал и часто болел ангинами. Нюша с ангельским терпением и покорностью поила его душистыми и горькими отварами и сносила все его выходки, сделавшись ещё более ласковой, чем прежде. Он же, не будучи в силах постигнуть, за что она так любит его, невыносимого, становился ещё невыносимее, доходя до исступления в непреодолимом стремлении вывести Нюшу из себя, чтоб она, наконец, накричала на него или даже побила.

Они теперь спали с Нюшей в одной постели. Засыпая, привычно примостившись в удобной излучине большого Нюшиного тела, он видел чудный сон, как бы являвшийся продолжением его бесплодной и изнурительной дневной борьбы: невесть откуда явившиеся мама и папа вырывают его из сильных Нюшиных рук в тот как раз момент, когда она уже готова опустить на его голую спину сильно скрученную веревочную петлю, которой стегала Хозяйка козу и корову и соседских мальчишек, кого ни попадя. Он вздрагивал во сне от этого несостоявшегося удара и ещё теснее прижимался к Нюше.

Ненароком подслушанный разговор неожиданно переменил всё к лучшему.

– Да не её это ребенок, не знаю, чего она с ним мыкается, – говорила Хозяйка, зло поджимая губы. – Сирота он. Родители, говорит, померли. Да что-то я не верю.

– А что так? – загорелась любопытством соседка.

– Да ежели померли, чего ж квартиру ихнюю городскую бросила?

– Ну?

– Больной, говорит, мальчик, воздух ему нужен. Больной-то, может, и больной. А вещи где? А деньги? Нет, что-то здесь не так.

– И правда, – растерянно протянула соседка, видимо, как Толик, не понимая хозяйкиных намёков. – В приют бы что ль отдала, чего мучиться, – невпопад закончила она, потеряв интерес к разговору.

И он беззаботно побежал было дальше, на ходу забывая услышанное, как вдруг резко остановился, чуть не упав, поражённый внезапной догадкой: это о нём и о Нюше говорила Хозяйка, это он сирота, его родители померли. Это всё *о нём* и в приют тоже надо отдать *его*?

И со всех ног, обжигаясь крапивой, падая и обдирая в кровь и без того разодранные коленки, ничего не видя от застилавших глаза слёз, чувствуя на губах их солоноватый вкус и слизистую слякоть под носом, машинально размазывая всё это по лицу рукавом рубахи, он мчался к дому, к Нюше, за правдой.

Нюша гладила, стоя к нему спиной. Он врезался в неё сзади с размаху, обхватил руками, чувствуя, как бьётся, клокочет в горле сердце от бешеного бега и раздирающий душу тревоги, выдохнул:

– Нюшечка, где мои мама и папа? Где они?

Нюша долго успокаивала его, вздрагивающего и всхлипывающего, утирала ему слёзы, от которых промокло уже её платье, и тихо, напевно и бесконечно шептала:

– Они приедут, они приедут, уехали и вернутся, обязательно вернутся… А мы с тобой их ждать будем… Мы будем их ждать, и они вернутся…

Он так и уснул под это «приедут-приедут»… «вернутся-вернутся», как под перестук колёс, убаюкивающий, успокаивающий.

В марте Толика должны были принимать в пионеры. Не умея объяснить себе, чего именно ждёт он от этого события, не понимая, что изменится в его жизни после того, как будут произнесены давно уже выученные наизусть слова торжественного обещания: «Я, юный пионер Советского Союза…» – он страстно мечтал об этом дне. Он даже ложился спать пораньше, обманывая время и себя, чтоб сократить расстояние, отделяющее его от заветного дня. Несколько раз тайком от Нюши он примерял перед зеркалом свой новенький шёлковый галстук, сам себе отдавая пионерский салют, и сердце восторженно замирало от сопричастности к чему-то великому, постичь которое он был не в состоянии, но от чего всё время теснило в груди и губы сами собой складывались в улыбку.

Но вот, наконец-то, не после-после-после, а уже завтра, и в предвкушении этого завтра он не спал всю ночь.

А утром всё пошло шиворот-навыворот.

Вместо радости – слёзы, вместо красного галстука – красно-чёрный бантик, вместо торжественной линейки – траурный митинг. И главное, вместо радостного воплощения – горькое, как Нюшины отвары, разочарование. И обида, и злость, и досада, бессильные, неизвестно к кому обращённые и оттого ещё более острые, жгучие. И слёзы, слёзы, слёзы…

В этот день плакали все. И в этом всеобщем плаче, как в большом хоре, он неожиданно потерял свой голос, свою мелодию.

Ему расхотелось плакать до такой степени, что когда во время траурного митинга в школе большая и толстая директриса, взобравшаяся на табурет для зачтения некролога, грохнулась на пол, издав странный булькающий звук, словно захлебнулась всхлипом, оборвавшимся на высокой ноте, он громко рассмеялся.

Это было, в самом деле, ужасно смешно: и то, как она вскарабкивалась на табурет, и как стояла на нём, с трудом сохраняя равновесие, напоминая дрессированного льва на тумбе, которого когда-то давным-давно видел он в цирке, и уж тем более её падение. Он никогда в жизни не видел ничего более уморительного.

На него испуганно зашикали со всех сторон, по залу короткой дробью пронёсся смешок, Толик стиснул зубы и до конца митинга давился смехом, аж вспотел от натуги.

А вечером он вдохновенно лицедействовал перед Нюшей, изображая падение директрисы, и они хохотали до слёз, и Нюша зажимала ему и себе рот ладонью и, кивая на перегородку, за которой жили хозяева, шептала: «Тише, тише».

Глаза у неё были весёлые-весёлые, брызгами летели ему в лицо смешинки, как конфетти из новогодней хлопушки.

Толику тоже сделалось совсем весело и легко. Он вспомнил, что когда у соседки напротив в прошлом году умер муж, разноголосые причитания и душераздирающие вопли два дня заглушали все уличные шумы, а на третий день к вечеру оттуда долетали оживлённые вразнобой голоса, смех и даже пение. И он подумал, что сегодняшний день уже прошёл, и значит послепослезавтра он, может быть, станет пионером. Чего тогда убиваться?!

Уже почти засыпая, он вдруг спросил:

– Нюшечка, а ты почему сегодня не плачешь? Все плачут, а ты нет?

– Не знаю, миленький, – серьёзно и задумчиво произнесла Нюша. – Мне кажется, что всё будет хорошо.

Она помолчала ещё и сказала, словно разговаривала сама с собой:

– Не знаю, но мне почему-то так кажется.

Таким неожиданным разговором закончился этот день, памятный тем, что он не стал пионером, день несбывшейся мечты, непраздник. И лёгкой позёмкой клубится из того марта в сегодня досада, сродни затаённой детской обиде, на того, кто своей неожиданной смертью однажды испортил ему праздник.

Через год вернулись родители. Сначала отец, а через некоторое время мама. Толика это очень удивило, раньше, насколько он помнит, они всегда приезжали вместе, и он считал, что отпуск – это так же, как Новый год или день рождения, праздник, когда в доме гости и весело и много подарков. Это были неясные, почти утраченные, но его собственные воспоминания о прежней жизни – загорелые, радостные, взволнованные лица, диковинные угощения, которые тут же надо было отведать, суета, суматоха и смех, и поцелуи, и объятия, и громкие, бестолковые восклицания, когда никто никого не слышит, охваченные общим возбуждением.

Всё остальное Толик помнил Нюшиной памятью, по её рассказам, обстоятельным и живописным, с множеством удивительных подробностей. Он перебирал её рассказы, как картинки детского лото, выбирая самое интересное, воспроизводил эти картинки в своём воображении, и позже ему уже казалось, что он, в самом деле, всё это видел. Пожалуй, это была самая любимая его игра.

С возвращением родителей игра закончилась.

Вообще, это событие внесло полную сумятицу в его жизнь, изменило всё и отнюдь не в лучшую сторону.

Надо сказать, что он не скучал без родителей, не ждал их, и если б не Нюша, постоянно напоминавшая ему о них – то просто разговорами, то неожиданно маленькой пирушкой по случаю маминого дня рождения, то подарком ему от мамы и папы, он бы их забыл. И жили бы они вдвоём с Нюшей замечательно хорошо, и никто никогда не помешал бы им.

Но родители приехали.

Толик не узнал их. Сначала отца, потом и маму. И не просто в первый момент не узнал, потому что отвык и фотографий все эти годы не видел, а в воображении жили послушные персонажи, которые видоизменялись в зависимости от обстоятельств, что нисколько ему не мешало, а, напротив, делало игру более привлекательной – он не узнал их совсем и навсегда. Эти чужие, некрасивые, чем-то неприятно выделяющиеся среди всех окружающих люди были ужасно несимпатичны ему, хуже даже, чем Хозяин с Хозяйкой.

Обросший клочковатой бородой, но совершенно при этом лысый отец, почти ослепший, с гнилыми зубами, он был невысок и худ и ничем, даже отдалённо, не походил на того, кого теперь, казалось Толику, он хорошо помнил, и знал, и любил. А мама, господи, эта жалкая старуха с впалой грудью, с кожей, цветом и сухостью напоминавшей пергаментную бумагу, с изуродованными, распухшими руками и невыносимым кашлем, то и дело душившим её долгими, изнурительными приступами, – какие бантики! какие рюшечки! какие кудри! Он нарочно выуживал из своих и Нюшиных воспоминаний эти милые

и тем более неуместные сейчас мелочи, собирал их в гирлянды и мысленно примерял к ней – о, боже, как это всё ей не шло.

Толик изо всех сил старался делать вид, что ничего не произошло: ну, приехали, ну, кашляет, ну, тесно стало. Ему-то что? Он посвистывал, независимо засунув руки в карманы брюк, и старался как можно меньше бывать дома. И только подгоняемый Нюшиными шлепками и тычками, её нешуточно

сердитым шёпотом, нехотя подходил к отцу или к матери, показывал свой дневник и, невыразительно глядя в сторону, говорил:

– А я сегодня две пятёрки получил, по географии и по алгебре.

Отец как-то нарочито оживлялся и восклицал:

– Да? Ну-ка, покажи, сынок.

Будто вид этих пятёрок мог что-то объяснить ему.

А мать протягивала к нему дрожащую руку и гладила по волосам или, что того хуже, пыталась обнять его. Он весь выгибался, стремясь выскользнуть, увильнуть, это объятие пугало его. Он звал Нюшу, ища у неё защиты, но та говорила недовольно, подавая ему за спиной матери какие-то знаки:

– Да что ты такой дикий, Толик, обними маму покрепче.

Мать вздрагивала, оглядывалась, опускала руки, глаза её наполнялись слезами, она еле слышно шептала:

– Он меня не любит, боится… боится и совсем не любит.

И она начинала кашлять.

А Толик мчался прочь, подальше от душу разрывающего кашля, от этой старухи, обнять которую боялся из страха превратиться в нечто такое же безобразное, как и она сама, от сострадания и любви, которых не понимал, но чувствовал мучительным до тошноты желанием расколдовать её, чтоб оборотилась она тем прекрасным и нежным, что в их с Нюшей воспоминаниях звалось «мама».

Но он был уже взрослым и знал, что никакого колдовства не существует. И потому мечтал, чтоб она исчезла. «Пусть лучше её не будет, раз она такая», – эта мысль пришла ему в голову в тот день, когда он впервые увидел мать.

Она неслышно возникла на пороге комнаты, обвела всех блуждающим, медленным, словно ищущим чего-то взглядом и сразу же зашлась в кашле. У Толика что-то оборвалось и сдвинулось в душе от этого кашля, и он хотел зажать уши руками, но Нюша, крепко схватив его за запястья, сдавила их, как наручниками, и долго не отпускала.

Мать перестала кашлять и, словно повинуясь этому сигналу, отец, с трудом передвигая ноги, подавшись всем корпусом, будто пересиливая какую-то невидимую силу, пошёл ей навстречу. Сойдясь почти вплотную, они припали друг к другу с бессильно обвисшими вдоль тела руками и надолго застыли в этой неловкой и молчаливой неподвижности, словно играли в «замри» и «молчанку» одновременно. В комнате было тихо-тихо, и только Толино недовольное сопение да Нюшино сдавленное рыдание, прорывавшееся сквозь плотно прижатую ко рту ладонь, выдавали здесь чьё-то присутствие.

Толик не понимал, отчего плачет Нюша. Почему настойчиво отворачивает его голову в сторону и чем так притягивают его взгляд эти две странно оцепеневшие фигуры. Бессловесные, бездыханные, словно бы неживые, слившиеся в несуразном необъятии, безмолвным своим присутствием они давили на его психику. Ему сделалось страшно, страх пробрал его до самых кишок, и его ни с того ни с сего вырвало.

Вокруг него засуетились, забегали, он испытал, как обычно бывает после рвоты, лёгкость и освобождение, словно выплеснул вместе с блевотиной то необъяснимое, что чуть не задушило его.

И с этой минуты он стал страстно мечтать о том, чтобы родители снова исчезли, как несколько лет назад, незаметно и надолго. Тогда он опять с наслаждением слушал бы Нюшины рассказы о них, упоённо сочинял бы сам, давая волю своей фантазии, всё по-прежнему было бы окутано пеленой таинственности из-за строжайшего Нюшиного наказа ничего не говорить о родителях. И, верный данному ей слову, он гордо нёс бы в себе свою тайну, не пустячный секрет, который есть у каждого мальчишки, а настоящую – он это нутром чувствовал – взрослую тайну. И даже можно было бы ждать их, только чтоб они подольше не приезжали, не разрушали волшебное очарование игры и этого таинства.

Это была, наверное, самая заветная мечта его жизни. Ни о чём более он не мечтал уже после с такой яростной одержимостью. И именно этой его мечте суждено было сбыться в то время, как совершенно иная участь постигала одно за другим прочие его стремления, вожделения и страсти.

Правда, и она всё же сбылась лишь наполовину.

Словно откликнувшись на его молчаливый призыв, ушла из жизни его мать. Она тяжело и долго болела, сотрясая своим кашлем хлипкий домишко одинокой, глуховатой и слегка тронутой в уме старухи, у которой поселились они после очередного скандала, учиненного Хозяйкой.

– Люди добрые! – вопила та, выскочив на улицу. – Помогите, люди добрые!

Можно было подумать, что её режут, хотя Нюша, выбежавшая за Хозяйкой следом, лишь тянула её за рукав к дому и что-то тихо и миролюбиво шептала.

Здесь любили скандалы, и соседи повысыпали из домов, привлечённые её криком. Когда зрителей набралось достаточно, Хозяйка оттолкнула Нюшу и заорала, тыча ей в грудь пальцем, как пистолетом:

– Мало ей того, что шпионов в моём доме поселила, мало! Так они же ещё и чахоточные.

Она набрала воздуху в лёгкие, словно собираясь нырять, и снова открыла было рот, но Нюша, размахнувшись, изо всех сил ударила её по лицу и, не оборачиваясь, пошла к дому. Толик обомлел от страха, но скандал неожиданно прекратился. Оторопевшая Хозяйка, стоя посреди двора, хлопала себя руками

по бёдрам, будто изображала курицу, и безмолвно разевала рот, соседи стали расходиться, неудовлетворённые зрелищем, а они начали увязывать узлы, готовясь к переезду.

Новая хозяйка всё время невпопад улыбалась, выпростав из-под платка уши, чтоб лучше слышать. Но, видимо, всё равно ничего не слышала, ничего не понимала, и в этой её отрешенности от всего сущего была какая-то притягательная сила. Толику она даже нравилась, он называл её «бабуся» и, глядя на неё, тоже улыбался, как и она, бессмысленно и неуместно.

Если бы не она, ему не пережить бы, наверное, те дни одинокого страха перед непостижимостью происходящего.

Страх этот скользкой гадюкой вполз в него в ту минуту, когда Нюша, глотая слёзы, шепнула ему, без голоса, одними губами:

– Толечка, иди, простись с мамой, она умирает.

Гадюка холодным клубком свернулась в животе, и, боясь её потревожить, Толик застыл, словно окаменел, и сколько ни трясла его Нюша, оставался недвижим и глух, и нем.

– Оставьте его, Нюша, не заставляйте делать то, чего он не хочет.

И после короткой паузы:

– Ты прав, мой мальчик, твоя мама ещё не вернулась.

Этот голос, знакомый, звонкий, чистый, прорвавший из туманного далёка, заставил его вздрогнуть, гадюка мгновенно развернулась, гадючье жало вонзилось ему в сердце. На какое-то мгновение он словно бы отключился, уносясь вслед этому голосу, стремясь настигнуть, поймать, удержать, а придя в себя, услышал надсадный кашель, тяжкие, долгие всхрипы и затем громкий, взахлёб Нюшин плач. Она, наконец, дала себе волю и выла, изливая слезами и криком своё горе, сострадание, жалость, всё напряжение последних лет и страх перед будущим и что-то ещё, чего Толик не понимал, о чём он и думать не мог по недомыслию.

Он не плакал вовсе. Он ждал, когда гроб заколотят и закопают в землю, и всё это, наконец, кончится. И начнётся другая жизнь. Конечно, остался ещё отец, но отец – это ничего, он им не помешает, будет сидеть в своём углу и читать и что-то записывать и снова читать. И пусть Нюша с ним сейчас не разговаривает, это пройдёт, она всё забудет, в конце концов, нет ничего особенного в том, что он не стал целовать умирающую, тем более – она сама призналась, что она ему никто.

И всё же вместо радостного и утешительного облегчения от того, что её больше нет, он пребывал в состоянии бесчувственного отупения и вместе с тем какого-то цепенящего, неопознанного предчувствия. Так бывает – пробуждение среди ночи спасает от неминуемой, казалось, катастрофы, чуть не поглотившей тебя, а что это было – неизвестно. Только бешено колотится сердце.

Он неотступно ходил за бабусей-хозяйкой, то и дело заглядывая ей в лицо, с которого не сходило выражение безмятежной ясности, будто смерть так же проста, и естественна, как пение птиц и лай собак, и дождь за окном, и весенняя трава на дворе, пробивающаяся сквозь омертвелую прошлогоднюю листву, и весь окружающий мир, и она в нём со своей затянувшейся, как долгая осень, старостью.

Она часто и мелко крестила то себя, то покойную, шептала что-то неразборчивое, но утешительное, ритмом ли, тембром ли, задушевностью. Отец несколько раз пытался прервать её: «Не надо этого, не надо», но она знала, что делает, и ни в чьей указке не нуждалась.

С тех пор, как мать положили в гроб, Толик старался не смотреть в ту сторону, и только в последнюю минуту, как будто повинуясь чьему-то повелению, поспешно заглянул под опускающуюся крышку. И такой закатил рёв, до икоты, до судорог, что его, дылду, пришлось нести домой с кладбища на руках.

И на всю жизнь наказал себя этой поспешностью, потому что, сколько бы и когда бы ни пытался он вспомнить после мамин облик, специально настраивая себя и подготавливая, видел лишь это искажённое болью, перекошенное в невысказанном крике, напряжённое и несчастное лицо.

И всякий раз, бывая на чьих-нибудь похоронах, он пристально и пристрастно вглядывался в безмятежные и отрешённые лица покойных, отринувших от себя всё земное и принявших смерть в открывшейся им истинной её сущности, остающейся тайной для всего живого. И с горечью думал о том, что только его бедная мать и *там* не обрела этот вечный покой, к которому испокон веку стремится душа человека.

И винил в этом почему-то себя. В первую очередь себя.

Впрочем, реестр своих вин он вёл в высшей степени педантично, время от времени пересматривая его и дополняя, дабы самый взыскательный и дотошный ревизор, если бы такой вдруг объявился, не смог бы обвинить его в сокрытии и фальсификации истины.

И хоть вины эти были большей частью нечаянные, непредумышленные, проистекающие в основном, от незнания и неразумности, он не склонен считать своё тогдашнее несовершеннолетие смягчающим и объясняющим всё обстоятельством. Сегодня, в сорок шесть, он полагает, что и в шестнадцать человек тоже обязан думать, владея достаточно развитым мыслительным аппаратом.

А тогда, собираясь получать паспорт, он, досадливо морщась, как при любом разговоре с отцом, нетерпеливо выслушал его неожиданную и странную просьбу. От волнения сбиваясь и путаясь, то переходя на шёпот, то напряжённо взвизгивая, отец просил, чтобы он записался в паспорте на его фамилию.

– Теперь можно, теперь всё хорошо, – счастливо улыбаясь, твердил он и совал Толику в руки какие-то бумажки.

– Теперь всё хорошо, – он смеялся и смахивал слёзы. – Бедная мама не дожила.

Нюша тоже что-то говорила и тоже протягивала ему какой-то документ.

Толик знал, что носит Нюшину фамилию, когда-то она рассказала ему, что выправила его метрику, и, пока мама и папа не приедут, он будет Анатолий Федорович Попов.

Новая фамилия сразу же пришлась ему по душе. Это позже он узнал о знаменитом однофамильце – изобретателе радио и насчитал как минимум двадцать Поповых, вписанных в Большую Энциклопедию – академиков, художников, писателей и даже революционеров. Тогда же, в детстве, он лишь с облегчением подумал, что дразнить его будут, в крайнем случае, только попом и ничего обидного и унизительного в этом не будет – ну, поп и поп, подумаешь.

А со старой фамилией Беленький ему с его смоляными кудрями доставалось такое, что и вспоминать страшно – и мелом посыпали, и известкой мазали, чтоб привести в соответствие, и всякие другие пакости придумывали. А он, маленький и беззащитный, терпел и даже Нюше не смел пожаловаться, потому что самый старший из его мучителей третьеклассник Васька Вдовин, рыжий и косой, приперев его к стенке, странно вращая своими косыми глазами и зловеще улыбаясь, говорил, безобразно картавя, бог знает кого при этом передразнивая, так как сам Толик давно и чисто выговаривал букву «р»:

– Ну, что, евррейчик, бррынзы хочешь? Накоррмлю, если пикнешь!

И хоть Толик знал, что брынза – это почти что сыр, ему делалось так страшно, что он готов был умереть, только чтоб это никогда больше не повторилось. А вокруг все веселились и прыгали, и строили дурацкие рожи, будто им показывали весёлый аттракцион.

Отцу он ничего объяснять не стал, только, молча, вернул ему сохранённую Нюшей подлинную метрику и две отпечатанные типографским способом справки, выданные гражданину Беленькому Якову Ильичу и гражданке Беленькой Лилии Семёновне в том, что… и далее со ссылкой на статьи и параграфы Уголовно-процессуального кодекса РСФСР – полностью реабилитированы.

Репрессированы, реабилитированы – два этих слова, противостоящие друг другу в своей изначальной сути, в системе нравственных оценок человеческих поступков, вопреки их истинному смыслу, стояли для него в одном ряду событий странных, необъяснимых, окружённых кривотолками и разноречивыми суждениями. Он отторгал от себя всю эту неразбериху, не желая, чтоб *это* имело к нему какое-то отношение.

– Я не буду менять фамилию. Мне это ни к чему, – спокойно сказал он и только годы спустя понял, какую смертельную рану нанёс отцу.

Только годы спустя.

Нюша потом рассказала ему, что вскоре после этого разговора отец сжёг свои дневники и письма, долго глядел на догорающее пламя, затем сгрёб золу в совок, ссыпал в ведро и глухо, ни к кому не обращаясь, сказал:

– Прижизненная кремация, акт самосожжения. Пусть будет так.

Нюша старалась передать отцовские слова точь-в-точь и, чуть споткнувшись, сказала «креминация». Толик помнит, как пронзила его жалость к ней, малограмотной, сумевшей, однако, всё понять и совместить в своей душе, и к отцу, который, несмотря на её преданность, нёс до конца крест своего гордого одиночества.

Отец в последние годы жизни практически не разговаривал с ним, только по общим бытовым надобностям. Да и ему не до того было. Детство кончилось, и время понеслось вскачь.

Ему хотелось всё охватить – увидеть, услышать, прочитать, он, как губка, впитывал в себя окружающий мир, пил его взахлёб, залпом, попёрхиваясь, не чувствуя вкуса и утоления. Одолевала жажда – ещё, ещё, ещё. Всё приходилось брать штурмом, и он не жалел усилий, подстёгиваемый азартом толпы. Казалось, насыщение никогда не наступит, он чувствовал себя на гребне событий и мечтал совершить что-нибудь достойное происходящего.

Он был молод, полон сил и весь устремлён вперёд, вперёд в манящее и многообещающее завтра. До прошлого ли тут, до углублённого ли анализа эпохи, странной, страшной, великой. Не ума, а времени не хватало – так бы, наверное, подумал он, явись ему этот вопрос тогда. Главное было – не упустить сегодняшнее, злободневное.

Это в эпохальном, так сказать, масштабе. А вокруг себя, в таком возвышенном настроении, что мог узреть он, кроме пресного и нудного бытия, в котором и было всего лишь – отцовское демонстративное молчание, будто тот постоянно бросал ему перчатку, не замечая, что сыну некогда принимать этот старомодный вызов, да Нюшино страдальческое брюзжание, что невнимателен к отцу, который для него… для которого он…

А *что* они друг для друга – не помнит, не слушал, не до того было.

Имя сменил: не отзывался на Толика, Анатолий – представлялся по-взрослому. Мнил себя настоящим интеллектуалом, самоучкой и самородком, ещё чуть-чуть и интеллигентом. И вдруг понял, что круглый дурак.

Только понял это слишком поздно. Уже не было в живых ни отца, ни Нюши, не было полюса, по которому он мог бы держать стрелку своего компаса. Он остался один в дремучем лесу своего вдруг открывшегося ему невежества, неведения и мучительных сомнений. И дорогу искал на ощупь, шаг за шагом, боясь сбиться с пути ещё раз и навсегда.

А когда умер отец, он был выпускником физфака МГУ, влюблённым и счастливым, собирался жениться и перебраться в большую четырёхкомнатную квартиру своей невесты в доме на 1-й Мещанской улице, который почему-то называли «кремлёвским». Тамара жила вдвоём с матерью, её отца, генерала, к тому времени уже не было в живых, и посему он абсолютно не возбуждал Толиного интереса.

Его удивило, что на похоронах отца было много незнакомых людей, которые помнили маму, Нюшу, его маленьким мальчиком, их старую квартиру. Поминки затянулись, много говорили о прошлом и плакали, объединённые какой-то общей болью. Он чувствовал себя чужим на этой тризне и только целуя на прощание распухшее от слёз, несчастное и потерянное Нюшино лицо, полное, мягкое и родное, он прижался к ней с внезапно из детства нахлынувшей жаркой нежностью и подумал, что вот она осталась совсем одна и кроме него теперь некому о ней позаботиться.

И сгоряча ляпнул:

– Нюшечка, ты будешь жить с нами. Для чего нам на троих столько комнат. Внуков будешь нянчить, Нюшечка. А по ночам мы будем с тобой секретничать. А, Нюшечка?

И что-то размякло в груди и ощутил голыми пятками скользкую прохладу паркета и мурашками по спине холодок страха, и затаённую гордость, что вот опять преодолевает себя и идёт через тёмную, полную таинственной тишины, таящей в себе бог знает какие опасности, зловещую пустоту квартиры, и наградой ему будет Нюшина радость, которую не сможет она скрыть самой строгой строгостью. И обогреет его, и обласкает, и уложит поудобнее, и нашепчутся они вволю, о чём никому другому неведомо, кроме них, и после она отнесёт спящего Толика в его кроватку со всеми необходимыми предосторожностями, чтоб эта их тайная ночная жизнь никогда никому не открылась.

Сокровенная тайна. Только с Нюшей узнал он, что это такое. Только Нюша и могла бы после смерти отца рассказать ему о том, что теперь, с таким опозданием, мучило его. Но и Нюшу он ни о чём не спросил. Не до того было.

Женитьба, защита, теща, первенец – сын, названный именем покойного тестя, покупки, поездки, кандидатский диплом, снова ребёнок, на сей раз девочка, тёщиным именем одаренная. Столько всего навалилось, событие за событием, шагом, рысью, галопом – всё казалось важным и всё хотелось успеть, не упустить свой шанс, не отстать от других, быть лидером, форвардом, флагманом.

Быть может, он загнал бы себя в этой бешеной гонке, а может, обрёл бы в ней истинное своё счастье. Но тут случилось неожиданная остановка на полном ходу, как будто стоп-кран сорвали. Причина самая что ни на есть житейская – он получил телеграмму, что Анна Фёдоровна Попова скончалась и похоронена тогда-то и там-то, а перед смертью наказала сообщить ему, что и было исполнено. И кое-какие ещё подробности излагались в пришедшем следом письме – Нюша оставила ему какое-то имущество, и его просили приехать или выслать для оформления необходимые бумаги.

Нюша, Нюша, Нюшечка!..

Он был контужен Нюшиной смертью. Не убит, не ранен, а именно контужен, но последствия этой контузии сказались не сразу.

Поначалу он горевал и корил себя, как часто бывает перед лицом смерти, за то многое, к чему уже давно привык, перестал придавать значение и даже начал понемногу забывать.

Конечно же, Нюша не переехала в «кремлевский» дом. Она тогда же сразу, уверенно и спокойно сказала, как отрезала:

– Да что ты, миленький, не примут они меня. Я же им никто. В деревню поеду, к своим.

А он, в душе уже благодарный ей за то, что отказалась, отвергла его столь опрометчивое и непродуманное, ни с кем не согласованное предложение, принялся с пылом и жаром уговаривать её, убеждать и настаивать.

И наперёд уверенный в Нюшиной правоте, привыкший доверять во всём её чутью, безошибочному, будто она ясновидящая, всё же ошеломил тёщу и жену своей дерзостью.

– Да ведь она тебе никто, Анатолий. С какой же стати? – сказала тёща Нюшиными словами, с интонацией безоговорочного неприятия.

– Ну, почему же никто, мама? Она его мачеха, – сказала любившая во всём точность Тамара, не переча, однако, матери, не выставляя этот довод в противовес сказанному, как контраргумент.

– Она не мачеха, – вскинулся он, хотя какое это имело значение, всё и так было ясно.

– Ну, как же не мачеха, ведь твой отец жил с ней, – продолжала въедливо уточнять Тамара.

– Он с ней не так жил, – почему-то покраснев, пробурчал он.

– А как же, Толюнечка? – вкрадчиво и неприятно улыбаясь, уточнила Тамара.

Он смешался, а тёща, привыкшая всегда побеждать, удовлетворённо подытожила:

– Ну, вот я и говорю – никто.

Этот разговор оставил двояко неприятный осадок – и оттого, что не сумел отстоять Нюшу, оставив её с глазу на глаз с её непоправимым и незаслуженным одиночеством, и оттого ещё, что Тамарин намёк на Нюшино сожительство с отцом неожиданно зацепил его, пробудив запоздалую ревность. К отцу или к Нюше, не мог он понять. И к этой необъяснимой ревности примешивалось совсем уж нелепое чувство, что его одурачили, обвели вокруг пальца.

Абсурд и бред, конечно, но на какое-то время помогло – усыпило взвинченную совесть. А дальше всё как-то пошло-покатилось: намерения чаще всего оставались намерениями, словами – пустыми звуками или знаками в зависимости от формы выражения, от всякого недовольства собой находилось лекарство. Не он первый, не он последний.

И всё казалось легко поправимым.

Теперь душа выворачивалась наизнанку от горечи и боли. Их с Нюшечкой близость, сродство, его пылкая и тайная любовь к ней, всё светлое и нежное, надёжное и доброе, его защищённое и спасённое детство – всё это она, Нюша. Нюшечка! «Оборвалась связь времён» – слова были чужие, а ощущение от них до одури своё. Без Нюши он был никто, ничто, ничей, без роду и племени.

Его никто не понимал, он всех раздражал своей ипохондрией. Тут и начали проявляться первые признаки контузии.

Дома ли в кресле, в полной расслабленности и отключённости от всех раздражителей, один на один с телевизором, в театре ли, в кино ли, в суете и праздничной приподнятости какого-то торжества, во внешне сухой и деловитой, но раскалённой изнутри добела всякого рода невысказанными противоречиями атмосфере очередного сверхважного заседания кафедры он вдруг, не ощутив никаких симптомов физического преображения или признаков перемещения в пространстве и во времени, обнаруживал себя на краю безлесного посёлка в маленьком убогом домишке, подставленном со всех сторон ветрам.

Он видел отца, который часами, сидя у маминых ног, целовал и гладил её изуродованные руки, а мама говорила тихо и быстро, часто вздрагивая и оглядываясь, будто за спиной у неё стояло что-то зловещее и угрожающее, что могло помешать ей договорить. Но ей мешал лишь собственный кашель. Отец никогда не перебивал её.

В то время Толик жил под постоянный аккомпанемент маминого возбуждённого шепота. Иногда, даже ночью, проснувшись по нужде, он слышал тот же шелестящий звук. Он помнит, как это раздражало его, хотелось сделать что-нибудь, сломать, как ломают надоевшую заводную игрушку, чтоб она перестала трещать.

Но мамин завод оказался недолгим, она замолчала навсегда.

Тогда заговорил отец, и в шумовом оформлении Толиной жизни изменились лишь частота и тембр звучания, да добавились неумелыми аккордами Нюшины охи, ахи да всхлипы.

В своих неожиданных галлюцинациях Анатолий и теперь всё видел, слышал и даже обонял так же остро и чётко, как тогда: раздражающий, влекущий со двора в дом запах жареной картошки, скрип половиц, треск продавленного матраца и мамин шёпот. Каждый звук, но ни одного слова.

Он напрягался до полного изнеможения, пытаясь усилием памяти, воли, очнувшегося, наконец, от летаргического сна сознания восстановить утраченные, пропущенные, не услышанные слова, такие теперь необходимые, обретшие высший смысл, важнее которого не было ничего в его жизни.

От бесплодных усилий у него вконец расстроились нервы, и заботливая тёща расстаралась – его отправили в какой-то закрытый санаторий. Там его нашли в полном порядке, только чуть подуставшим, окружили вниманием и заботой по высочайшему разряду. Он принимал предписанные процедуры, не смея никому признаться в том, что пытается услышать прошлое, и потому все изыски и деликатесы фешенебельного курорта бессильны помочь ему. Он мучился тем, что занимает чужое место, и с нетерпением невольника ждал конца срока пребывания.

Он был уверен, что его болезнь неизлечима. Однако месяц роскошной и праздной жизни, пусть и отягчённой внутренними противоречиями, не прошёл бесследно. Он несколько успокоился и примирился со своим душевным разладом, пришёл к выводу, что, в конце концов, никому не дано возродить прошлое, отреставрировать его, как старую заезженную граммофонную запись. И любой здравомыслящий человек не может не считаться с этим.

И всё же, всё же…

Ликованием и гордостью наполнялось его сердце, когда в насупленном от обиды изломе тонких белёсых бровей своей дочурки узнавал он мамино, силившееся казаться строгим лицо, или в походке и фигуре старшего сына – отцовскую уверенную поступь и стать, запомнившиеся с детства. Анатолий искал это сходство, ловил в нюансах и ракурсах, в непроизвольном движении или взгляде, не надеясь,

что это может послужить ему хоть каким-то оправданием. Нет, конечно же, нет, он просто находил в этом самому себе непонятное утешение, приют.

И потому с трудом сдерживал себя, когда во всём старавшаяся угодить мамаше Тамара с умилением щебетала:

– Гляди, Толюнечка, дочурка – вылитая мама. Видишь? А сынуля – копия моего отца, да, мамочка?

Они посягали на тайное его прибежище, хотели лишить последнего оплота. Но он не желал сдаваться и занимал круговую оборону, прекрасно, впрочем, понимая, что его агрессивность к окружающим объясняется лишь полным и ясным осознанием своей вины, единственно и только своей.

Его контузия, носящая волнообразный, сезонный, как аллергия, характер, особенно в полную силу проявлялась ранней весной.

Едва лишь наступал март, чёрной ниточкой связывающей многие события его жизни, последним из которых в цепи уже случившихся была Нюшина смерть, Анатолий начинал бессознательно, как чётки, перебирать эти чёрные бусины, нанизанные на чёрную нить, и словно бы становился дальтоником. Если бы его спросили, какого цвета март, он, не задумываясь, ответил бы: «черный».

И вместе с тем у него обострялось зрение и слух: он видел то, чего не было, и всякий раз ему казалось, что вот-вот и услышит то, что невольно когда-то прослушал.

Вот-вот…

«Ворона каркает – быть беде» – донёсся тревожный, щекочущий ухо Нюшин шёпот. Дочка рассмеялась звонким маминым смехом: «Не дурите ребёнку голову, Нюша, ворона не виновата, что по-другому говорить не умеет. – Смотрит на него: – Так говорила бабушка, я знаю».

Так, так, родная.

Всё стало на место. Мама вернулась.

НАТАЛИЯ КРАВЧЕНКО

РАЗМЫТЫЙ КОНТУР СИЛУЭТА

***

Дождик шёл, шелестел, нашёптывал,
закрывая небес экран,
что во мне сохранён скриншотами,
чтоб никто его не украл.

Не беда, что вокруг убого всё –
и в тиши, и в ночной глуши
достаю из себя как фокусник
всё что надобно для души.

Лишь почую слегка неладное –
как лекарство глотаю впрок
десять капель дождя прохладного,
Пастернака десяток строк.

Это сумеречное облако,
нежно-розовые мазки…
и вытаскиваю, как волоком
жизнь из холода и тоски.

А пригасится чуть горение –
распахну окно до зари,
и сдвигается фокус зрения,
и меняется всё внутри.

Строй дворец из воздушных кубиков,
что прочнее любых основ,
словно краску из пёстрых тюбиков,
суть выдавливая из слов.

Чтоб играть дорогими смыслами,
на палитре смешав в одно
сладость мёда с плодами кислыми,
высь небес и земное дно.

***

У радости есть утро,
а у печали – ночь.
Пустыня или тундра –
душа моя точь-в-точь.

Задрапирую горе,
принаряжу тоску.
Представлю нас у моря
босыми по песку.

Тот самый образ счастья,
что заберу с собой,
что станет мира частью,
полоской голубой.

За дымкою тумана
невестится заря,
высокого обмана
спасение даря.

В мечту свою одета,
тот берег берегу
и верится, что где-то
ты ждёшь на берегу.

***

Из раковины выскользну моллюском
и уплыву в безбрежные моря…
Не уместит души в пространстве узком
та раковина прежняя моя.

На небе я тебя не разглядела
и на земле следа не отыскать…
Но океан укроет оба тела,
и волны будут нежить и ласкать.

Нас молодыми помнит это море,
солёной облеплявшее водой,
когда к тебе из пены как из горя
я выходила на берег седой.

Мы будем плыть и плыть с тобой как рыбы,
среди растений, водорослей, мха,
а сверху будут нависать обрывы,
держась на тонкой ниточке стиха…

***

Под утро сон не отпускал, маня,
под веками мозаика крутилась…
Мой личный Бог всё знает про меня,
и я сегодня в этом убедилась.

Пока я вижу эти небеса
и лунный камень в облачной оправе,
пока я слышу птичьи голоса –
я сетовать на жизнь мою не вправе.

В свои стихи как в зеркало смотрюсь,
и будни мои праздничны и праздны.
Тоска смиренна и нарядна грусть,
и ничего не целесообразно.

Я в розовый бинокль вижу мир.
Достойного любви там очень много.
В душе горит негаснущий камин.
Да, я одна, но я не одинока.

Единственна… как все мы на земле.
Отмечена… и с неба светит око,
чтобы душа всегда была в тепле,
чтобы земля была не одинока.

***

Мечта моя, нелепа и проста,
пригрелась на груди моей змеёю:
исчезнуть без могилы и креста,
зависнув между небом и землёю.

И улыбаться вам издалека,
не отражаясь в зеркалах и взорах,
а словно месяц или облака –
в весенних лужах, реках и озёрах…

И видеть не глазами, а душой
то, что лицом к лицу не увидали.
Какой мне путь откроется большой,
какие сверху розовые дали!

Живу между сегодня и вчера,
расплачиваясь участью Орфея.
Вот, кажется, глаза лишь продрала,
как их спешит закрыть ночная фея.

Вот, кажется, лишь только родилась,
а смерть уж дышит сумрачно в затылок.
А я ещё любви не напилась,
как вдруг – «замри», и всё навек застыло.

Душа – осиротевшая вдова,
сломался несгибающийся стержень.
И только дети – нищие слова –
её ещё на белом свете держат.

Меняются местами тьма и свет,
то ангел нами правит, то исчадье.
Открылись губы, чтоб сказать «привет»,
а надо говорить уже «прощайте».

***

Когда всюду мрак – не укрыться в тени,
за линзами розовых стёкол…
В пространство высокое руки тяни,
где сгиб в одиночестве сокол.

И небо, и ветер – всё это про нас…
Но я не Шагал и не птица,
я так высоко забралась на Парнас,
что вряд ли сумею спуститься.

Там свет ослепляет своей синевой,
с душой в поединке встречаясь…
Но мир изменяется, и за него
я больше уже не ручаюсь.

Да будет всё то, что живёт вопреки,
всё то, к чему дышишь неровно.
Да будут чисты мои черновики,
исчёрканы, но – чистокровны.

***

Когда кругом одна кромешность –
мне свет невидимый ясней.
Как в облако вплываю в нежность
и обволакиваюсь ей…

О ты, души моей потреба,
пари и плачь, гори вдали.
Земля в дожде – жилетка неба,
а небо – эталон земли.

Зачем и кем дано нам это –
забытый запах, прошлый снег,
размытый контур силуэта
и эхо слов, которых нет?

Чужих людей родные лица,
обрывки непонятных фраз,
всё это было или снится,
и сбудется ещё не раз…

Пойти опять на наше место,
надеть твой жемчуг и финифть,
стихи затеять словно тесто,
день словно песню сочинить…

Чтоб было светлым без печали,
весёлым облако из грёз,
чтобы в конце всё как вначале,
и праздник хоть бы раз без слёз.

ЛЮДМИЛА СВИРСКАЯ

СОЛОМИНКА ПОСЛЕДНЕГО СТИХА

***

Расходятся, скрипя, дощечки у моста.
У мостика – мне скажется вернее.
Над Летой, как всегда, такая пустота,
Что задержаться хочется над нею.
На берег «тот» легко попасть со всех сторон,
Без ветки золотой – когда бы если…
На пенсию ушёл измученный Харон:
Возил туда-сюда. Баркас и треснул.
Застыли облака. Осенний ветер стих.
Под небом лишь свобода от печали.
Я здесь касаюсь всех: любимых и чужих,
И мёртвых от живых не отличаю.

***

Апрель был продолженьем февраля,
А май так неожиданен и кроток!
Когда в тартарары летит Земля,
Хрипящий Amen вытянув из глоток,
Когда последней кажется весна
На стоптанных обломках жизни прежней, –
Спасительная райская волна
Накатит под цветущею черешней.
Опавший лепесток, лизнув ладонь,
В траву сползёт тяжёлой каплей мутной…

Мчит в темноту надежды белый конь,
Теряющий подковы поминутно.

***

До магазина – и обратно.
На полчаса – и вновь домой,
Скрывая солнечные пятна
За дождевою бахромой.
Не пустота, не грусть, не скука.
Всё в строгих рамках бытия.
Уходит лето? Вот в чём штука:
Я ухожу из лета.
Я.

***

Ты проснёшься однажды с осенью в головах:
Юный твой ренессанс золотым увенчался барокко.
Осень – Пёрселл и Рубенс. А самое главное – Бах.
Чай с лимоном с утра или чашка ванильного мокко.

Ты привыкнешь. Поймёшь. Что барокко твоё – навсегда.
Утверждается осень приметами, звуками, снами.
Каждый день опадает листва, как большая беда,
Что случилась не с нами…

Закури и глотни – в старом термосе чай с имбирём,
Чтоб ненастью внутри не давать ни малейшего шанса…
Счастье – вовремя скрыться тихонечко за ноябрём
И с листвою смешаться.

***

Последний час июльской ночи тесной
С пятном на небе тающей звезды.
Творю своё бездрожжевое тесто,
Добавив соль и капельку воды.
Пока ночные грёзы в доме гаснут,
Царит недолгий утренний покой,
Пеку лепешку пресную на масле,
Слегка припорошённую мукой.
Я не люблю воздушность сладкой сдобы
И, как могу, всю жизнь творю сама
Свои стихи бездрожжевые, чтобы
Мне не сойти от голода с ума.

***

Ни денег, ни славы. Лишь двое детей-непосед.
На ужин – картошка с французской комедией в восемь.
Напрасно ругает жару возмущённый сосед:
Уже на подходе мадам пунктуальная – Осень.

Империя Лета! Как скоро ты рухнешь к ногам,
Шурша обречёнными листьями нощно и денно…
Но мне безразлично: назло и векам, и врагам
Своё лаконичное платье я гордо надену –

Пройду через парк, как сквозь толщу роскошных витрин,
Любуясь блестящей, чуть смуглой, родной черепицей…
А осень близка: непогода, тоска, аспирин…
Мне б сотней последней навек от неё откупиться.

***

Видно, время пришло такое: обманутых ожиданий.
Впрочем, если совсем по-честному, я уже ничего не жду.
Осень – это ехидна. Помаячила – и до свидания.
А зимы у нас не бывает. Она как экзотический какаду.

Я бы хотела уехать куда-нибудь на Мальдивы.
Просто сидеть под пальмой – среди таких же зевак и растяп.
Я не то чтобы думаю, что успею побыть счастливой
В этой короткой жизни. Просто побыть – хотя б.

Можете запрещать мне счастье, боги, премьер-министры
Или кто там ещё: моей жизни директора…
У меня есть стихи и дети. Это, конечно, мало и быстро.
С ними «завтра» бессмысленно – но, правда, очень греет «вчера».

Недавно мне приснилась берёзовая аллея
(А ведь сроду их не было здесь, в нашем местном раю).
Я как эта… Эдит Пиаф… «ни о чем не жалею»
И как эта… забыла… пишу себе и пою.

***

Ни единым облаком не хмурясь,
Замаячил мартовский денёк.
Я с тобою, кажется, рифмуюсь,
Хоть и многим это невдомёк.
Друг от друга нас не отпуская
И на половинки не деля,
Бьётся рифма – женская – мужская,
На которой держится земля.

***

Вчера панихида была по зиме.
Мы все её в путь провожали последний.
А следом шёл снег по уставшей земле –
Бездомный, в права не вступивший наследник.
Летели снежинки в весеннюю грязь,
Срывались со скользких натянутых веток…
Снег шёл торопливо, как будто боясь
Куда-то ещё опоздать напоследок.

***

Мы в карантине: ты и я.
Я на балконе, ты на фото.
Не изменилась жизнь моя
С момента твоего ухода.
И ощущенье, как в кино:
Сижу, смотрю и жду финала.
А ты ушёл давным-давно,
По руслам высохших каналов,
Свободен, дерзок – и один,
Ты вырвался из группы риска
Туда, где вечный карантин,
Откуда только к солнцу близко.

***

Билеты продаются в том окне –
Куда- то. А вернее, для чего-то.
И запертые наглухо ворота
Становятся податливее мне.
Там чей-то голос (только голоса
У нас ещё не заперты покуда)…
Он спрашивает, что я делать буду
В ближайшие два с четвертью часа.
Дышать. Бежать за солнцем, вдоль реки,
Постукивая термосом глинтвейна,
И трогать по пути благоговейно
Массивные висячие замки…
Приснится же такая чепуха!
Год двадцать первый. Третий день суровый.
На ощупь я бреду. И держит снова
Соломинка последнего стиха.

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

ХОРОШО
путевая проза
окончание

Глава восьмая. Лимассол и Акротири

Наше утро начинается обычно – завтрак во дворе, под пальмой, Шопен и общение с кошками, которые буквально роятся вокруг нас. Собственно, они роятся вокруг всех, кто проявляет хоть чуточку эмпатии. Котов на Кипре давно уже больше, чем людей, и они не выглядят несчастными, так что эмпатии пока хватает.

После я отвожу сына в школу и еду к морю.

Послезавтра мне улетать, поэтому нужно впитать в себя как можно больше того, чего не найдёшь в Праге – солнца, моря, кипрских запахов, любви к жизни, в основе которой – природное изобилие и умение им наслаждаться.

Сегодня ветрено, и на Курионе наверняка волны. Но меня всё равно неудержимо тянет туда. Отвезя сына в школу, я выезжаю на трассу, через десять минут съезжаю с неё в направлении Эрими, проезжаю давно ставшую родной деревню и еду дальше, в Episkopi. Вот невысокий минарет крошечной мечети, киоск, в котором продают свежую клубнику… Задумавшись, я поворачиваю налево раньше, чем нужно, и уезжаю на полуостров Акротири, в сторону британской военной базы.

Ну что ж, так даже интереснее.

Именно тут, на Акротири, жили десять тысяч лет назад первые киприоты. Но как найти пещеры, в которых обнаружили их останки – вместе с костями карликовых бегемотов и прочих экзотических животных? Я даже места раскопок, которые ведут итальянцы в Эрими, до сих пор не нашёл – так тщательно они их маскируют.

Ну ладно, зато можно увидеть наконец те самые песчаные дюны, о которых я так много читал.

Через десять минут я подъезжаю к пропускному пункту британской военной базы. Во время войны в Сирии отсюда с рёвом взлетали истребители. Или бомбардировщики. В этом я, увы, ещё не разбираюсь, но шум всё равно был страшный. Хотя английских истребителей тут, на Кипре, никто не боится – иногда они чертят сердечки в небе над Лимассолом.

Я поворачиваю направо и доезжаю до знака *Akrotiri Fishing Shelter*. Теперь – налево. Дорога становится значительно хуже, но я не сдаюсь и в конце концов выезжаю к морю у рыбного питомника Акротири. Дюны начинаются здесь.

Ну что же, они забавные. Если лечь на золотисто-коричневый песок где-то рядом с островком низкого кустарника, можно вообразить, что ты в Сахаре. Но только если лечь. Потому что, когда стоишь, видно, что дюны эти совсем небольшие. Ничего особенного. Разве что ноги увязают в них с каждым шагом всё глубже.

Вытащив из песка кроссовки, я пошёл к машине. И вспомнил удивительный случай, произошедший с нами совсем неподалёку.

Кажется, это было лет пять назад, в августе или сентябре. В общем, тогда, когда солёное озеро тут, на Акротири, пересыхает почти полностью, и в оставшейся лужице робко топчутся небольшие группки фламинго. В тот год на озере, помимо тысяч обычных розовых, зимовали несколько чёрных птиц – экзотика, о которой писали все местные газеты. Зимой фламинго можно разглядеть лишь в бинокль – озеро разливается широко, и они предусмотрительно держатся ближе к центру. Но летом немногих птиц, почему-то решивших остаться на Кипре, можно увидеть вблизи.

По крайней мере, я так думал.

Озеро хорошо видно с балкона нашего дома в Эрими. На балкон я выходил редко – для этого нужно было подняться на третий этаж, служивший нам складом для вещей и картин. Но в то субботнее утро мне приспичило сделать инвентаризацию коллажей Саши Лисовского. Пересчитав их, я в кои-то веки решил выйти на балкон. И увидел, что от озера почти ничего не осталось.

В ту же секунду мне в голову пришла безумная идея – подъехать на машине как можно ближе к воде, чтобы рассмотреть фламинго во всём их великолепии.

Дети – мы жили тогда на Кипре все вместе – восприняли идею с энтузиазмом и собрались за пять минут.

И раз уж мы решили туда ехать, грех было не заглянуть в знаменитый кошачий монастырь Агиос Николаос тон Гатон. Знаменит он многим. Во-первых, он считается одним из старейших на острове. Как и Ставровуни, его в 327 году основала Святая Елена. Тот год был страшно засушливым, и змеи заполонили весь остров. Елена повелела прислать из Александрии корабль с кошками, которые и перебили змей. «Кошачий» корабль причалил к мысу Гата, самой южной оконечности Кипра. Точнее, причалил просто к самому южному мысу, а название своё – Кошачий мыс – он получил как раз из-за всей этой истории. С тех пор кошки размножились тут невероятно.

Йоргос Сеферис написал об этом драматическое (собственно, других у него почти нет) стихотворение «Кошки святого Николая»:

«А вот и Каво-Гата, – молвил капитан
и показал на низкий голый берег,
едва видневшийся за пеленой тумана. –
Сегодня рождество. Вон там, вдали,
в порывах веста из морской волны
явилась Афродита. Камнем Грека
зовётся это место. Лево
руля!»

Так вот, когда-то страшное несчастье
постигло этот край. За сорок с лишним лет –
ни одного дождя, и остров разорился,
и гибли люди, и рождались змеи.
Мильоны змей покрыли этот мыс,
большие, толще человеческой ноги, и ядовитые.
И бедные монахи монастыря святого Николая
ни в поле не осмеливались выйти,
ни к пастбищам стада свои погнать.
От верной гибели спасли их кошки,
взращённые и вскормленные ими.
Лишь колокол ударит на заре,
как кошки выходили за ворота
монастыря и устремлялись в бой.
Весь день они сражались и на отдых
недолгий возвращались лишь тогда,
когда к вечерне колокол сзывал,
а ночью снова начиналась битва.

Да уж, серьёзный поэт не может позволить себе писать лёгкие стихи.

Монастырь всё ещё действует, сейчас он женский. Тут живут несколько десятков худых облезлых кошек. В общем, приезжать сюда имеет смысл только ради прикосновения к истории.

Мы немного побродили по монастырскому двору, осторожно погладили голодных кошек и вернулись в машину.

Нас ждало солёное озеро.

Въехать на него оказалось не так-то просто, и мы долго искали прореху, прогалину в камышах, растущих вдоль кромки берега. И вот – бинго! Следы от колёс приехавших раньше нас автомобилей явно указывали, что мы на верном пути. Выехав наконец на озеро, поверхность которого походила на лунный пейзаж, я старался ехать медленно – кто знает, в какой момент высохшая грязь сменится водой. Где-то вдалеке, как мираж, виднелись тонкая полоска воды, розовые точки фламинго и Лимассол. В нескольких десятках метров впереди нас двое парней на гоночной машине нарезали круги по высохшей поверхности озера, но вглубь не ехали. Я же решил ехать вперёд до тех пор, пока буду видеть на песке, смешанном с солью и землёй, следы чужих колёс. Мы ехали и ехали, но фламинго так и не становились ближе. Зато берег озера становился ощутимо дальше. Окружающий пейзаж напоминал кадры из любимой «Кин-дза-дзы», и мы, не в силах сдержать восторг, решили выйти из машины, чтобы потрогать ногами сухие чешуйки перемешанных земли и соли.

Это и стало роковой ошибкой.

Сделав с десяток фотографий, мы запрыгнули в машину, и я попытался тронуться с места.

Колеса тут же зарылись в песок, оказавшийся мокрым. Сухая корочка солёной земли была необычайно тонкой.

Я открыл багажник в надежде найти там что-нибудь типа лопаты, но в арендованной машине ничего такого, конечно же, не было.

Я попробовал тронуться ещё раз, на этот раз еле давя на газ, но мы зарылись ещё глубже.

Софронис, хозяин машины, не был рад моему звонку утром выходного дня, но деваться было некуда.

– Я сейчас позвоню знакомым, и они приедут вас вытащить, – сказал он обречённо.

Полчаса ожидания тянулись необычайно долго. В машину мы уже не садились, чтобы не погрузиться в песок ещё больше; фламинго были всё так же далеко, и даже самое большое увеличение на камере телефона не позволяло сфотографировать их по-человечески; никто больше не пытался повторить наш подвиг и не выезжал на кажущуюся твёрдой солёную поверхность озера.

Наконец на горизонте появился джип. Он явно направлялся к нам.

Дети начали прыгать от радости, но я прекратил это – не хватало ещё и их джипом вытягивать.

Двое озабоченных мужчин весьма зрелого возраста вышли из машины, покачали головой – видимо, думая о том, какой же я балбес – и бодро вытащили две длинные доски.

– Не поможет, – сказал я обречённо. – Нужна лопата.

Не слушая меня, они подложили доски под колёса моей машины, привязали к ней трос и сильно дёрнули своей.

Моя с места не стронулась, а вот их завязла в песке.

Они выскочили из джипа, озабоченно почесали затылки (клянусь!) и стали обсуждать, что со всем этим делать.

– У вас есть лопата? – спросил я без всякой надежды.

Оказалось, что есть.

Через пять минут, обкопав колёса двух наших машин, мы с помощью тех же досок смогли выехать.

– Теперь быстро езжайте обратно и не останавливайтесь, – сказал нам старший, выхватил из моей руки пятьдесят евро, и они умчались вперёд, подальше от таких безумцев, как мы.

Собственно, можно было и не объяснять. Лишь выехав на дорогу, мы смогли перевести дух.

И всё же то субботнее приключение было прекрасным.

Сегодня я решил его не повторять, а просто вернуться домой и поработать.

Обратный путь лежал через Колосси. Деревушку, главным сооружением которой является замок, построенный ещё в XIII веке королём Кипра Гуго I де Лузиньяном.

Эту каменную башню я облазил вдоль и поперёк ещё в самый первый приезд на остров, в сентябре 1999-го. И повторил это потом множество раз. Замок Колосси исполнен какой-то притягательной силы – может быть, потому, что он выглядит чрезвычайно экзотично среди буйной субтропической растительности, а может быть, и потому, что им в своё время владели госпитальеры и тамплиеры, за которыми по сей день тянется шлейф тайн.

Госпитальеры занимались здесь выращиванием сахарного тростника. Сейчас это кажется невероятным, но развалины бывшего сахарного завода сохранились до сих пор. И, конечно же, здесь выращивали виноград – именно отсюда пошло знаменитое кипрское вино «Коммандария», которое Ричард Львиное Сердце, сыграв в Лимассоле свадьбу, назвал вином королей и королём вин. Лузиньяны, владевшие Колосси несколько столетий, процветали в первую очередь благодаря тому, что у них было достаточно воды для полива – рядом протекала самая полноводная река Кипра, Курис. Сейчас это кажется фантастикой – реки на острове обмелели, и для сохранности драгоценной воды были сооружены дамбы. Дамба Курис – самая большая из них. Со времени своего сооружения, за почти сорок лет, она переполнялась всего трижды; широкое сухое каменное русло реки тянется от гор до моря почти четырнадцать километров. Чуть выше Эрими, недалеко от деревни Канту, на когда-то полноводном берегу стоит крошечная церквушка Айя-Напа, исполненная всей той прелести, которой исполнены все крошечные кипрские церквушки. Я приезжаю туда при первой возможности и ни разу не видел там ни одного человека – но дверь её всегда приоткрыта, в подсвечниках-кандилах горят свечи, и в полной тишине тебя охватывает чувство какой-то торжественной святости.

А ещё в Колосси, прямо у замка, есть крошечный сувенирный магазинчик, которым владеет уже несколько десятилетий местная семья. Главным его сокровищем является апельсиновый фреш, который хозяева делают со всей душой. Вкуснее его я на Кипре не пробовал. Внутреннее помещение, как обычно на острове, уставлено и увешано фотографиями всех членов семьи и газетными и журнальными вырезками о них и их крошечном магазине. Многие годы я перебрасывался парой фраз с хозяином, совсем уже пожилым мужчиной; в последний приезд сок наливала уже его дочь…

Эта традиция укоренения на одном месте меня поражает меня до сих пор, хотя я уже привык к этому. Не ездить по миру в поисках лучшего места и лучшей работы, не гнаться за самым успешным успехом, не пытаться устроиться в компании с громкими именами, а просто делать своё дело на одном месте на протяжении всей жизни – кипрская традиция, которая, к счастью, ещё жива. И люди, которые её поддерживают, кажутся мне скромными героями. Как, например, женщина, встреченная мною однажды в чудесной деревне Лефкара, славящейся своим знаменитым кружевом, которое так и называют – «лефкаритика». Рассказывают, что скатерть, вышитую лефкаритикой, купил в 1481 году сам Леонардо да Винчи – и увёз её в Италию. При всей своей привлекательности, в Лефкаре множество пустующих домов, люди уезжают из деревень в большие города, в другие страны, но та женщина, сидевшая на пороге крошечной лавки и плетущая кружева, рассказала мне, что специально вернулась из Лондона, чтобы продолжать традицию, передающуюся в их семье уже две сотни лет по женской линии. Дети её разъехались по миру, но она хочет прожить остаток своих дней и умереть в родной деревне, а ремесло, которому мать учила её в детстве, помнит до сих пор.

Или никосийский сапожник Ахиллеас, Ахилл, чья небольшая, пыльная и захламленная до невозможности мастерская находится всего в двух кварталах от линии разграничения, перехода на северную сторону. Встречу с ним я помню так ярко, словно она была вчера. Пройти мимо его мастерской было невозможно – вход в неё увешан самодельными плакатиками с духоподъёмными надписями вроде таких:

«Мы должны судить друзей по их поступкам, а не по их словам».

«When nothing goes right, go left».

«Fashion is what you buy. Style is what you do with it».

Ну, а внутри чего только не было – помимо собственно ремесленных принадлежностей, каждый квадратный сантиметр был увешан иконами, афишами, фотографиями самого Ахиллеаса и членов его семьи и, конечно же, пожелтевшими от времени газетными вырезками, в которых рассказывалось о нём.

– Я родом из самой лучшей на Кипре деревни Помос, – сказал он, показывая фотографию с женой, сделанную, судя по всему, лет тридцать назад. – Во-первых, там лучший на острове климат. Во-вторых, наша деревня знаменита на весь мир.

С этими словами он достал их кармана монету в один евро и показал мне её реверс с известным всей Европе изображением помосского идола – фигурки, найденной именно там и относящейся к 30-му веку до нашей эры.

– Как давно вы тут работаете? – спросил я его, подумав: «Судя по количеству пыли, давненько».

– Почти двадцать лет. Всю жизнь я работал в обувном бизнесе, а когда заболела жена, открыл эту мастерскую. Я живу под Никосией и езжу сюда каждый день на автобусе. На работу, как на праздник. Сейчас мне восемьдесят четыре.

Мы болтали с ним тогда почти час, и приподнятое настроение сохранялось у меня весь день.

Вот эта верность выбранному пути, традиции, верность месту кажется мне, больше всего боящемуся стать невостребованным, ненужным, забытым, а значит, постоянно суетящемуся, чем-то невообразимо сложным и даже героическим. И главное тут – верность месту, верность этому крошечному острову, зелёно-золотому листу, брошенному в Средиземное море.

Я проехал Колосси, Эрими и через пятнадцать минут уже был у себя во дворе. К счастью, сейчас я тут совершенно один – все постояльцы расползлись по экскурсиям и пляжам.

Как прекрасно одиночество! Иногда оно необходимо, как воздух. Поверхность воды лишь тогда без искажений отразит луну, когда на ней не будет волн. И как прекрасно писать в пустом дворе нашего гостевого дома, в послеполуденные часы, когда тень от пальмы накрывает его почти полностью, а розовые цветы в больших глиняных горшках, впитав в себя за первые полдня свет и тепло, отдают любому желающему свои лучшие ароматы.

Тут главное – совладать со сном.

Послеполуденная сиеста даже на Кипре сейчас кажется анахронизмом. А ведь всего двадцать лет назад после часу дня здесь закрывались офисы и банки, а нотариус мог сказать тебе: «Приходи после четырёх, когда спадёт жара, сейчас я всё равно ничего не соображаю». Сейчас же деловая и прочая активность в Лимассоле не прекращается ни на минуту. Поэтому за «старым добрым Кипром» нужно ехать в деревни или в Никосию, бродить по узким улицам старого города и говорить со стариками, которые до сих пор работают руками – портными, обувщиками, парикмахерами.

Увы, сейчас дневной сон мне не грозит – нужно забрать из школы сына и поехать куда-нибудь пообедать. Выбор кафе – всегда дело настроения. Обычно я уже с утра знаю, куда хочу пойти и что именно съесть. Но бывают такие дни, как сегодня, когда всё кажется приевшимся и надоевшим.

Коротко посовещавшись с сыном, мы решили поехать на пляж в Гермасойе, немного прогуляться по набережной в сторону Аматуса и там уже принять окончательное решение.

Кстати, заодно можно посмотреть на тот чудом сохранившийся дом у моря, о котором рассказывал Ираклис Скирианнидис.

И вот мы уже поворачиваем налево за «МакДональдсом», оставляем машину у гигантской стройки – здесь заканчивают строить небоскрёб *Del Mar* – переходим дорогу и идём вдоль моря.

Дом Ираклиса на месте. Он совсем небольшой, не отгорожен никаким забором и кажется заброшенным, но я уже знаю, что это не так.

Мы идём дальше, в сторону Аматуса, туда, где начинается чудесная дорожка вдоль моря. Справа тянется густо заросший цветами и кустами двор давно казавшейся мне заброшенной таверны с огромной вывеской над входом, на которой к голове смешного пожилого мужчины были приделаны щупальца осьминога. Надпись на вывеске была на русском и гласила: «Мистер Осьминог. Рыбная таверна Хай Чапарал». За многие годы на Кипре я ни разу не видел там ни одного человека. Всё это казалось скорее заброшенными декорациями, нежели действующим заведением – хотя свечи в небольшой пареклисио горели всегда. Вот и сейчас мы с сыном шли мимо и вдруг увидели во дворе таверны семью, маму с дочкой, которые разглядывали каких-то птиц в клетке. Сам факт наличия там людей и даже каких-то птиц поразил меня настолько, что я немедленно потащил сына вовнутрь, в гущу кустов, чтобы тоже рассмотреть обитателей клетки, да и вообще сам двор заведения. Разросшиеся пальмы, заброшенный мангал, череда столиков под прохудившимся навесом, потрескавшаяся плитка, вмонтированная в бетонный пол, огромное каменное сердце с надписью на русском: «Я вас люблю. Ангелос», а рядом – огромная дырка в полу, сквозь которую видно море – всё выглядело чрезвычайно экзотично и опять же никак не наводило на мысль о том, что таверна может работать. Но почему тогда на столах чистые скатерти, солонки с перечницами, бутылки с оливковым маслом?

Голубые в белую клетку скатерти на фоне бирюзового моря выглядели очень живописно. Фотографируя их, я не заметил, как рядом с нами оказался удивительного, гротескного вида мужчина. Загорелое его лицо резко контрастировало с волосами какого-то удивительного бело-рыжего цвета. То ли он красил их хной, то ли это вообще был парик. Одет он был в белый поварской халат и белые штаны. Ошибиться было невозможно – именно его голова красовалась на вывеске.

Рядом с ним стоял огромный пёс.

– Вы у нас в первый раз? – улыбаясь, спросил он.

– Да, – честно ответили мы.

– Пойдёмте, я расскажу вам о себе и своей лучшей в Лимассоле рыбной таверне.

Движимые любопытством, мы послушно последовали за ним внутрь большого и повидавшего виды помещения, где вдоль стен были расставлены столы с фотографиями хозяина, его семьи, старого Лимассола, рядами висели грамоты, благодарственные письма, газетные вырезки и иконы.

Типичный кипрский набор.

– Меня зовут Ангелос, но лучше называйте меня Мистер Осьминог. Я открыл эту таверну 15 марта 1968 года, когда нашим президентом был ещё архиепископ Макариос.

Он подвёл нас к столику, на котором стояли две фотографии.

– Макариоса вы узнали, а это – я в год открытия.

С фотографии на нас смотрел молодой мужчина с густыми чёрными волосами.

– Тогда здесь не было ни воды, ни электричества. Воду мне привозили на осликах, а электричество мне давал аккумулятор от моей старой машины. Все говорили, что я сумасшедший, но я всегда был уверен, что это – лучшее место не только в Лимассоле или на Кипре, но и на всей земле. Все эти годы я готовлю здесь сам. Было время, когда я решил положиться на помощников, но это было ошибкой. Больше я её не повторяю, и своего фирменного осьминога всегда жарю сам.

Мы ходили с ним вдоль стен, и он рассказывал о каждой фотографии.

Интерьер таверны был необычайно пестрым даже для Кипра. Неровный, перекосившийся от времени пол, прохудившаяся дранка на потолке, роскошные плетёные кресла с застиранными подушками – всё говорило о затянувшемся упадке этого когда-то, судя по всему, популярного места.

– Этот шкаф стоял много десятилетий в доме моей матери, – сказал мистер Ангелос, подведя нас к огромному буфету. – Детям он не нужен, и я забрал его сюда. Дети мои давно выросли и всё время уговаривают меня бросить своё занятие, закрыть таверну и переехать к ним. Но это невозможно. Я провёл здесь всю свою жизнь и хочу здесь умереть. Я буду работать до последнего дня, потому что, принимая гостей, я могу выразить им свою любовь. А любовь, передающаяся от сердца к сердцу – это самая главная вещь на свете.

Говоря это, он был похож на проповедника. Это было необычайно трогательно.

– Вы наверняка хотите пить. Чем вас угостить?

Мы попросили апельсиновый фреш и спрайт. Через минуту он принёс их нам. Разумеется, не попросив никаких денег – на Кипре так принято.

– Вы можете остаться и рассмотреть всё внимательно, – сказал Ангелос. – А мне нужно сходить в магазин. Запру только собаку.

Мы сделали добрую сотню фотографий этой необычайной таверны и вышли во двор. Собака действительно была привязана, но цепь была такой длинной, что она могла свободно гулять по двору. В Праге я не обратил бы на это никакого внимания, собаки у нас чрезвычайно воспитаны, но здесь, на Кипре, их обычно тренируют для охраны домов.

Однако пёс не проявил к нам никакого интереса.

Лишь теперь я увидел висящий сбоку от входа огромный плакат с надписью: «Господь указал мне этот путь… И я следую за ним! Жизнь – это любовь, и любовь – это жизнь».

Кипрские встречи – это откровение за откровением.

В конце концов мы с сыном поехали в центр, к замку Ричарда. Вокруг него – с десяток отличных кафе. После обеда я проделал непременный кипрский ритуал – постригся. Если пару лет назад я ходил в парикмахерскую к сирийским арабам, то теперь в Лимассоле открылось несколько отличных заведений с русскоязычным персоналом. За несколько лет демография острова вновь изменилась. В начале двухтысячных его называли «островом одиноких жён», потому что мужья оставались работать в своих странах, а теперь тут множество молодых людей из Украины, Беларуси, России, Казахстана, которые учатся и работают. Постригший меня Игорь был родом из Кемерово.

– В моём городе делать нечего. Я думал переезжать в Питер, но друг сказал, что можно пожить на Кипре. Я здесь уже два года и счастлив.

Я не поленился и «погуглил» статистику. Двадцать процентов сегодняшнего населения Кипра – иностранцы. Больше, кажется, только в Люксембурге.

Вечером мы с сыном гуляли по нашей деревне, и я с грустью думал о скором расставании.

Прогулки вообще идеальное время для размышлений. А прогулки под чёрным, усыпанным звёздами кипрским небом – тем более.

Много лет назад на греческом острове Тинос, под таким же чёрным, усыпанным звёздами небом, я читал местной и приезжей публике свой текст под названием «Философия как основа писательства». И, хотя я критиковал там Платона, критиковавшего искусство, до сих пор не уверен, что он был неправ.

Можно ли сказать, что искусство – это игра? Считается, например, что философия – это серьёзно, а искусство – развлечение. Хотя лучшие образцы литературы поднимают и разбирают самые сложные философские вопросы. Возможно, дело в чувствах. Если верить Толстому (а кому ещё верить, если не ему), «искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передаёт другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их». И если художественная литература – способ передачи чувств, то можно ли нехудожественную литературу определить как способ передачи знаний? И если серьёзно всё то, что связано с обеспечением и сохранением жизни, а остальное – приятное дополнение, развлечение, без которого, в конце концов, можно обойтись, то, вероятно, не стоит воспринимать искусство так серьёзно?

Возможно, поэтому философия и воспринимается серьёзнее, чем искусство. Вообще серьёзным кажется всё то, что не смешно, а ещё лучше – связано со страданием, а несерьёзным – то, что связано с удовольствием. Но ведь все мы стремимся избавиться от страданий! Все религии мира только на это и направлены – как в конце концов избавиться от страданий и зажить в вечном блаженстве. Значит, если избавление от страданий серьёзно, то и веселье, развлечение – высшая степень серьёзности?

Это раз.

Но ведь искусство тоже пытается объяснить и мир, и нас самих. И сильнейший катарсис – когда в произведении искусства мы видим не только самих себя, но и способ избавления от страданий, преодоления их.

Это два.

Основатель эстетики Баумгартен считал, что объектом логического познания является истина, а объектом эстетического, то есть чувственного познания является красота, то есть совершенное, познанное чувством. А истина – совершенное, познанное рассудком.

И никто не решится сказать, что истина важнее красоты. Или наоборот.

Одинаково важно всё.

На самом деле сейчас все эти рассуждения я использую для того, чтобы убедить себя в том, что нонфикшн не менее важен, чем фикшн.

А может быть, для того, чтобы начать писать по-настоящему, нужно забыть обо всех эгоистических устремлениях, запрятать подальше тщеславие, максимально отстраниться от собственного «я» и попробовать стать инструментом, который резонирует с какими-то вибрациями, улавливает темы и настроения и просто передаёт их? Мол, не я пишу, а мной пишут? Может быть, «эго» как раз и мешает стать таким инструментом? Недаром даосы говорили о том, что нужно уменьшить собственное сияние. И тогда можно стать не просто глазами Создателя, инструментом, с помощью которого он изучает сам себя, но и в какой-то степени его устами, руками, не только наблюдая, но и делясь этими наблюдениями. Хотя, может быть, такие мысли – ещё большее тщеславие.

«Ни одному художнику ещё не удалось воспроизвести на полотне природу», – писал Миллер. «Ни один писатель не смог передать нам свою жизнь и свои подлинные мысли. Автобиография – это чистой воды роман… Я взялся за писание с искренним намерением рассказать правду о себе. Недостижимая цель! Что может быть фиктивнее, чем история нашей собственной жизни?»

Пожалуй, он прав.

В общем, главное – писать честно, не стараться понравиться читателю и не сравнивать себя с другими.

А это, конечно, невозможно.

Глава девятая. Возвращение

Возвращение с Кипра в Германию шокирует – как будто из цветной итальянской комедии попадаешь в чёрно-белый артхаусный фильм о проблемных подростках. Почти час тащишься в поезде из аэропорта на вокзал, где возле входа всегда дежурит вереница полицейских машин, на которые не обращают никакого внимания нищие, попрошайки и прочие подозрительные личности. Действительно, бедность в большом городе сильнее бросается в глаза. Мой кипрский приятель, поляк Гриша, живущий на острове уже шестнадцать лет, всегда с отвращением рассказывает о путешествиях на материк – в Лондон, Париж или даже Афины. Толпы, грязь, суета… Кажется, я начинаю его понимать. Может быть, и вправду лучше быть своим в кипрской деревне, чем чужим в большом городе. Хотя, конечно, эти мои мысли недолговечны – а какие, собственно, долговечны? – и наверняка я забуду о них спустя несколько дней.

Девушка-венгерка на ресепшн отеля просит справку с результатами теста. Узнав, что я приехал не из Праги, а с Кипра, успокаивается.

– Там плюс двадцать девять, а тут на двадцать градусов меньше. Я вчера купался и даже немного сгорел, – грустно говорю я.

– Вообще не понимаю, зачем вы оттуда уехали, – отвечает она.

Первую половину вчерашнего дня я провёл на пляже. В этот раз – возле гостиницы и марины Сен-Рафаэль, где я когда-то целых три месяца учился на шкипера.

На пляже было свежо и ветрено, но вода была ещё тёплой, и после купания, завернувшись в полотенце, я читал биографию Баха. Для меня он – чудо, человек, находившийся на прямой связи с Богом, связи постоянной, и, возможно, осознаваемой. Я почувствовал вдруг, что есть безусловное, постоянное, вечное добро и счастье, источник всего самого хорошего, и некоторым из нас дано соприкасаться с этим источником чаще, чем другим.

Вдохновение возникает как раз в короткие моменты такого соприкосновения. И не пользоваться в такие моменты для выражения своих чувств тем инструментом, которым владеешь лучше всего – языком, нотами, красками – глупо и даже кощунственно.

Состояния. Всю нашу жизнь определяют состояния, всю жизнь мы гонимся за лучшими из них – счастьем, блаженством, умиротворением. Умение подольше сохранять в себе эти состояния нужно тренировать, оно бесценно.

Удивительно, что крошечная улочка рядом с нашим гостевым домом носит имя именно Баха. Ну что же, пора осуществить свою мечту и поехать в Лейпциг, в Томаскирхе.

Вчера вечером мы с сыном были в лучшем на острове стейкхаусе в *Columbia Plaza* – это уже стало нашей традицией; а сегодня рано утром, когда я уезжал в аэропорт, он, почти никогда не выражающий свои чувства, долго обнимал меня. Надеюсь, карантин не помешает ему прилететь ко мне на рождественские каникулы…

Время в полёте пролетело незаметно – в те минуты, что я не спал, я пытался сформулировать для себя причины, по которым люди пишущие берутся за это дело.

Их получилось пять.

Первая – это желание заработать. Григорий Чхартишвили в своих интервью честно признаётся в том, что взялся за написание детективов именно поэтому. Это редкая удача, огромное счастье – зарабатывать писательским трудом достаточные для жизни деньги. Джон Стейнбек сказал когда-то, что по сравнению с писательством игра на скачках — солидный, надёжный бизнес.

Вторая – желание прославиться. Тут всё понятно. Вряд ли есть хотя бы один литератор да и вообще творческий человек, который – явно или тайно – не мечтает прославиться.

Третья причина – желание оставить свой след в истории, попытка избежать забвения, ускользнуть от смерти. И заодно оказать влияние на окружающих. Вторая и третья причины очень близки.

Четвёртая причина – в процессе писания познать самого себя. Это своего рода психотерапия и самоанализ. «Писать – значит читать себя самого», – сказал швейцарский писатель Макс Фриш, который почти всю жизнь вёл дневники, постоянно сомневался в себе и тем не менее добился мирового признания. «Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю», – ещё лучше сказал американец Дэниэл Бурстин.

И, наконец, пятая причина, заставляющая сесть за письменный стол – восприятие литературы как сакрального процесса. Как молитвы, как способа познания и изменения мира. Александр Иличевский, Михаил Шишкин много писали об этом. Например, по мнению Иличевского литература – это инструмент исследования Вселенной, действительности и человека, и потому нет в мире ничего интереснее. Вселенная сочинена нашим сознанием, текст – это мироздание, и создание текста – это сотворение Вселенной.

Последние две – самые интересные.

В этом году в Баварии красивая осень. Такая бывает далеко не всегда. Впечатления от созерцания природы, даже той минимальной, что есть в центре Мюнхена, сглаживают впечатления от привокзальной действительности. Сегодня здесь немноголюдно. Германия словно притихла – завтра вводят карантин и комендантский час, а значит, эти роскошные вокзальные кафе будут почти на месяц закрыты, а передвижения ограничены. Да и в отелях с завтрашнего дня не переночевать. Я проскочил чудом.

Архитектура мелькающих за окном новых домов Мюнхена практически неотличима от моих любимых амстердамских. Да и низкое серое небо почти такое же – разве что в Амстердаме ощущается всё же близость моря, там есть простор, который и позволяет дышать, даёт место надежде. Простор всегда даёт место надежде. В закрытом, упорядоченном пространстве сложно рассчитывать на чудо, под которым можно понимать и изменения к лучшему. А нам ведь жизненно необходимо знать, верить, что дальше будет лучше. Нам жизненно необходимы изменения.

За десять дней моего отсутствия многое изменилось. Поля всё так же зелены, но деревья почти наполовину облетели, зелёных листьев на них почти не осталось, а жёлтые стали буро-рыжими. За окном мелькают ручьи, холмы (не те всхолмления, о которых Нарбут сказал «скудоумная местность», а настоящие, вполне живописные), и поля, усыпанные жёлтыми цветами и панелями солнечных батарей.

В Регенсбурге начинается дождь. Мелкий, моросящий, уже противный осенний дождь. Я в купе один, как и по пути сюда.

Уже в Чехии начинаются леса, с которых не осыпалось ещё золото листьев, а сосны густы, высоки и стройны; холмы становятся всё круче, вершины их скрываются в тумане. Мокрая трава местами порыжела, а полоски дождя на вагонном окне придают всей картине законченность. Осень во всей её красе и печали, да.

И вдруг исчерченное шинами поле напоминает мне солёное озеро Акротири и наше смешное приключение. Как здорово, что на земле есть место, где всегда светит солнце.

Вот, наконец, я и в Праге. К счастью, сейчас здесь необычайно, непривычно тепло для ноября. И это смягчает, сглаживает контраст.

Друзья пригласили нас сегодня на пиво в господу «У старого кельта» – она находится прямо на берегу Влтавы, под большим кельтским оппидумом, который я однажды облазил вдоль и поперёк, так и не найдя ничего интересного. Но это не важно. Важно, что мы у реки, у меняющейся ежесекундно большой воды.

Извинившись перед друзьями, я отпросился пойти погулять. Удержаться от искушения прогуляться вдоль реки было невозможно.

Мераб Мамардашвили как-то сказал, что есть три вещи, которые человек может сделать в жизни только сам, – умереть, понимать и отбрасывать тень. Сегодня я точно отбрасывал тень и пытался понять себя.

Когда долго идёшь быстрым шагом, наступает интересный эффект. Сначала пропадает обычное беспокойство – пожалуй, наиболее часто испытываемое нами чувство. Мы беспокоимся всю свою жизнь, каждый день, по любому поводу, правда, с разной степенью интенсивности. Беспокойство это, как правило, ни к чему хорошему не приводит, к новым свершениям не сподвигает, просто присутствует как фон. Так вот, оно уходит первым. За ним уходит всегдашняя наша рефлексия, мысленное пережёвывание уже произошедшего. Наступает момент, когда в наступившей внутренней тишине начинаешь чувствовать самого себя. Вернее, пытаешься почувствовать. И вот это чувствование, попытка поймать себя, понять, кто ты есть, приводит к парадоксальному выводу о том, что так называемое «Я» – всего лишь отражение окружающего, что мысли мои следуют за тем, что я вижу, о чём вспоминаю, что «Я» – это просто зеркало, отражающее огромный мир. И пытаться сложить из этих отражений собственную личность – презабавнейшее занятие. Поэтому нет смысла суетиться, переживать, ставить перед собой новые цели, ведь новые цели повлекут за собой следующие, те – следующие, и это колесо будет крутиться бесконечно, не принося никакого удовлетворения тому, что его крутит. Поэтому лучше вести дневник наблюдений за собственной тенью, а по вечерам вместо волнений о том, что не смог, не успел сделать, а что сделал, но не так, думать о том, что сделать удалось, пусть даже это будут совершенные мелочи.

Любой выход за пределы себя, любое сильное внешнее воздействие, которое нельзя рационально объяснить, очень обогащают душу. Такой опыт, если он сопровождался эмоциональным переживанием или самоанализом, добавляет новые страницы в книге моей души – пусть даже это звучит глупо или высокопарно. Развитие происходит по принципу добавления – знаний, ощущений, впечатлений. И очень обогащает самоотождествление – например, с природой. Те мгновения, когда мне удаётся забыть о самом себе и слиться с наблюдаемым объектом, врезаются в память более всего.

Сегодня такое случилось здесь, у реки. Весь день сегодня светило солнце, какое-то слишком яркое, слишком тёплое, слишком необычное для этих краёв в это время. Главное, что даёт мне близость воды – моря или большой реки – это ощущение простора. Не понимаю ещё, почему, но для меня оно очень важно.

Я шёл вдоль реки, мимо носились велосипедисты, и было так жарко, что я снял куртку, будто сегодня не восьмое ноября, а начало сентября. Несколько раз наш путь перерезали ручейки, шумно стекающие во Влтаву, и минут через двадцать я дошёл до большого луга – река поворачивала влево, а тропинка вправо. Я встал лицом к реке, прикрыл ладонью глаза – солнце было как раз напротив – и через несколько секунд самым чудесным образом позабыл о своём собственном существовании. По коричневой, быстро текущей воде прыгали солнечные блики, и рядом с нашей вечной суетой текла непрерывно совсем иная жизнь, та жизнь, которая была тут задолго до нас и будет долго после. В небе, контрастировавшем своей прозрачной синевой с тёмной водой, одна за одной летели длинные, блестевшие на солнце нити паутин. Над маленькими водоворотами, то здесь, то там образовывавшимися у берега, роились мошки и летали стрекозы. Солнце вдохнуло жизнь в этот пейзаж, совсем по-другому выглядевший бы в туманный и пасмурный день. И не было никаких сомнений в том, что жизнь прекрасна и радостна, и радость эта будет вечной.

Когда, подводя итоги дня, я спросил сам у себя – а что было главным моим переживанием сегодня, самым глубоким и честным – оказалось, как всегда, что это был момент этого полного сосредоточения, когда, уходя вглубь, ты оказываешься снаружи, когда мир познаётся через познание себя, когда «я» не ставит границы между внутренним и внешним, и я на эти счастливые мгновения, когда чувство времени исчезает, оказываюсь большим, чем я сам.

Но, закрыв глаза, я увидел перед собой не реку, не кельтский оппидум, а почему-то лица десятков киприотов, те самые, которые видел недавно на холстах и рисунках художника Паскалиса Анастаси, с которым мы случайно познакомились в никосийской *Diachroniki Gallery*.

Кто знает, может быть, когда-нибудь среди этих лиц будут и наши.

«КАМЕРА-ОБСКУРА»

ВЕРОНИКА КОВАЛЬ

Одна из важных тем, извечно волнующих литературоведение – соотношение личностей автора и героя его произведения. Немало копий сломано в дискуссиях по этой проблеме. Оставив учёным теорию, обратимся к примеру. Поразительному, уникальному!

Итак, драматург Эдмон Ростан и его персонаж Сирано де Бержерак…

ТРАНСФОРМЕР СИРАНО

Она его целует в губы,
Целуя в них мои слова.
Э. Ростан

26 декабря 1897 года в парижском театре Порт-Сен-Мартен давали премьеру спектакля по пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Разношёрстная публика стекалась со всех концов города. Ещё бы! Предыдущие пьесы Ростана пользовались огромной популярностью. Чем же удивит модный драматург на этот раз?

Успех спектакля превзошёл самые смелые ожидания автора и труппы. «Триумф!» – восклицали не только друзья, но и даже бывшие недоброжелатели Эдмона. Вот она, слава!

С тех пор и по сей день великолепная героическая комедия «Сирано де Бержерак» не сходит с подмостков театров разных стран. Публику привлекает романтический настрой действия, лёгкость языка и, конечно, характер Сирано – его смелость, остроумие, умение чувствовать и выразить чувства в прекрасных словах. Героя пьесы играли самые знаменитые артисты нескольких поколений.

Не все, однако, знают, что существовал подлинный Сирано де Бержерак. Благодаря творческой фантазии Ростана его образ трансформировался, причём, неоднократно, приобретая новые черты, новые грани по сравнению с первоосновой.

Итак, перед нами – Сирано де Бержерак и его двойники.

Явление первое. Реальный Сирано

Эркюль Савиньен де Сирано де Бержерак родился в 1619 году в Париже. Мальчик рос сообразительным, забиякой. Он научился давать отпор сверстникам, если они наезжали на него, а в юности и зрелом возрасте – бесчисленным врагам. Одолеть их он мог только с помощью шпаги, и потому стал виртуозным фехтовальщиком.

Отец хотел видеть сына солидным служителем Фемиды. Сын дерзко ответил, что коллеж он окончил, и теперь будет жить, как хочет. Его увлёк свободолюбивый дух художественной богемы. В кабачках и тавернах молодёжь вела споры на философские темы, пила вино, читала стихи. Здесь царили любовь, ревность, обиды, увлечения, бесшабашность, драки и дуэли. Сирано сразу показал свой нрав. Он всегда оказывался в центре споров и драк – и всегда выходил победителем. В спорах – благодаря блестящему уму и острому языку, в драках – благодаря молниеносной реакции и точности удара. Словом, грубиян, записной дуэлянт, задира, картёжник. Сирано оказался в лагере восставших против королевской власти и писал ставшие необычайно популярными памфлеты и саркастические «мазаринады», целившие в кардинала Мазарини. Он блестяще владел эпистолярным жанром, писал много, легко, остроумно.

Разгневанный отец заявил, что не намерен больше содержать бездельника. Пришлось Сирано записаться в Королевскую гвардию. В битве при Аррасе и других сражениях он показал отвагу и бесстрашие, за что даже получил прозвище «демон храбрости». Но независимый нрав и смелость суждений не позволили ему сделать карьеру военного. А тяжёлое ранение в битве при Аррасе превратило доброго молодца в немощного инвалида.

Тогда-то раскрылась иная сущность Сирано, его alter ego. Кто бы мог подумать, что искатель приключений Бержерак станет затворником? Что его жизнь будет отныне протекать среди книг и собственных рукописей? Что знание древних языков и философии проявится в виде серьёзнейших сочинений?

Сначала Бержерак писал пьесы. Чувства и настроения, навеянные событиями Фронды, он выразил в политической трагедии «Смерть Агриппины». Схоластическая педагогика была остроумно разоблачена в комедии «Осмеянный педант».

Постепенно Сирано увлекла литература иного рода, где сплавились философия и писательский вымысел. Сейчас мы называем этот жанр научной фантастикой. Выдающийся труд Бержерака – дилогия «Иной свет». В неё входят два романа – «Государства и империи Луны» и «Государства и империи Солнца». Герой описывает свои путешествия в космосе, быт и нравы обитателей других планет в традициях утопий Мора и Кампанеллы. Поразительно, что он предвосхитил многие научно-технические идеи. Например, его герой совершает путешествие на трёхступенчатой ракете; обнаруживает на Луне любопытные «книги» – прообразы современных звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств; передвижные дома, снабжённые сложнейшими механизмами, электрическую батарею и «вечную ламу»; тела обитателей иных миров из сгущённого воздуха. Сирано мечтает и о многих других усовершенствованиях, которые могли бы сделать жизнь человека комфортной. Догадки эти были воистину провидческими. Некоторые исследователи говорят о мистической загадке Бержерака. Будто бы он таинственным образом временами исчезал из дома, состоял в каком-то тайном ордене, имел контакт с инопланетянами. Если говорить объективно, в фантазиях Сирано живёт великая вера в силу человеческого разума, в будущее науки, в прогресс.

Безжалостный рок в буквальном смысле слова добил Бержерака: на него упала балка с крыши строящегося дома. Через некоторое время он умер в мучениях. Было это в 1655 году. То есть Сирано де Бержерак прожил всего 35 лет.

Явление второе. Эдмон Ростан

Пролетело больше двух столетий. На сцене (в переносном и буквальном смысле слова) появляется молодой французский драматург Эдмон Ростан. Он заявил о себе пьесой «Красная перчатка». Спектакль был принят парижской публикой благосклонно. Ростан воодушевлён успехом! Он представляет любителям театра новые доказательства своего таланта – пьесы «Принцесса Грёза», «Романтики». Но всё написанное ранее отступило на второй план, когда поставлена была героическая комедия «Сирано де Бержерак», имевшая оглушительный успех и вошедшая в анналы мировой литературы.

Конечно, Сирано-человек стал легендой уже в XVII веке. Но к концу XIX его напрочь забыли. Только отзвук имени витал в общественном сознании, да историки литературы пытались отыскать чемодан с рукописями, который стащили у Бержерака в своё время. Почему же Ростан вытащил Сирано из пыли архивов и подарил ему второе рождении и бессмертие?

Сама собой напрашивается гипотеза: он чувствовал себя alter ego подлинного Сирано де Бержерака. Сам выбор героя говорит за себя. Ростан с такой искренностью, глубиной чувств говорит о Сирано, что это – явное свидетельство родства их душ. К тому же, многие обстоятельства их жизни, интересы, мироощущение были на удивление схожими.

Их роднил, прежде всего, незаурядный писательский талант.

Оба происходили из семей зажиточных торговцев и потому имели возможность получить основательное образование.

Ростан, как и Сирано, пошёл против мечты отца сделать из сына почтенного юриста.

Юношеское легкомысленное времяпрепровождение не помешало им образовывать себя. Они серьёзно изучали труды философов и естествоиспытателей.

С детства Сирано и Ростан чувствовали влечение к литературе, особенно к драматургии, хотя прибегали и к языку поэзии.

Оба испытывали пристрастие к эпистолярному жанру.

Правда, судьба была куда благосклонней к Ростану, чем к Бержераку. Родители долго финансировали его, поэтому молодой человек имел возможность вести светскую жизнь и творить, не заботясь о куске хлеба. И в любви ему повезло не в пример одинокому Сирано. Молодая поэтесса Роземонда Жерар, особа несколько экзальтированная, стала его музой и спутницей жизни. Она немало способствовала продвижению его пьес. Супруги завели обычай обмениваться длинными и пылкими любовными посланиями. Ростан прославлял свою Прекрасную даму, посвятил ей пьесу «Принцесса Грёза» и полные возвышенных

чувств стихи. Она тоже посвящала ему романтически приподнятые строки. Супруги охотно читали эти письма в светских салонах, вписывали в альбомы друзей. Вероятно, это было в определённой степени и пиар-ходом: Ростан сам творил из себя легенду. Так он и жил, купаясь в славе и роскоши.

Однако не всё – то, чем кажется. Под оболочкой преуспевающего литератора таилось понимание сложности жизни, несправедливости жестокости – совсем как у Бержерака. Об этом говорит следующее: Первая мировая война разрушила его романтические иллюзии. Он видел в ней апокалипсис. Ростан и его единомышленники выступили с призывом устанавливать мемориальные доски на домах погибших солдат. Но солдаты гибли и гибли – счёт шёл на тысячи. Ужасы войны так действовали на драматурга, что он впал в глубокую депрессию. Роземонда покинула его, а сам он в 1918 году скончался от испанки. Так что конец жизни у обоих литераторов был печальным.

Явление третье. Сценический Сирано

Итак, кто он, Сирано де Бержерак, явившийся миру 26 декабря 1897 года? Вымышленный литературный персонаж? Двойник реального Сирано?

Сходство – безусловно.

Во многих чертах характера, поступках персонажа Ростана просматривается образ дуэлянта и поэта XVII века. Драматург даже не счёл нужным прятать его под другим именем. То есть, он буквально утверждает, что его герой – alter ego подлинного Сирано де Бержерака. Об этом говорит многое.

Совпадают события биографии: беззаботная юность в кабачках и на дуэлях, помощь другу, на которого напала сотня врагов, служба в Королевской гвардии, участие в осаде Арраса, смерть в результате удара упавшей балки.

Совпадает, главное, натура обоих Сирано. Их фрондёрство на самом деле – это борьба с трусостью, ханжеством, тупоумием, предательством, угодничеством. Он говорит Вальеру:

«Да, ты прав:
Не щеголь я, не франт, – ну что ж, таков мой нрав,
Что за изяществом я не гонюсь наружным
И не могу блеснуть кокетством я ненужным.
Зато я никогда не выйду, милый мой,
С нечистой совестью, с несмытым оскорбленьем,
С помятым счастием иль с чёрною душой.
Нет! Я похвастаться могу другим владеньем.
Свобода – вот мой плащ, а храбрость – мой султан,
И если гордо я не выпрямляю стан,
Как ты, благодаря усилиям корсета,
Зато моя душа достаточна пряма.
Хоть шляпа старая сейчас на мне надета,
Зато под нею есть сокровища ума.
Так я иду вперёд дорогою прямою,
И правда громче шпор звенит везде за мною!».

А доблесть и отвага! Ростан наделил своего героя таким качеством, которое признавали даже враги подлинного Сирано.

Героя пьесы и его прототип роднит творческая одарённость и одержимость выражать свои мысли и чувства в поэтической форме, зачастую пронизанной грубоватым юмором, иронией и самоиронией, даже сарказмом.

Есть однако существенное различие. Реальный Сирано де Бержерак – гораздо более глубокая натура. Ростан откинул философское наследие его, оставив только внешнюю канву жизни, придав ей романтический блеск.

Хорошо. А в чём же проявилась в пьесе натура самого Ростана?

О сходстве героя и реального Сирано уже говорилось – это и вышло наружу в пьесе. Но Ростан не просто описывал события. Он вложил в уста персонажа свой темперамент, свою одержимость, свой романтизм. Он писал героя своим сердцем. И прибавил драматург немало. Например, на прижизненных гравюрах, изображавших реального Сирано де Бержерака, в его лице нет ничего «нестандартного». Потрясающая находка Ростана – длинный нос Сирано. Он не просто влияет на характер дуэлянта и бретёра. Он становится пружиной действия любовной интриги, поскольку обрекает героя на безответную любовь.

Не дай бог кому-то взбредёт в голову поиздеваться над носом Сирано! Он получит по полной программе:

«Для всех, кто вздумает пускаться в рассужденья
О том, каков мой нос, и мал он иль велик.
А если дворянин окажется шутник,
То с ним я обойдусь не так, как с тем бродягой;
Не в спину кулаком, а прямо в сердце шпагой –
Так я им отвечать привык!».

Можно сказать, что любовные письма Сирано являются своеобразным действующим лицом пьесы. Настоящий Бержерак писал только сатирические эпистолы. Ростан, искусный мастер любовных посланий, возможно, рукой вымышленного персонажа воспроизводил собственные послания своей Прекрасной даме!

Ростан передал своему любимому герою своё остроумие, лёгкость и возвышенность речей, блестящий стиль.

И, конечно же, любовная интрига. Судя по всему, реальный Сирано не испытал большого чувства. Он переходил от одного любовного приключения к другому – и так до бесконечности. В результате он получил «дурную болезнь», которая обезобразила его. Сирано вымышленный влюблён в свою кузину, легкомысленную и своенравную Роксану, много лет. Он посвящает жизнь служению ей:

«Ужель вам непонятно,
Что говорит теперь
У нас в сердцах так внятно?
Мы оба здесь стоим,
От страсти трепеща.
Вы видите лишь тень
От длинного плаща,
Я вижу белизну
Одежды вашей белой,
Я полон нежности
Неясной и несмелой,
Я – только тень для вас,
Вы для меня – лишь свет!
Не позабуду я
Мгновений этих! Нет!»

Сценический персонаж, не забудем, объясняется в любви словами Ростана!

Явление четвёртое. Кристиан де Невиллет, двойник Сирано

Ещё двойник?

Да, причём всех Сирано сразу.

По ходу действия пьесы Сирано де Бержерак вкладывает свои чувства в уста красавца Кристиана. Роксана любит его, он – Роксану. Да вот беда – юный гвардеец не умеет выразить в словах свою страсть:

«Знаю почему, но я боюсь невольно,
Что слишком тонко уж кокетлива она,
Что утончённость ей, изысканность нужна,
Что для неё умён я не довольно.
Мне страшен тот язык, которым говорят
И пишут здесь теперь. Что я? Простой солдат!..».

Сирано идёт на самопожертвование. Он сочиняет письма возлюбленной от имени гвардейца. Под кровом ночи Кристиан объясняется в любви словами, которые подсказывает ему Сирано. Поэт становится просто суфлёром для своего двойника. Трагикомический финал!

Парадокс! Все три «Сирано» сливаются в образе пустышки Кристина. А, может быть, глубочайшее содержание обретает тем самым прекрасную, соответствующую ему форму?

Сирано:

И чтобы обо мне потомки не забыли,
Я надпись сочинил на собственной могиле:
Прохожий, стой! Здесь похоронен тот,
Кто прожил жизнь вне всех житейских правил.
Он музыкантом был, но не оставил нот.
Он был философом, но книг он не оставил.

Он астрономом был, но где-то в небе звёздном
Затерян навсегда его учёный след.
Он был поэт, но он поэм не создал!..
Но жизнь свою зато он прожил, как поэт!..

Итак: главный герой комедии Э. Ростана – это сплав четырёх личностей. Первая – реально существовавший Сирано де Бержерак – учёный и бретёр. Вторая – сам драматург, выбравший из биографии Сирано то, что было близко по духу ему самому. Третья – вымышленный герой, воин и поэт Сирано де Бержерак, вобравший черты как предка, так и автора комедии. Четвёртая – влюблённый Кристиан, в уста которого вложены чувства и мысли вышеупомянутых лиц.

Удивительный феномен, не правда ли?

«ЛИТМУЗЕЙ»

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

РУКОПИСИ А.И. ЦВЕТАЕВОЙ ИЗ ЧЕРДАЧНОЙ ПЫЛИ

В 1999 г. произошло значимое для цветаеведения событие. В Александрове, на чердаке дома, в котором к тому времени уже располагался Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых, сотрудниками музея В.Н. Леонтьевым и А.Б. Бакаевым были найдены рукописи Анастасии Ивановны Цветаевой. Тогда же А.М. Бакаев по моей просьбе написал о том, как это было. Привожу его свидетельство:

«В жаркие июньские дни 1999 г. по заданию директора музея Л.К. Готгельфа мы провели обследование чердачного помещения дома № 6 по улице Военной. В начале нынешнего столетия этот дом принадлежал педагогу А.А. Лебедеву. Наши усилия были направлены на поиски этнографического материала, а также предметов и бумаг, имеющих отношение к семье хозяина дома, к семье Цветаевых, к истории города. И действительно, среди кучи хлама при его разборке стали попадаться глиняные горшки, ухваты, топоры, парфюмерия, флаконы и аптекарская посуда.

В первый день поисков нами была разобрана незначительная часть складированных вещей. Здесь, в слое пыли и земляной потолочной подсыпки, были обнаружены фрагменты и целые экземпляры газет и журналов дореволюционных (1917 г.) лет XX века. Интересными оказались найденные школьные тетради и журналы успеваемости того времени, ученические дневниковые записи (некоторые с графическими рисунками). Все эти материалы и предметы ещё ждут в своё время детальных исследований учёных. И, о чудо! В засыпке меж чердаком и потолком была обнаружена пачка с документами квартирных хозяев, там же – два листочка из ранних записок Анастасии Ивановны Цветаевой.

Во второй и третий день наших поисков на чердаке найдены фрагменты дореволюционных учебников, пачка писем, датированных 1912 и 1916 гг. И опять удача – почти целый дневник Анастасии Ивановны Цветаевой, написанный синим и красным карандашом и датированный 1913 г. Это, конечно, была удача…

18.08.1999».

РУКОПИСЬ А.И. ЦВЕТАЕВОЙ

«-5-
Ничего не жалею… Я [знаю] –
молодость, старость нич<тожны>
перед величием [смерти]
и тем, *что* в человеке.
Мне же спокойствие, тишина,
и ничто не может их нарушить.
И она глядит на него, как старшая –
на ребёнка, и чужд ему этот взгляд,
как и всё в ней.
«Женя! – невольно вырывается у него, –
Боже, как ты изменилась!..»
Ласково засветились её глаза.
Медленно поднялись длинные ресницы.
И опять, с тем же чуждым ему спокойствием:
– Я счастлива.

_____

Но где же та любовь, в которую
верили мы, где же тот огонь?
Улыбнулась грустно, ласково:
– Он потух. Он был слишком горяч,

слишком зноен. Но зато впереди
светит сияние севера – сияние
тишины и всезнания…
– Холода, холода! – восклицает он.
– Да... холода – прекрасного светлого,
пронизывающего холода...
– Но где же любовь, *наша* любовь,
такая властная, сильная, смелая?
– Любви нет…
– А наша молодость, наша вера в идеал,
наши надежды?
– Мы были слепы.
– Слепы?! Мы – слепы! Мы,
любившие жизнь, солнце,
людей, любившие всё святое и прекрасное!
Мы – любившие друг друга.
Опять та же ласково-печальная улыбка,
улыбка всё знавшего и всё – разрешившего…
– А наша... наша любовь? Боже,

как хороша была ты –
Смелость, отвага и вера, вся –
самопожертвование!
Её нет? Я до сих пор люблю тебя –
и все эти годы я вспоминал тебя,
и любил, и хранил в себе твой образ...
Неужели ты всё это забыла?
Неужели посмеёшься надо всем?
– Нет. Я всё помню – и я не стану смеяться.
Я и это уже пережила.
Но я тебя не люблю, хотя и любила
когда-то, и ни тени подобного чувства к тебе нет.
Ты когда-нибудь поймёшь, что я была права.
Во мне холод, спокойствие.
Вот эта даль – смотри – она одна понимает
красоту смерти и тишины, красоту
замерзания и одиночества...
Смеркается.
И он долго глядит в глаза этой женщины.
(...)
...такой… разумной, красивой, ко [всему]
равнодушной, даже к близкой смерти.
И чужда, и непонятна ему эта сила,
это спокойствие, эта гордая непокорность, –
и он склоняется перед ней на колени:
– Прощай!
– Прощай! – тихо и бесстрастно... [звучит] ответ.
И глядит она на него
красивыми потухающими глазами,
как будто куда-то насквозь – в ту неведомую даль,
которая, как говорит она,
одна понимает красоту
замерзания и одиночества…

А вдали догорает заря».

Перед нами найденное на чердаке краткое безымянное художественное произведение, написанное ритмической прозой. В Александрове создавались дневниковые записи, позже лёгшие под обложку книги Анастасии Цветаевой «Дым, дым и дым» (1916 г.). Её начало, первые страницы написаны той же ритмической прозой, в которой присутствует поэтика Серебряного века. Но совсем иная, не похожая на стиль и строй стихотворений Марины Цветаевой, часто приезжавшей к своей младшей сестре и временами жившей в Александрове.

Первая часть небольшой драматической поэмы в прозе не сохранилась. Но, возможно, она не удовлетворяла автора, и Анастасия Ивановна её сама уничтожила, собираясь переписать, поскольку безымянный текст по идее и её воплощению отличается художественной цельностью.

Чему, собственно, посвящён этот поэтико-прозаический набросок? Если очень кратко, то речь идёт о любимой фразе В.В. Розанова, друга Анастасии Ивановны: «Холодок в сердце, знаете ли вы его?». Это не что иное, как эпиграф к её книге «Дым, дым и дым».

Вот этот *холод-холодок* и веет от героини текста, в котором героев всего два: он и она. Они когда-то любили друг друга, потом годы не виделись. Он вновь приехал издалека, встретился с нею. Но в ней более нет яркой, смелой жертвенной любви, которой они горели когда-то… Она прямо говорит ему, что не любит его больше. Но не это главное. Что в ней поражает героя, так это её отстраненность от жизни, «спокойствие, тишина». За ними скрыты готовность к смерти, давшая равнодушие ко всему земному, и отречение, которое она называет «счастьем».

Сёстры Цветаевы любили образы Кая и Герды из сказки Андерсена. Там замёрз, потерял тепло *человеческих чувств* мальчик Кай. Тут всё наоборот, тут сердцем замёрзла девушка Герда, то есть героиня нашей поэмы Женя, чьё имя упомянуто единственный раз. В ней, в героине, предсмертная, трагическая успокоенность, благородство отверженного, уже стоящего на пороге жилища Снежной Королевы, говоря иными словами – самой Смерти… Тут уместно процитировать слова Ю.И. Гурфинкеля из его работы об А.И. Цветаевой и её современниках «Ещё легка походка…» (2021 г.), они относятся к её книге «Королевские размышления» (1914 г.): «Тогда, в 1914 г., фонтанирующей молодости, избытку сил требовалась равноценная по силе и соразмерности антитеза. Такой противоположностью по контрасту могла быть только Смерть». Те же настроения звучат и в найденном рукописном художественном фрагменте.

Не эти ли чувства были так «актуальны» в Серебряном веке, где любовь и самоубийство и в России, и в Европе шли рука об руку, рядом?.. Не веет ли тут также духом скандинавской литературы? Есть что-то напоминающее весьма отдалённо Генрика Ибсена, его драму «Строитель Сольнес»… И ещё немаловажная подробность текста: герой перед своей холодной, некогда любившей его героиней встаёт на колени, и они говорят друг другу: «Прощай!». Он потрясён ею, он повержен! Всё пронизано обречённостью их расставания… Мы понимаем, они расстаются уже навсегда. Подобным трагизмом были проникнуты кадры синематографа начала XX века, им дышали часто поэзия и литература, трагичны по сути и первые книги Анастасии Цветаевой «Королевские размышления» и «Дым, дым и дым».

Среди бумаг, найденных на чердаке деревянного здания музея, была обнаружена также небольшая, без обложки, тетрадь, полная карандашных заметок А.И. Цветаевой. У неё есть название:

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ
МЫСЛИ, ФРАЗЫ
ФЕОДОСИЯ 1913

Мысли – синим,
Фразы и сравнения – красным.

Есть записи и простым карандашом, и немного чернильным пером, рыжими чернилами.

К сожалению, немалую часть написанного в тетради смыла дождевая вода, тёкшая с крыши, и разобрать эти отрывочные заметки, писавшиеся исключительно для себя, оказалось затруднительным. Современному исследователю, который захочет обратиться к этим листам, будет сложно работать с текстом, созданным по правилам старой орфографии в строчном написании.

Однако среди смытого и совершенно не читаемого текста порою можно увидеть отдельные ясные места. Самое цельное из них – это запись сна о некоем Х., о жажде любви к нему. Под этой буквой скрывается, вероятнее всего, художник Николай Иванович Хрустачёв, которым была увлечена А.И. Цветаева, оставившая глубокий след этого увлечения на страницах своего «Дыма…». Там он скрыт под литерой «Л» (в «Воспоминаниях» Анастасии Ивановны есть глава «У художника Хрустачёва. Мастерская Волошина. Вересаев»).

Воспроизводим этот фрагмент, один из немногих, поддавшихся расшифровке:

«…Как я сама так или иначе воспринимаю – так для меня всё и есть.

Редко бывают такие сны.

Обычно если в снах нам целуют руки и говорят о любви – мы слушаем, отвечаем, волнуемся, но через 2 шага уже входим в другую обстановку. Весело и спокойно бежим за как<ой>-ниб<удь> собакой, у к<ото>рой на голове растёт маленькая сосна, к<ото>рая (мы это знаем) наш брат (или хороший знакомый), или убегаем от преследований, или лезем за чем-то по выс<окой> лестнице, к<ото>рая – качается. И любви как не бывало. Любовь – эпизод сна.

А сег<одня> мой сон – это жизнь. Всего 10 часов моего сна я была занята мыслями об Х, моя сложность пробудилась и развивалась, как наяву. Помню его лицо страшно реально, я ещё слышу его голос, мы гов<орим> без умолку о нём, обо мне, именно о том, о чём мы никогда не говорили с ним. Он говорил такие вещи, я так внимат<ельно>, так нежно его слушала – в посл<еднем> сне было всё, что бывает в любви: была разлука, было и письмо, было моё вызыв<ающее> равнодушие, что он д<олжно> б<ыть> полюбит другую и позабудет меня, – этот сон был не только сон о любви, но это был сон о том, как я люблю. Я узнавала свои слова, свои жесты, свои чувства, он был именно таким, к<аким> он д<олжен> б<ыть> в любви. И всё в любви шло так, как всегда идёт, и в нашей любви так – как только и могло быть. Какая тоска! Кто меня разуверит? Эта любовь была! Ведь я слышала же его голос! Он же держал мои руки. Ведь он мне объяснял, отчего он молчал всё это время и как и что он думал обо мне. Он просил у меня прощения, он был так близок, так нежен, мы с ним так смеялись над всеми, кроме нас 2-х – его стиль… Это не сон, это – любовь, и слишком мне дико думать, что он ничего не знал. Когда мы прощались во сне – он сказал мне:

– Слушайте, если в след<ующий> раз я вас встречу – другим и холодным – не верьте мне ни за что! Я вас страшно люблю! Но есть многое, что мешает нам говорить.

Вспоминаю: «Да. Да, – он сказал, – было?»

– Было.

Он сказал:

– Когда вы проснётесь, подумайте, что это был сон!..

Я счастлива! Нет, это не сон – он не мог спать в то время, как др<угие>… Он так говорил со мной! Это был он. Как он сжимал мои руки! Он гов<орил> мне: «Нет, уже не хочется писать, хочется блаж<енно> молчать – всё, как в любви». Я буду его ждать сег<одня> весь день.

О, тоска, тоска сна! Так неужели сон?

О, милый, милый! Слушайте, я на всё готова! О, если б вы знали! О, если б вы пришли!..».

Тут уместно в качестве примечания привести небольшой отрывок из моей книги «Четырёхлистник» (2017), в которой есть глава «Крым в «Дыму» воспоминаний или встреча с Феодосией Серебряного века»:

«О Николае Ивановиче Хрустачёве (1883-1962), как помню, Анастасия Ивановна рассказывала, что подружилась с ним в 1914 г., когда они с сестрой Мариной Ивановной зимовали в Феодосии. „Он не был красив, – говорила она, – маленький, лёгкий, худенький, лёгкое лицо. Был старше, потому называл „дочка“. К нему у меня возникло сильное чувство, но далеко не роман, только увлечённость, – бродили, потеряв от друг друга голову, но он только целовал мои руки, – говорили, гуляли…“».

Хрустачёв – герой нескольких эпизодов «Дыма…», в том числе эпизода, в котором художник ясновидчески почувствовал на расстоянии, что Анастасия Ивановна думает о нём,– сердцем, а не разумом, услышал её сомнения: она решала, идти к нему или нет. Он встал со стула на педагогическом совете, где был, и начал взволнованно ходить, не понимая, что происходит…

Вот как об этом дословно сказано в «Дыме…»: «Маленькое воспоминание: в тот час, когда я решала, ехать к нему или нет, он вдруг порывисто встал со своего стула, на совете, и стал ходить взад и вперёд по комнате, не зная, что с ним…» (А. Цветаева. Собр. соч. М. 1996. Т. 1. С. 97).

В «Дыме…» достаточно много страниц отдано этому увлечению, этой дружбе на грани любви:

«Сегодня какой-то поразительный день.

Кратко: я счастлива.

Так много, что ничего не могу рассказать! Всю ночь говорила с Л. В итоге этой бесконечной беседы мы вывели странную вещь: что мы друг друга не любим. Но, по странной игре судьбы, мы всё же никак, никак не могли проститься, всё держали друг друга за руки, и он целовал мои. Мой вчерашний день: неожиданно раздался звонок (я… забыла лорнет у него, он… принёс и хотел тотчас же уйти, я за ним послала, его вернули); мне пора идти к С., он провожает меня, но их нет, и я догоняю его на углу. Мы гуляем по молу, с корабля сияет прожектор, по взволнованным, бурным волнам – лодочка, и матросы гребут,

и их белые костюмы – в луче прожектора ослепительны. Пахнет рыбой, канатами. В десять часов мы прощаемся у моих дверей. Но я иду его провожать, курим, пахнет акациями, ночь. Мы тихо возвращаемся ко мне. И потом говорим, говорим, говорим, прощаемся и снова бродим кругом, и снова подходим к моим дверям, сидим на ступеньках, и всё идет по ступенькам, тихо и сладостно, лорнет – „была слабость“, он думал обо мне, когда я о нём думала, в тот же час,

а я –

ах, мне его лицо мило, бесконечно мило, „но только потому, что недавно и ненадолго“; „я ни в чём не хочу – легчайших цепей, ни себе, ни другому, я очень сознательна, очень серьёзна, очень – ребёнок“; наконец, – „мы друг друга не любим“… „Но почему, если так…“

Когда я вошла в мою комнату – уже рассветало.

И весь этот день, как облако золотое, проносится над взволнованной головой моей, над синим заливом Феодосии, над девятнадцатью моими годами, – в силе и славе своей!

Страдаю ли я? Нет, может быть.

Я весь день сегодня на людях. Жизнь сегодня идёт галопом – точно помогая мне. Но… всё висит на ниточке. Мне и страшно, и радостно.

Что это было? Но сегодня, более чем когда-либо, я обожаю жизнь.

„Деточка…“ „Дочка моя…“ Всё пройдет, а всё могло – не пройти». (А. Цветаева. Собр. соч. М. 1996. Т. 1. С. 95-96).

Сохранилась авторская надпись на авантитуле первой книги писательницы «Королевские размышления»: «Милому, дорогому Николаю Иван<овичу> в память весны 1914 г. Ася Ц<ветаева>. Москва. 1915 г., март. Акации ещё не цветут?».

В настоящее время автограф принадлежит внуку художника Д.Н. Ряузову, у которого хранилась существенная часть художественного наследия Николая Ивановича и материалы его биографии. Среди них есть данные об участии в выставках «Мира искусства»: в 1912 и 1916 гг. – в Москве, в 1913 – в Петербурге, в 1907 – в салоне «Золотого руна». Из того же источника известно, что в 1903 г. его картину «Зима» приобрёл А.П. Чехов.

Уроженец Сергиева Посада, Николай Иванович много лет прожил в Крыму, с 1913-го по 1922 г. был преподавателем искусств в Феодосийском учительском институте. Организовал в Феодосии народный театр, художественную школу. В Феодосийской картинной галерее хранятся его работы. Один из портретов А.И. Цветаевой, написанный Н. Хрустачёвым, сохранился до наших дней и опубликован в небольшом авторском альбоме-каталоге, изданном в Москве. Однако на нём, по нашему мнению, художник невольно свёл воедино черты двух сестёр – Анастасии и Марины. Да и на самом портрете, на оборотной его стороне, автором не было указано, кто на нём изображён.

Сейчас этот портрет хранится в фондах Литературного музея в Москве.

Другой пастельный портрет А.И. Цветаевой, тоже работы Н. Хрустачёва, находился в комнате московской коммунальной квартиры до её ареста в 1937 г. Дальнейшая судьба его неизвестна.

Впервые после некоторого периода забвения живопись и графика Н.И. Хрустачёва были представлены на мемориальной выставке его работ в 1998 г. в городе Александрове, в том же Литературно-художественном музее Марины и Анастасии Цветаевых. Посвящённая 100-летию объединения «Мир искусства», выставка была названа «Художник Николай Хрустачёв и писательница Анастасия Цветаева». В печатном отклике на это событие было сказано: «Особенно выделяется необыкновенный по цвету, техническому совершенству зимний пейзаж: лес, с изгиба холма спускается санным следом дорога, вдали детские фигурки в жемчужно-розовом свете утра… Рядом – вдохновенный автопортрет, на котором художник молод, пышноволос. И далее – виды Крыма, которому отдано столько красок и дней…» (Газ. «Культура». 1998. № 20 (7131). 4 – 10 июня. С. 10).

Вскоре вслед за этой музейной выставкой последовала вторая (2001 г.), уже с другими работами художника. Эти александровские вернисажи прервали десятилетие молчания после персональной, тоже мемориальной, выставки в Феодосийской картинной галерее в 1988 г., а позже, в 2006 г., состоялась выставка и в Литературном музее в Москве.

В рукописной тетради А.И. Цветаевой упоминаются имена, которые находим и в «Воспоминаниях», и в многотомной литературе о сёстрах Цветаевых. Это, прежде всего, Лидия Александровна Тамбурер, подруга сестёр времён их ранней юности, приятельница и почитательница их отца, профессора И.В. Цветаева.

Её инициалам Л.А. сопутствует такая запись:

«День у Л. А.… О кошке. Она лежит у вас на плече, дремлет, как королева. Вы начинаете её бить, гоните, она без всякого удивления это встречает, точно она внутри сознаёт, что заслуживает всё, что с ней случится. Ласкается, дремлет, потом мгновенно прижимает уши и замирает от страха…».

«Разговор наш с С.Э.» – тут несколько *неявственных* строк о Сергее Яковлевиче Эфроне, муже Марины Ивановны, и о Максе. Макс – это, конечно, друг сестёр, художник и поэт Максимилиан Александрович Волошин.

Ещё были среди найденных в пыли рукописей четыре маленькие странички из отроческого дневника 13-летней Аси Цветаевой. Краткий текст их опубликован в предисловии к двухтомному изданию «Воспоминаний» А.И. Цветаевой, выпущенному в 2008 г. Приведём как цитату вариант и этой находки:

«О, скажи, мама! Это твоё напутствие? А Марусе ты написала длинное стихотворение, которое оканчивается этими 4-мя строками: „Вы живёте во мраке, в оковах, в аду… / Я вас к свету, к свободе вперёд поведу! / Верьте – некуда больше идти – / Нет иного пути!“

…Ты ей указала дорогу, тоже смелую, гордую. Ту единственную дорогу, по какой могут идти такие, как она. „Нет иного пути!“ Да, это было напутствие. Я стала верить снам и гаданиям. Любовь сильнее смерти. Если верить, верить в невозможное, оно станет возможным. Надо сильно желать, сильно верить, сильно любить, – и преграды разрушатся. Часто, читая какую-нибудь книгу или гуляя по тем самым местам, которые ты так любила, я думаю о тебе, представляю себе тебя, и мне чудится твой смех, голос, смелые песни – и ты вспоминаешься мне, какою ты была когда-то, давным-давно, в солнечной, яркой Италии среди цветов, моря и земли. Часто я хожу на ту лесную поляну, которую ты звала „пеньки“ и которую так любила, и, глядя на грустные молодые березки и осины, вспоминаю тебя. Поздно… поздно…

31 мая… Осенью этого года мне исполнится 14 лет. После лета 1906 г. настала тёплая осень. Все уехали в Москву, Маруся – в гимназию живущей, Андрей – тоже в гимназию, папа уехал с ними, а я до 22 октября жила у Добротворских. Ты помнишь, я и в Ялте, и здесь, в противоположность Марусе, была „реакционерка“. Мало-помалу взгляды мои стали…» – тут текст обрывается.

Заметим, что в этом фрагменте приведена заключительная часть стихотворения «Я оторван от жизни родимых полей…» поэта Скитальца. Его лирику любила мать девочек, Мария Александровна.

В заключение выражаю благодарность внучке А.И. Цветаевой – Ольге Андреевне Трухачёвой, уточнившей некоторые частные детали этого текста.

НАТАЛЬЯ МЕНЧИНСКАЯ

КРЫМСКИЕ «АРГОНАВТЫ», М.Н. ИЗЕРГИНА И ЕЁ ПЕРЕПИСКА С А.И. ЦВЕТАЕВОЙ

Крымские «аргонавты» – это друзья юности моей мамы, Натальи Менчинской – люди необыкновенные, исключительные, заряжённые творческой энергией, духом вольности и свободы. Большинство «аргонавтов» были студентами Таврического Университета, открывшегося в Симферополе в 1918 году и существовавшего около 6 лет в Крыму в самое трудное и нестабильное время, когда власть неоднократно переходила из рук в руки, когда там царили разруха и террор. Однако именно в эти голодные, трагические годы в стенах Таврического университета собрался такой состав преподавателей, какого в России того времени не было ни в одном учебном заведении.

Мария Николаевна Изергина (31.07.1904-22.03 1998), (Муся), и её сестра Антонина, (Тотя), были наиболее близкими нашей семье «аргонавтами». Именно они донесли до меня нечто более важное, чем факты – дух свободного и радостного общения, артистизма, даже озорства, который был присущ всем аргонавтам без исключения и обозначался термином «аргонавтизм».

В детстве сёстры Изергины жили с родителями в Петербурге, а по летам в отцовском имении под Тверью в Палагино. Отец их был светский, блестящий человек, очень остроумный, юрист по образованию, но картёжник. За год до революции имение пришлось продать, чтобы расплатиться с карточными долгами отца, и девочек отвезли в имение его двоюродного брата в Крыму – Сюрень, затем в 1917 г. Муся и Тотя с матерью обосновались в Симферополе. Крым стал для них родным. Вскоре после того, как в 1921 г. образовалась компания «аргонавтов», многие из них переженились, в том числе Муся и Тотя, но браки эти оказались недолговечными.

У Муси был прекрасный голос, она училась в консерватории по классу пения, но затем переехала за своим первым мужем в Москву. Там из-за личных переживаний голос у неё пропал, она окончила музыкальное училище уже по классу фортепиано. В конце 1930-х годов Муся с сыном от второго мужа уехала

за сосланным отцом, вскоре скончавшимся, в Алма-Ату, где работала в театре иллюстратором-аккомпаниатором. В 1946 г. она потеряла сына, погибшего от случайного выстрела, и жизнь её круто переменилась.

Живя в Алма-Ате, Муся в конце 1940-х – начале 1950-х ежегодно бывала в Москве и Ленинграде, где жила и работала в Эрмитаже её сестра, выдающийся искусствовед. Всё больше Марию Николаевну тянуло вернуться в Россию, в Крым, в места, связанные со светлыми воспоминаниями юности, туда, где до сих пор оставалось много друзей.

В 1956 году она построила дом в Коктебеле, который привлёк к себе множество творческой и научной интеллигенции из Москвы, Ленинграда, Киева, Алма-Аты и других городов. Кстати, в эти годы голос к ней вернулся, и она радовала гостей своим замечательным пением, которое не могла не оценить и Анастасия Цветаева. Со времени возникновения дома я бывала в нём, за редким исключением, ежегодно – сначала с родителями, а потом одна или с друзьями вплоть до 1997 года, осенью которого Марию Николаевну, уже немощную и утратившую контакт с действительностью, увезли в Москву, где она скончалась 22 марта 1998 года в возрасте 93 лет.

Когда ушли последние из «аргонавтов», я вдруг почувствовала как бы внушённую мне свыше настоятельную потребность написать о них. Потому что – кто же это сделает кроме меня? Одним из побудительных мотивов к тому, чтобы начать собирать материалы об «аргонавтах», послужило событие, которое произошло ещё при жизни М.Н. Изергиной. Когда мы, друзья Дома, приехали в Коктебель весной 1985 (или 1986 г.), Мария Николаевна вдруг достала пачки писем, разобранные ею долгими зимними вечерами, и сказала, что просит их сжечь. Все присутствовавшие при этом друзья Дома воспротивились её намерению, и тогда М.Н. сказала: «В таком случае разбирайте эти письма, здесь есть и от вас, и от ваших семей и от многих других людей». В то время я ещё не думала о том, что мне эти письма могут понадобиться, но сжечь их мне казалось недопустимым, и я забрала письма А.И. Цветаевой, М.С. Волошиной, Г.Н. Петникова и других известных мне личностей, не говоря уж о письмах нашей семьи.

Организатор музея сестёр Цветаевых в Феодосии Ирина Двойнина связала меня с Глебом Казимировичем Васильевым и Галиной Яковлевной Никитиной, хранителями архива А.И. Цветаевой, им я и передала её письма к М.Н. Изергиной, а они передали мне письма М.Н. к Цветаевой. Это дало мне возможность составить их переписку, которая вошла в несколько сокращённом виде в мою книгу «Крымские «аргонавты» XX века», вышедшую в 2003 г. в издательстве «Критерион» при содействии Дома-музея Цветаевых в Борисоглебском пер.

С Анастасией Ивановной Цветаевой Мария Николаевна Изергина познакомилась, очевидно, в начале 1960-х годов через М.С. Волошину. Их переписка, охватывает период протяженностью более 26 лет[1]. Первое письмо А. Цветаевой датируется 19-м мая 1966 года. Думаю, эти письма достаточно точно характеризуют и самих корреспондентов, и отношения между ними, на протяжении лет менявшиеся.

Хотя в последние годы отношения между М.Н. Изергиной и А.И. Цветаевой нельзя назвать безоблачными, Мария Николаевна была искренне привязана к ней. А.И. Цветаева, так же как и М.С. Волошина, была для Марии Николаевны человеком важным и значительным. Известие о её смерти очень расстроило Марию Николаевну, и было, как она сама считала, одной из причин инсульта, случившегося с ней осенью 1993 года.

В данной публикации ликвидированы некоторые сокращения в письмах А.И. Цветаевой, ранее сделанные в книге «Крымские «аргонавты» XX века».

Переписка Анастасии Ивановны Цветаевой и Марии Николаевны Изергиной

А.И. Цветаева 19.05.1966 г.

«Милый друг!

Через час наш поезд тронется. Когда мы отъехали, а Вы, постояв, пошли к морю, – сердце рванулось за Вами… Сажаем Е.Ф. на такси и идём с Наташей в буфет, чтобы взять на дорогу солнце, ветер. Скоро стихнет шум моря и с ним станет затихать Ваше пение. Всё напеваю „Звезду"! < …>»

А.И. Цветаева 21.05.1966 г.

«<…> Какой рай Коктебель! Вы – постоянно на сердце. Я отдыхать не умею, но время Вашего пения – отвага и нега, шарм голоса – легли в душу чистым золотом отдыха. Как я хочу Вам счастья, радости. Храни Вас Бог».

М.Н. Изергина 27.05.1966 г.

«Дорогая мне, Анастасия Ивановна!

Не сразу Вам ответила, т.к. не исполнила сразу Ваших просьб, а теперь уже пишу с чистой совестью. Сегодня была на кладбище, окропила крестик и положила под ним две красные розы. Был спокойный, немного пасмурный вечер. Я посидела там немного и думала о тех вещах, о которых не стоит думать, но всё равно вечер был прекрасный.

Сейчас во всём своём расцвете – весна и мне всегда жалко, что вот она скоро кончится, а я пропущу её, чего-то не успею, чего-то не досмотрю. У меня цветут такие необыкновенные розы, что в сущности надо сидеть и смотреть на них, а всё время занимаешься какой-то ерундой, какими-то бесцветными обязанностями и болтовнёй.

Также замечателен запах цветущих маслин. Я убеждена, что если сидеть и долго всматриваться, вернее, вникать в розы, то, наверное, откроешь какие-нибудь законы мироздания. В них так всего много: красоты формы, запаха, цвета; даже какое-то излишество, ей самой тягостное. Несомненно, это что-нибудь да значит и это можно узнать, если в это углубиться, как Ньютон открыл тяготение, глядя на яблоки. Вы извините за эти фиоритуры воображения, я ведь не писатель и со знаками препинания у меня не лады; но уж такая весна!

Мар. Степ. начала ремонт и полна гордости за свою смелость и ужаса перед всем происходящим. Всё вынесено, разгромлено. Кучи штукатурки. Даже как-то больно видеть, а ведь ей тем более.

Анастасия Ивановна, мне очень приятно получать Ваши открыточки, это какие-то лучики души. Присылайте их мне, если у Вас будет время и внимание ко мне.

Очень жаль, что Вы уже уехали. Целую Вас и хочу для Вас душевного покоя и радости. Ваша М.Н.

P.S. Перечитала письмо, чего-то не выразила, что хотела выразить: моего какого-то тяготения к Вам, может оно передастся между строк».

А.И. Цветаева 3.06.1966 г.

«Дорогой и любимый друг!

Спасибо за Ваше прелестное, ароматное, как Ваши розы письмо! От него веет и пением Вашим, мне незабвенным. Оно пришло в самые трудные дни, в семейную трагедию, обострившуюся и взявшую мои силы без остатка и возврата. В жаре дня и пустынной казахской степи, где такой избыток солнца, что он тяжёл, я перенеслась в ветряный, влажный, прохладный в те наши дни Коктебель, где я была так свободна и праздна, точно не было у меня семьи с её заботами, которым не подберёшь имени, так они многообразны и спутаны в крутой узел… Вы чудесно написали о розах. Листок трепетал в руках, и <u>всё</u> донеслось, о чём Вы думали, что не донесётся – донеслось и несётся ответно Вам!

Я тоже скучаю о Вас очень и буду писать через всю занятость. И ещё у меня к Вам просьба, – если она не трудна: записать нотами (без аккордов) <u>мелодию</u> 2-й „Звезды“. За две недели суеты и огорчений, труда, спешки, я её утратила, а теперь она полна Вами и очень хочется её про себя напевать…

Обнимаю Вас и хочу Вам счастья. Жму лапы Боссу, пусть не рычит. <…>»

А.И. Цветаева 19.06.1966 г.

«Дорогой и милый друг!

Сколько раз хотела писать Вам за месяц разлуки, Вы постоянно в моём сердце – удивительно неизменно и нежно, но совсем нет времени. Вот! Час, когда я вдруг одна (сын с невесткой на огороде, младшая внучка спит, старшая готовится к экзамену у подруги, дом пуст, жара спала – и я взяла карандаш). Меня беспокоит Ваше молчание – отчего оно? Вы свободней меня. Я получила Ваше письмо в ответ на моё дорожное 2-го июня, в понедельник, в очень тяжёлый мне день и тотчас Вам ответила и ждала со дня на день – Ваш, считая, когда он может быть, и так и не дождалась.

Или уже забыли? Грустно – но всё же лучше так, лишь бы Вы не заболели, и хоть бы не случилось какой бы реальной причины, мешающей Вам написать мне. Отзовитесь!

Сколько раз я рвалась Вам писать, но я так перегружена сложным положением в семье и тем, что рвусь на части в семейных неприятностях и несправедливостях ко мне, к которым, хоть этой трагедии уже два десятилетия, привыкнуть никак не могу.

Сейчас Рита кончает 11 класс и – пятёрка по языку (фр., которому я учу её с 12 лет). В виде исключения ей сделали добавочный экзамен по англ. (которому я учила её) и тоже 5. Удивительный аттестат: если геометрию сдаёт так же, как и все на 3, то красуются рядом две 5-ки по языкам (2 языка, невиданный случай!). Но эти языки я вбила ей из под палки, родители вставляли палки в эти наши занятия, а теперь за эти 5-ки я не получила ни от них, ни от Риты „спасибо“. День набит делом до отказа, редко успеваю прилечь на полчаса днём, ночью не всегда досыпаю.

Частое искушение – более не приезжать – до сей поры не выполнено мной – продолжаю, чтобы хоть летом увезти девочек из этого буквального жара и переносного пекла – в другой пейзаж, в свежесть им полезной Балтики. Но старшая эгоистка, а младшая ребёнок, и день мой и там нелёгок. Однако там я хозяин дня, где мало любви и долг выполняется с раздражением. Вот хоть в двух словах о себе <…>»

М.Н. Изергина, Г.Н. Петников 26.06.1966 г. (телеграмма)

ДОРОГОЙ ДРУГ ВСЕГДА С ВАМИ СЕЙЧАС ИДЕМ С МОРЯ ОТ МАРИИ СТЕПАНОВНЫ ДУМАЛИ И ГОВОРИЛИ О ВАС СЕРДЕЧНО Я ОЧЕНЬ ЗАНЯТА САДОМ А Я ОТПРАВИЛ ВАМ БОЛЬШОЕ ПИСЬМО И СТИХОТВОРЕНИЕ ЗВЕЗДУ ВЫСЫЛАЮ ВСЕ-ТАКИ БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ОБНИМАЕМ ЖЕЛАЕМ ДУШЕВНЫХ СИЛ ПЕТНИКОВ ИЗЕРГИНА

М.Н. Изергина август 1966 г.

«Дорогая Анастасия Ивановна!

Я очень виновата перед Вами и перед самой собой, и объективно, что я так долго не писала Вам. Я вообще писать запросто, как сесть и запеть не умею. Мне надо сосредоточиться и сделать какое-то внутреннее усилие, чтобы путём письма что-то передать. Сосредоточится же последнее время было невозможно. Каждый день новые люди, требующие внимания и времени. Болтовня, встречи с людьми, долго отсутствовавшими, бытовые заботы совершенно меня закружили, а тут ещё мой племянник решил жениться, да ещё с большой помпой и умолил меня приехать в Ленинград на его свадьбу.

Я летала в Ленинград на 10 дней и уж там так закружилась в свадьбе, в старых знакомых и всяких зрелищах, что прилетела назад совсем выдохшаяся.

Сейчас я на месте, но опять куча народа (это Вам не майский, просторный, тишайший Коктебель), масса бытовых неполадок, трудно устранимых и всякая такая дребедень.

Я всегда помню о Вас и внутренне слежу за Вами и так хотела бы Вам чем-нибудь помочь, но Ваша одержимость восприятия всего Вас окружающего находится, мне кажется, в Вас самой. Ведь жизнь всё равно пойдёт так, как ей положено и нельзя вкладывать так много нервов живых и ранимых под её неотвратимо наезжающие колёса. Можно только сглаживать, но очень редко можно что-либо изменить. Никто и ничто так не ранит, как отношения со своими близкими, потому что ни за кого так не болеешь душой как за них.

Я не сомневаюсь, что и сын Ваш бывает резок с Вами, потому что понимает как нелепо и горько живёт и негодует больше всего на себя, а девочки ещё не понимают. У них нет душевного опыта, и они ещё придут к Вам внутренне.

Не огорчайтесь, а любите их. Они достойны Вашей любви и жалости.

Видите, какие христианские Вещи я Вам пишу, но вероятно это потому, что мой сын погиб, его нету со мной, и мне кажется, что в любом образе он был бы дорог, если бы был со мной. А внучки дают счастье самим фактом своего существования. Помните, что всегда может быть хуже и Ваша ситуация живая, это жизнь во всей своей сложности и она всегда богаче смерти и пустоты. Поступление Вашей внучки в вуз ведь это очень интересно, хотя и трудно. Может оттого и интересно, что трудно.

Если я завтра успею записать „Звезду", мою и Вашу, то я вышлю их с этим письмом, а если нет, то не стану задерживать письмо, а вышлю их со следующим.

Очень чувствую Вас, хотя Вы и далеко. Чувствую, как Вы трепещете, как мотыльки и бабочки, летящие на огонь, и также обжигаете больно свои крылышки на огне Вашего нервного беспокойства, но Вы такая, и, наверное, внутренний покой не Ваш удел. Целую Вас и желаю Вам больше любви, а она найдёт и силы, только постарайтесь из Вашего „presto" перейти если не к „andante", то хотя бы к „moderato".

Мар. Степ. находится несколько в вялом состоянии, по моему это потому, что её окружают мало интересные ей люди. Дорогая, целую Вас и не волнуйтесь. Всё будет хорошо. Ваша М.Н.»

М.Н. Изергина май 1967 г.

«Дорогая моя и волшебная Анастасия Ивановна!

Не корите меня, что я так долго молчу, и не забывайте меня.

Я не умею часто писать и писать письма вообще – без сюжета. Сейчас у меня появился сюжет. Во-первых, и это самое главное: Марии Степановне уже сделали операцию, и, кажется, удачно. Теперь остался неподвижный послеоперационный период. Так хочется думать, что всё пройдёт благополучно, и она сможет хотя бы читать. Это я только что узнала и даже не знаю подробностей.

Во-вторых, ко мне заезжал Григ. Ник. Петников. Он в совершенно плачевном состоянии. Для него характерно то пребывать на взлёте, писать стихи, быть уверенным в себе, то сваливаться в какую-то психологическую яму, всего бояться и находиться в отчаянном, жалком, беспомощном состоянии. Он выбрался ко мне с трудом – боялся ехать, идти и т.п., но всё-таки выбрался и излил на меня все свои горести. Единственно когда он оживился и стал похож на человека, это когда он стал говорить о Вашем „Кокчетаве". Он вдруг весь встрепенулся и, когда кончил рассказывать, как-то вздохнул с облегчением и сказал: „ну вот, как-то и легче стало". Он мне сказал, правда, под большим секретом, но Вам то уж можно, что его очень поддерживает мысль, что Вы о нём молитесь. Он не чувствует из-за этого одиночества и считает, что Вы для него целебны. Его также трогает Ваше отношение к нему. Вот видите, как, даже на расстоянии, Вы делаете доброе дело.

Он очень бедный и его очень жаль, но это пройдёт. У него это уже бывало, но он каждый раз считает, что это навеки. Анастасия Ивановна, дорогая, когда будете писать ему (а если бы Вы написали это, было бы очень хорошо), то не пишите о том, что я Вам здесь насплетничала, и о болезни его тоже подробно не пишите, а то он на меня обидится и огорчится.

Как Ваши деловые дела и неужели Коктебель не состоится. Мне бы так хотелось Вас повидать. Здесь до сих пор нет ещё настоящего тепла. Очень поздняя весна, но всё равно вокруг блистательно.

Я плаваю только в быту – в море ещё холодно – но, несмотря на все бытовые нагрузки, играю и пою, так что не совсем закоснела. <…>»

А.И. Цветаева 1.06.1967 г.

«Дорогая Мусенька! Можно? Отвечаю на Ваше письмо. А вот уж Ваш эпитет „волшебная“ – это Вы, вынув его из зеркала, от своего отражения, перекинули, как мячик – мне.

Но повторять его Вам, чтобы не наскучить, не буду, а только скажу, что именно волшебства-то в Вас „хоть отбавляй“. За Марусю В. от всего сердца радуюсь. Будем надеяться, что всё пройдет, и она будет видеть.

Непременно напишу Г.Н. Хочется знать о его здоровье, настроении, о книге – и его отзыв о „Кокчетаве“ <…>»

М.Н. Изергина 13.07.1967 г.

«Дорогая, дорогая Анастасия Ивановна!

Не прошу у Вас прощения за долгое молчание, во-первых, оно непростительно, а во-вторых, если я не могу писать, то не могу, и ничего с этим не поделаешь. Б.А. скажет Вам о моих угрызениях совести. Спасибо Вам за ноты. От них пахнет стариной, моим детством и юностью и сладостным невозвратимо прошедшим. Я почти в этом году не пою. Как-то не приходится, а всё больше слушаю, как поют современные барды и менестрели, аккомпанируя себе на гитаре; поют меланхоличные, ироничные песни; не поют – а почти говорят. Мне нравится.

У нас жаркое и несколько утомительное лето. Море убрало пляж. Коктебелю, по-видимому, нежеланны приезжающие теперь „отдыхающие“ и он лишил их возможности проводить отпуск так, как они привыкли – валяться на пляже и „загорать“

У меня в этом году что-то не интересующее меня окружение. В разговорах всё ходишь вокруг да около, а о чём-то настоящем не разговоришься; нет каких-то нужных душевных нитей. Я не скучаю, но немножко томлюсь. Мар. Степ. видит лучше, двигается лучше, говорит, что она полна цвета и света, но контуры неясные – нет нужных очков. Вообще она в этом году чувствует себя слабо, всё прихварывает.

Г.Н. был как-то у меня. Чувствует он себя по-прежнему плохо, совершенно расшатана нервная система, и собрать себя он никак не может, но это у него бывало и пройдёт. До сих пор Ваш „Кокчетав“ не попал мне в руки. Придётся самой поехать за ним.

Я надеюсь, что у Ваших всё благополучно, и Рита перешла на следующий курс успешно. Мне Б.А. говорил, что Вы собираетесь в Палангу, ну а потом, я надеюсь, что Вы посетите, наконец, и нас. Очень хочу Вас повидать и побыть с Вами, а то письма для меня – плохая замена.

Целую Вас и хочу, чтобы Вы себя берегли и не утомлялись, хотя знаю, что при Вашей интенсивности Вы этого не умеете. Люблю Вас и всегда где-то внутри себя о Вас беспокоюсь. <…>

Розы отцвели, но зато на ветках – оранжевые сияющие абрикосы».

М.Н. Изергина 29.12.67 г.

«Дорогая, дорогая и особенная Анастасия Ивановна!

<…> поздравляю Вас с Новым годом, желаю всего Вам лучшего, радостного и счастливого. Очень Вас люблю и всегда беспокоюсь за Вас.

Анастасия Ивановна, мне Бор(ис) Ал(ександрович) прислал им написанную Вашу характеристику (слово характеристика – это прозаично), увиденный им Ваш образ. Всё это очень хорошо, он очень правильные подыскал слова, но я Вам хочу написать о своём представлении Вас, правда, путём сравнения.

Я очень расстроилась из-за Ваших взаимоотношений с Мар. Степ., но потом поняла, что иначе и быть не может. Вы обе не можете ощущать друг друга. И мне представилось: Мар. Степ. это очень индивидуальный, очень крепенький кулачок, который всё ему принадлежащее крепко зацепил и держит крепко, разумно и всё сохраняет. А Вы? Вы стрела. Трепещущая, всегда куда-то устремляющаяся, напряжённая и острая. Вы не слепая, злая стрела, а Вы стрела волшебная и даже если Вы попадаете в болото к лягушкам, то находите там царевен. Вот по поводу болота и царевен – мне очень хочется прочесть Ваш „Кокчетав“, а Григ. Ник. мне так его и не дал, хотя говорил, что это очень хорошо. Как бы мне его заполучить? Вот почему Вам с Мар. Степ. – никак. Вы не имеете ни одинаковых плоскостей, ни одинакового ритма и целей. Просто Вы два совершенно разных качества. Всё-таки я надеюсь, что я Вас увижу в Коктебеле, хотя бы у меня. Я пока никуда не трогаюсь. Созерцаю и сосредотачиваюсь. Не могу всё время спешить и празднословить – устаю как-то морально».

А.И. Цветаева 27.01 68 г.

Мусенька милая! Не думайте, что я – пень, потому что молчу в ответ на Ваше прелестное, как Вы, письмо: я его ношу с собой в сумочке – от – и для – ласковости. Греет…

А Вам шлю (нарочно писала копиркой) моё письмо к Рите, которая собирается приехать на каникулы на днях – оно расскажет обо мне именно в том тоне правды, который я теперь (с возрастом) редко беру с людьми: зачем им, даже и друзьям моя о себе невесёлая правда? Но вот видите – Вас отделяю, Вам шлю, Мусенька. Может быть, весной свидимся, если Бог захочет. <…>»

А.И. Цветаева – Внучке Рите 27.01.68 г.

«Дорогая Рита! Завтра утром отошлю это письмо авиа – может быть, оно ещё застанет тебя. Хотелось бы, чтобы ты ехала ко мне, представляя себе яснее картину моей жизни. Мало времени, пишу кратко – и то не всё упишу.

Поедем ли в Ленинград – решится, как буду себя чувствовать и получу ли вовремя точные указания, встретят ли, кто, куда ехать. Для тебя мне бы хотелось впечатлений зрелых (была в Ленинграде ты подростком), и встреч с людьми, тебе новыми и может быть интересными. Но если будет неют холода и моя усталость, как сейчас, может быть и не смогу. Будет видно.

Соседова комната пуста и, если он и его компания не вернётся, то хорошо – будем в Москве ночевать у меня… Между моим „ложем" и твоим – самодельное бутафорское кресло, впрочем, уютное, мягкое – вещи сами сложились по моему желанию, сказочно. II я ревностно, моля Бога о силах одолеть, готовлю комнату к твоему приезду – чтобы был чистый воздух, я три раза без всякой помощи таскала в прачечную „самообслуживания" все залежи не стираного белья, закладывала в стиралку, выгребала и везла на тачке в сушилку и тащила по морозу, с завязанным коленом, по улице. Уф! Сердце очень сдаёт, то болит, то бурно бьётся, ночью задыхалась, открывала фортку… Послезавтра мне ещё останется узел в химчистку „самообслуживания", дал бы Бог доделать. Тогда в комнате будет – по моим, и даже сверх сил – хорошо. II придёт настройщик, может быть и Володя согласится у нас поиграть. Стараюсь, как только могу – но важны две вещи: 1) Чтобы я не сдалась на слабость сил, которые ощутимо тают, чтобы Бог помог! Духом пасть мне – нельзя. II 2) Чтобы ты поняла, как мне нелегко жить, ощутила бы, поверила, одолела бы свой молодой эгоизм, не спорила бы, не делала бы по-своему, не дерзила бы, не учила меня – пожалела бы. Впервые – с осени – ощущаю приближение смерти. Сердце моё – главная опора – сдаёт, чуть что сделаю – нечем дышать. Прошло ощущение долголетия.

Сделала всё, чтоб ускорить книгу: прошу помощи мне в издательстве через Антокольского, Благого, Шагинян – делают… Устраиваю кусками и в литгазету и в журналы – чтобы обеспечить нам лето. Молю Бога, чтобы дожить до выхода книги – надо дожить.

Но дороже всего мне свобода, для неё одиночество, ни с тобой, ни с мамой, ни с папой жить не могу, нервов уже не хватает, одни слёзы. Должна жить одна. Но это: быт + лит. работа мне почти не под силу – помощников никого… Есть много друзей – будут горевать потом обо мне, но помочь мне не могут – у каждого трудная своя жизнь. Всё это видит Бог – на него надеюсь.

Важно, чтобы ты поняла. Радуюсь тебе – но волнует вопрос о лете… Летом тебе в К(окте)бель нельзя (жара). II м(ожет) б(ыть) уже будет крах с К(октебе)лем: и Петников, и Маруся (М.С. Волошина – Н.М.) *пишут, что штормы обрушили набережную, вид как после землетрясения. Гр. Ник. Петников пишет, как Маруся в ответ на моё предложение хлопотать (она очень слабеет, неск(олько) раз падала) устроить её в Геронтологический Институт (где лечат старость) ответила: „Море с грохотом подбирается к Дому, Дом содрогается, выдавливает стёкла. Крыша течёт, ночью гул, треск, шум, очень страшно. Но оставить Дом не могу. Как Бог. Что должно быть – будет…"*

Океанская волна (в гладком море купался) настигла премьер министра Австралии – погиб. Утонула знаменитая певица (Обухова). Утонул известный архитектор Корбюзье…

Обнимаю. Good bless you. Вокруг меня твои детские рисунки, фотографии. I love you, my darling. Prey for us all!…»

М.Н. Изергина март 1968 г.

«Дорогая Анастасия Ивановна!

Спасибо Вам за письмо и за копию другого. По этому другому я поняла Ваши взаимоотношения с Ритой. Вы не огорчайтесь, дети этого возраста всегда резки и ленивы, она не исключение, а, кроме того, между нами и ими громадная пропасть. Мы испытали слишком много, а они не испытали ничего. Это послевоенное поколение и у него никакого душевного опыта, а оттуда и невозможность понять другого и поставить себя на его место. Да ещё на место человека с перегрузкой душевным опытом.

Анастасия Ивановна, я ещё хочу Вам написать, что когда бы Вы ни захотели приехать в Коктебель, одна или с внучкой, я буду очень рада предоставить Вам приют у себя, как гостье и как желанному, близкому человеку. Только напишите, когда Вам удобнее приехать. Григ. Ник. меня довольно часто навещает, и мы часто говорим о Вас.

У нас после несносно утомительной зимы, началась холодная ветряная весна. Цветёт миндаль и гиацинты, набухают почки, а воздух холодный и резкий. <…>»

М.Н. Изергина 24.05.1969 г.

«Дорогая Анастасия Ивановна!

Вы, наверное, уже получили письмо от Григория Николаевича (Петникова) и знаете о моем горе[2]. Я не писала Вам об этом, мне очень тяжело.

Жизнь, для меня лично, заковыляла дальше. Чем-то занимаюсь, что-то делаю. До сих пор не могу начать играть и петь, а уж петь в особенности.

Всё-таки хочу узнать о Ваших планах относительно Коктебеля, хотя мне самой неясно, что и как у меня будет, но я всегда рада видеть Вас у себя…»

А.И. Цветаева 11.06.1969 г.

«Дорогой милый друг, Мусенька!

Не писала Вам и по нечеловеческой занятости – сдавала книгу в издательство, 1000 сложностей, тревог, нагрузка глазам – но ещё потому не писала, что знала: словами такому горю не помочь – но я испытала Ваше горе, 2 года спустя после гибели Марины (от меня её скрывали) узнала, что её нет – и 4 года в лагере, день за днём свыкалась с её смертью – и знаю, как это неестественно, трудно и неутешно, утешенье одно: что и мы уйдём туда в свой час, и что души сольются там лучше, чем здесь пытаются слиться душевные чувства и тела. Я молюсь об Антонине, сестре Вашей, каждый вечер, идя ко сну. И она там, узнав Бога, о Вас молится. Старайтесь и ей помочь – хоть бы попыткой молитвы – не слушайте трезвых слов своих: „как же я могу", если постараетесь чувством непостижимости её судьбы приобщиться к Богу! Шаг – и он обнимет со всех сторон, придёт час. <…>»

30.08.1969 г. в поезде

«Дорогой друг мой Марусенька, Мусенька! Всё лето была мысленно с Вами, но события и труд (нрзб) с 2-мя девочками, операция апенд-та Оли в VII, приезд Риты и занятия с ней фр., с Олей англ. и музыкой. У Оли диета – варка еды дома на эл. плитке, потреб. лекарства, недостаток оных, жара, от которой надо было спасать Олю и спасаться, и куда рвалась Рита – а порой приступы (нрзб) у Оли и – разные диагнозы – отъезд в М-у (нрзб) и к педиатрам, 10 дней между них – и снова сборы в путь к ученью Оли к родителям. Р. уехала в Кокчетав на свой посл. 4 курс, а я везу Олю в дом, где – сумеют ли ради неё умерить ссоры?»

А.И. Цветаева 20.11.69 г.

«<…> поёте ли? Я Ваш голос люблю как птицу – хочется погладить пёрышки…

Как Лыска? Вспоминаем с Женей „Одалиску", „Звезду" №1 и №2, шум моря – и это скрашивает тусклые мои дни.<…>»

М.Н. Изергина 25.12.69 г.

«Дорогая Анастасия Ивановна! С Новым Годом и, надеюсь, он будет без передряг, без хлопот, всё будут здоровы и благополучны, жизнь потечёт ясная и гармоничная, погода будет ласковая, люди добрые, в общем, будет так, как обычно не бывает, но надо надеется, что когда-нибудь же будет.

Я живу в Питере у племянника и занимаюсь его делами. Питер тёмный, ветряный, холодный.

Мы с Вами в этом году и не поговорили, как следует. Всё было какое-то мельтешенье, да и в душе у меня было неважно.

Целую Вас. Берегите себя, а то за Вас всегда сердце болит, такая Вы всегда усталая и хрупкая.

Всегда Вас любящая Муся»

М.Н. Изергина август 1970 г.

«Дорогая Анастасия Ивановна!

Целую вечность Вам не писала, но я не мастер на письма, а Вы целое лето летаете по разным направлениям, и совершенно неизвестно, когда дойдёт до Вас моё письмо.

Из письма Бор. Ал. знаю, что Вы мечтаете осенью попасть в Крым, но мы сейчас, как будто в карантине[3] и к нам не пускают. Точно я не знаю, потому что всё каждый день меняется. <…>

У нас здесь чудно. Все толпы разъехались, Коктебель похож на себя. Пляж пуст и чист. Воздух прекрасен. Солнце… Тишина… Вода тёплая, купание чудесное. Я так хочу Вас повидать, хотя настроение у меня, как говорится „не ахти"!

Всё дело в Григ. Ник.[4] Вы ведь знаете, что он болен, и на всё это трудно и тяжело смотреть. Процесс идёт медленно и, хотя он из дому не выходит, но старается бороться со своим состоянием, считает, что всё это нервное и стоит ему себя взять в руки, и всё пройдёт.

Ментально он в полной форме, читает, переводит польские стихи и в разговоре интересен по-прежнему. Я, когда приезжаю к нему (не очень часто), сижу всё-время у него и так и не удосужилась навестить Евг. Фил. <…>

Дорогая Анастасия Ивановна, так бы хотелось Вас повидать и услышать Вас. Я всё-таки надеюсь, что это осуществиться. Мар. Степ. Вас ждёт. Она в форме, несколько раздражительна, как всегда, но это простительно.

Я немножко играю и пою, но как-то рассеянно. <…>»

М.Н. Изергина 27.12.1970 г.

Дорогая Анастасия Ивановна!

Поздравляю Вас с Новым Годом и желаю Вам сил и здоровья, а остальное тогда не будет так трудно достижимо. Ведь Вы умеете сильно желать и настаивать на своём.

Я сейчас нахожусь в Ленинграде и развожу с женой моего племянника. Это сам по себе положительный факт, т.к. она девочка глупая и злая, но всё это сопровождается такими трудностями с жилплощадью, что не знаю, как мы выберемся из всего этого.

После отъезда ничего не знаю о Мар. Степ., но когда я уезжала, она была в порядке. Кого мне нестерпимо жаль – это Григ. Ник. Он так жалобно барахтается в своей медленно наступающей смерти. Но будем надеяться, что Бог смилостивится над ним и избавит от лишних мучений.

Написала Вам грустное и совсем не новогоднее письмо. Простите! Как Вы? Как книжка? <…>

Свой дом и своих животных поручила соседям и, как будто там всё благополучно. Здесь так сумрачно и грязно после моего блистательного Коктебеля. Я надеюсь, что мы снова с Вами встретимся в будущем году и поговорим, а то в этом как-то не успели. <…>»

А.И. Цветаева 15.07.1971 г.

Дорогая Муся! После радости телеграммы – смущение от письма: я поняла в словах тел-мы «Вполне возможно» – возможно, да ещё вполне! – сейчас же дала Андрею телеграмму о Вашем согласии на его приезд и в телеграмме же отговаривала брать направление на лечение (ему не подходящее) в Сочи, а ехать к Вам. П.ч. Маруся больна, что и сообщила мне телеграммой. Да и Маруся – Вы её знаете: и усталая (возраст), и капризная (природа). О Вас же я ему написала, кто Вы, и что – мой друг. Только Ваше обещание в письме – если у Вас не будет места – помочь ему устроиться в др. месте – вновь окрылило меня. Хотя мне хотелось бы – лучше, чтобы он жил у Вас! А как с жильцами и с зам-Босса? П.ч. всякий другой пёс будет всегда зам-Босса только. Так необычна была его получеловеческая и даже певческая привязанность к Вам. А зам его всё кусается? И если Андрей приедет к Вам, то можно ли подойти к дому без опасности быть разорванным? Как все Ваши жильцы в 1-й раз входили в Ваш дом? Я, укушенная трижды (в последний раз в Эстонии в 1-й день приезда добро-клянчившейся чудной собачкой, к которой я наклонилась от умиления и которая хватила меня у глаза), со скорбью избегала Ваш дом, как помните, и вспоминала Босса.

Андрей – наружностью и отец, и я – люди узнавали его то как Трухачёва, то как Цветаева (в 1-й раз видя) – таково сходство, жалею, что не показала Вам его фотографии – был и ребёнком, и юношей, и до 46 лет красавцем лучше отца и меня. Теперь стареет сильно, худ, но глаза ещё – прежние и обаяние ещё сохранил, собеседник интересный, много знает (и испытал, и запоем читает), сейчас ему 58 лет. И очень устал от финансово-инженерной работы, не отдыхал много лет, и мог бы в Коктебеле, где жил с 1,5 до 8,5 лет, много раз возродиться… Я этого желаю – трудно сказать как! Надеюсь, е. б. ж. – быть в Коктебеле и Ст.Крыму в IX. М.б. уже привезу в подарок книгу (524 стр. и 17 фотогр.), сейчас идёт 2-я вёрстка – помолюсь на его могиле[5]… не знаете ли Вы, Мусенька, к.б. из старушек в Ст. Крыму – отпели? Нет?

Обнимаю вас, надеюсь привезти певч. ноты. Храни Вас бог! Ваша А.Ц.»

А.И. Цветаева 1971 г.

«<…> Я не думала в 43-м, в Бутырках, слушая Анненского „Звезду“, что в 71-м я вновь её так услышу, и что смысл её туманных слов так сольётся со светлым туманом непонятной печали и нежности к Вам. <…> Если не получили уже открытки на Ваш верный адрес (там я пишу просьбу прислать слова Вашей 1-й „Звезды“ со словом „волшебная“, которую Вы так чудно поёте – другой не слышу, вернее не слушаю, будучи так далеко – но слышу лучше, чем те Ваши слушатели!)

Ещё в той открытке я рассказываю Вам (вчера с ним расстались) о сыне, о муке с ним жить и о жалости к нему.

Бог поможет, и моя книга выйдет, Вы прочтёте о его отце, таком трудном – (о, как мне захотелось этого, дорогой друг мой!) Сделайте! Как только кончится ремонт у М.С., возьмите у неё 15-ю часть, там вложено в неё и начало знакомства с Борисом Трухачёвым из 14-й части, и лето 1915г. в Коктебеле с его приездом – одна из лучших страниц моей юности – как мне хочется, чтобы Вы её прочли! Побыли со мной – не отвратной старухой, а той, 16-тилетней… и там живой Макс… хорошо? Сделаете? Как я скучаю без Вас! И как обе „Звезды“ мне связаны с Вами. <…>»

А.И. Цветаева 23.10 71 г.

«Мусенька, милая, Вы всегда в сердце, горюю, что не удалось проститься: к Вам боюсь случайностей с Лыской, а Вы к нам более не пришли… Обнимаю, и помните, что я о Вас думаю, душой с Вами. Храни Вас Бог!

Я Вашим путём утрат[6] шла не раз и душа моя с Вами.

Ваша А.Ц.»

М.Н. Изергина март 73 г.

«Умная, хрупкая, дорогая для меня Анастасия Ивановна!

Ваша автобусная открытка была не особенно удобочитаема, и я принуждена была прибегнуть к помощи Розы, служащей Пушкинского дома, которая сейчас живёт у Мар. Степ. Очень рада, если доставила Вам удовольствие своим пением, хотя, когда оно уже записано, то как-то перестаёт быть моим, к тому же, по-моему, запись не очень хороша, голос какой-то глухой; а может ему уже пора иметь загробный тембр?

Мы здесь с Мар. Степ. живём – не тужим и не мечемся, как Вы, Madame, по всем республикам Союза. У нас был очень хороший Новый Год и замечательный сочельник. Всё было традиционно, романтично и красиво на фоне равномерного звука прибоя.

Февраль у нас был тихий и тёплый, а вот март что-то начинает поворачивать на зиму. Я завела себе щенка, мне его принесли маленького и серьёзного. Сейчас он подрос и стал похож на своих низеньких кривых лапках, на весёлого крокодильчика, но лицо очень симпатичное.

Думаю, что через месяц буду в Москве и, если Вы куда-нибудь не умчитесь или не будете очень заняты, надеюсь Вас повидать. <…>»

М.Н. Изергина весна 1974 г.

Дорогая Анастасия Ивановна!

Я не удивляюсь, что Вы поскользнулись и упали с такими тяжёлыми последствиями. Зимой в Москве было очень скользко. Я ходила с предельной осторожностью, а Вы ведь не ходите, а летаете. <…> Мар. Степ. приехала из Симферополя, с ней Ира Домрачёва. Чувствует она себя плохо, очень слаба, да ещё её прислуга ушла. Сейчас как будто кого-то нашли. Она, наверное, захочет, чтоб Вы жили у неё, но я не знаю как Вы и она, обе совершенно беспомощные, сможете существовать без домработницы. <…>

У нас весна затяжная, холодная, но сухая. Начинают цвести абрикосы, персики, гиацинты.

Я в трудах и заботах. Видела Никаноркина, он бежал в фарватере какого-то писателя. <…>»

А.И. Цветаева 1.08.74 г. Канун Ильина дня.

«Дорогая Муся!

Сразу отвечаю на Ваше письмо.

Сегодня 19 августа по старому, день св. Серафима Саровского, обретение его мощей. В этот день в 17-м году мы похоронили Алёшу, 20-го в Ильин день мы с Андрюшей 4-х лет и няней выехали в Феодосию – лечить заболевшего Андрюшу. А теперь рисунок, чтобы ответить на Ваш вопрос.

Рядом с могилой бабушки Макса легли в июле 17 г. наши мальчики – сперва Алик, затем Алёша. Насколько помню, ближе к ней лёг Алик, рядом (за ним) – Алёша. Крестики сгнили – за десятилетия, я в Коктебеле не была 42 года. Вместо крестиков Маруся посадила тамариск и сделала один холм. Когда мы с Вами ставили крест сразу двум детям, он и стал на один холм. Теперь, когда его переделали на два холма, то надо на 2-й, пустой ставить крестик. А мать Алика, видимо, давно умерла и на его могилке надо сохранить поставленный там крест.<…> А Алёше на правом холмике, сейчас пустом, надо восстановить крест и надпись на новом крестике – и тогда все могилы на нашем Волошинском кладбище будут с крестами.

Надпись же, ввиду того, что никто не знает фамилии моего второго мужа, надо сделать двойной: отца и матери – чтобы связать дорогой мне холмик – со мной, с 1911 года жившей в Коктебеле и которую помнят в Доме. Так и после меня прочтут:

Алёша Минц – Цветаев, род. 26.06 ст.ст. 1916 + 18.07 ст. ст. 1918 – прочтут, что умер на 2-м году, и пожалеют, как мы жалеем Володю – 10-тилетнего внука отца Михаила.

Если можно, закажите такой же примерно, как и 1-й крестик, они будут как маленькие братья – они ведь играли вместе на берегу – до дня, когда слёг Алик…

Отец Алика, художник Курдюмов, тоже более не приехал в Коктебель, потому что после смерти сына заболел психически, (он приехал уже заболевшим), подержался и в психиатрической больнице умер, насколько я помню. <…>»

М.Н. Изергина 9.09.1974 г.

«<…> Мне ясно, на какую могилку надо ставить крест. К сожалению, я это скоро сделать не могу по 2-м обстоятельствам.

Я уже писала, что сейчас, летом очень трудно с людьми, они заняты сдачей комнат, у них полно денег, и никто не заинтересован. Уже к октябрю будет легче, и мне уже обещали сделать.

Теперь 2-е обстоятельство: я имела неосторожность сказать, что я собираюсь сделать для Вашего мальчика крест, при Марии Степановне. Она страшно всполошилась, раздражилась и сказала, что она никоим образом не разрешит мне это делать, что я всё перепутаю, что невозможно, чтоб я наводила свои порядки и т.п. Ну, Вы знаете Марию Степановну, и что на неё вдруг находит. Конечно, я могу её не послушать и поставить. Она туда очень редко ходит, да и забудет про всё это, но дело в том, что её присные обязательно ей сообщат о моих затеях, и она разволнуется, а этого ей сейчас никак нельзя, она очень слаба после того криза, что у неё был. Она говорит: „вот когда Ася приедет, тогда другое дело, она всё там знает“. <…>»

А.И. Цветаева 14.08.75 г.
Мусенька! Шлю Вам мое новое.

Коктебель, май 1975 г.

Мне восемьдесят лет. Ещё легка походка
Ещё упруг мой шаг по ступеням
Но что-то уж во мне внимает кротко
Предчувствиям, приметам, снам.

Мне 80 лет? Сие понять легко ли
Когда ещё взбегаю по холму
И никогда ещё сердечной боли
Ни головной… но сердцу моему

Уж ведомо предвестия томленье
Тоска веселья, трезвость на пиру,
Молчание прикосновенья
К замедлившему по строке перу.

*****

<…> Как Маруся? Я сообщаю ей о + Али, Ариадны Сергеевны Эфрон, дочери моей сестры Марины 62-х лет от инфаркта в Тарусе.

Её выписали из больницы, сочтя, что ей лучше и велев лежать, приняв боль в лопатке за отложение солей и только при сильных болях – до крика – распознали инфаркт… Плохо работал аппарат электрокардиограммы. <…>»

М.Н. Изергина 27.04.1976 г.
«Дорогая Анастасия Ивановна!
Воистину Воскресе!
Пасху я, как всегда, была у Мар. Степ. Все было, как полагается, и стол и гости и настроение. Сама Мар. Степ. куксится, но, в общем, молодцом.
Теперь о деле. Вы спрашиваете меня, можно ли будет у меня остановиться. Я, как всегда, не знаю, кто у меня будет и когда. Люди приезжают совершенно неожиданно и на непредвиденные сроки. Единственно, что я могу сказать, что Вас одну я всегда могу приютить, хотя бы в одной комнате со мной. <…>»

М.Н. Изергина 17 августа 1976 г.
«Дорогая Анастасия Ивановна!
Давно Вам не писала и не отвечала. Очень трудно. У меня много народа, как всегда в августе. У всех свои требования, свои характеры. Приходиться всё держать в относительном равновесии. Тут же жара, духота, возня с поливом сада. В настоящее время похоронные дела моих знакомых в Феодосии. В общем, голова кругом. <…>
Числа 25-го вся толпа людей начнёт отбывать. Жду Вас, когда бы Вы ни приехали, если не будет комнаты, поселю у себя.
Сейчас проходят дни Макса, но не в Доме, а у Арендт. Всё грустно и непоправимо. <…>»

Из письма М.И. Лютовой[7], октябрь 1976 г.
«…25 октября, в день священный рождения Марии Степановны в 8 час вечера был вызов на телефонный разговор, и это оказалась Мандрыка (внучка Р.А. Орбели из Ленинграда – Н.М.)*. Проклиная всё, я пошла на этот разговор, и за это время переругались Мар. Степ. с Ан. Ив. Цветаевой, а если бы я не ушла и пела трогательное, то ничего бы такого не было. Было бы „растворение воздусей“.»*

20.12.1976 г.
«Дорогая Муся! Жду возвращения Вити и Вали, чтобы узнать. Но Вы всё, конечно, лучше знаете. Я не собралась. Стала стареть, д.б. зная, что не помогу уже ей – не поехала. В срочной телеграмме просила Володю и Розу хоронить у Макса – как она хотела.
Сегодня вторник. Если похороны были 20-го, вчера, Валя и Витя могли только прилететь, но не звонят. Позвоню сама вечером. А если поездом, то д.б. – завтра будут в среду. Господи, как неожиданно! Говорят, накануне была здорова? Весть эта дошла через скульпторшу Нину Вельмину (осенью я её видела у М.С., она уехала после меня), а вчера была

у меня в Голицыно: как-то через Анат. Ив. Григорьева узнала, что накануне Маруся была здорова. А тот получил телеграфом от.Ар.Ал. из Ялты (гостила у Тамары, Макс. племянницы). Ну, всё основное узнаем от Вити и Вали Ц. Но хочу узнать всё от Вас. От Кати Т. накануне мне было письмо, где тревоги о здоровье М. не было. Где она теперь останется до весны с сыном? Там же?

Мы с Марусей хорошо поговорили перед моим отъездом, Мусенька, примиренно и ласково – но теперь я каюсь, что не сдержалась на её последнем дне рождения! Огрызнулась, так грубо – зачем… Надо всегда глядеть на все á vol d' oiseau, а я… Св. отцы говорят: „Обращайтесь с близкими, кто вокруг – так, как если бы им надлежало умереть в тот же вечер…". Я испортила ей её последний праздник рождения, я, её самый близкий друг!»

М.Н. Изергина 12.06.1978 г.

«<…> Очень рада за Вас, что Вы живёте комфортабельно и творчески одновременно. Это редко бывает. У нас здесь всё по-коктебельски. Домрачёвы выращивают девочку (она похожа на Эрика), а я розы и виноград.

Так жаль, что Вы не смогли приехать весной, хотя погода была на редкость неласковая.

Дом закрыт в ожидании ремонта и от него веет унынием и бездарностью.

Мой щенок вырос и стал необыкновенно красивой собакой. Это тип большой овчарки, но он бледно-жёлтого цвета, добр и симпатичен. Ласков с детьми. Не любит простолюдинов. <…>»

М.Н. Изергина 5.12 1979 г.

«Дорогая Анастасия Ивановна!

Каюсь! Совершенно возмутительно, что я так долго Вам не отвечала. Даже нет никаких оправданий. После такого шумного лета и год жившей у меня многочисленной семьи, на меня напал какой-то анабиоз. Люди как-то мне безразличны, я не могу на них реагировать.

Погружена в уборку дома, но т.к. сил у меня мало, то всё идёт довольно медленно, а дела очень много. Играю на рояле. Почти не читаю, ничего не слушаю и ничего не смотрю. Может меня уже пора усыпить? Очень много энергии берёт Джим. Не он меня сторожит, а я его сторожу. Я с ним гуляла с поводком, и он меня уронил. К счастью, на мне это не отразилось, но фонарик выбыл из строя, а это важно.

Из новостей: мой сосед „Штырь" продал дом и убрался, поселилась там довольно милая и общительная семья из Алма-Аты, не особо культурная, но доброжелательная. Очень любят собак и кошек. Джим там всё время околачивается. <…>

Был замечательный ноябрь – тихий, тёплый, золотой. Сегодня завывает и выпал снег. Коты в порядке. Пищик стареет и с трудом влезает в окно. <…>»

М.Н. Изергина 19.01.1980 г.

«Дорогая, любимая, великодушная Анастасия Ивановна!

Спасибо Вам за материальную ласку. Всё я получила, только долго не отвечала, т.к. каждый день какие-нибудь мероприятия. То Сильвия ощенилась, то паёк надо получать, то детектив интересный попался. Только деньги я Вам назад вышлю. Вся эта Юркина затея совершенно ни к чему. Во-первых, я с этими начислениями и со своими деньгами справлюсь, а во вторых – у меня есть мощные финансовые тузы, у которых я всегда могу одолжить любую сумму на любой срок.

Главное не деньги. Надо бороться с другим. Почему-то когда собираются у местных туземцев на свадьбу или поминки и т.п., то можно собираться хоть 200 человек, пить, петь, плясать и горланить. Если же собираются у культурных людей культурные же люди, то это почему-то крамола. Почему? Собирались же у Мар. Степ. Когда собирались у Арендт по случаю 50-летия смерти Макса и чинно слушали стихи, воспоминания и доклады, то на другой день Алю таскали в милицию. Махониной дали понять, чтоб у неё не собирались, а мне всё время ставится в криминал, что у меня собираются, и, следовательно, разговаривают не о том, о чём нужно, так, по-видимому. Мне это прямо не говорят. Я, слава Богу, дожила почти до 80 лет, имею 7 почётных грамот и медаль за шефскую работу во время войны, жила при Сталине, прекрасно знаю, о чём можно и о чём нельзя говорить, слежу за этим, а меня какие-то молодчики из милиции в чём-то подозревают, считают, что у меня может быть самогон и какая-то шпана. Что это такое? Ведь нельзя же всем быть куркулями и горланить песни.

В Коктебеле осталось так мало очагов культуры, и их всячески притесняют. Вот об этом нужно написать. Я сама не умею, да и являюсь подозреваемой, а хорошо бы в Литературке или ещё где-нибудь написать.

Милый Моцарт, совсем уж не философ, а прекрасно сказал: „Люди созданы для самоусовершенствования и общения друг с другом, без этого не может быть ни культуры, ни искусства".

Бедная Махонина, совсем захирела и хочет уезжать, да и мне эта атмосфера опротивела.

Вот Анастасия Ивановна! У Вас есть авторитет, поднимите этот вопрос.

В остальном всё благополучно. Хотя я не люблю февраль, и у меня кончился хороший уголь. Но я получаю паёк, как одинокая пенсионерка и с продуктами у меня хорошо. У нас лежит снег, хотя днём тает. Животные в порядке. Я оставила Сильвии одну девочку. Почему-то она специализируется на девочках. Кому я её потом устрою – Бог весть. <…>

P.S. По моему это наделала статья Ф. Кузнецова о нудистах, поэтому надо действовать тактично и не дразнить гусей.»

М.Н. Изергина 4.02.1981 г.

«Дорогая Анастасия Ивановна!

Как это всё-таки с моей стороны плохо и глупо получается. Я Вас очень люблю, скучаю без Вас, а писем Вам не пишу, и даже не поздравила Вас с Рождеством и Новым Годом. Надо сказать, что я никого не поздравила. У меня было такое нежелание писать, что я его не могла преодолеть. То ли это возрастное, то ли эпохальное (сейчас все общаются по телефону), то ли я очень устаю за лето от общения с людьми. Сейчас я понемногу раскачиваюсь и начинаю писать. Сторожу своих животных и пока они целы, хотя стреляют и собак и кошек.

Играю на рояле и немного читаю. Заедает быт, хотя я и провела себе воду в дом и даже с нагревателем. Читала „Воспоминания Ал. Бенуа". Какой это прелестный человек! Какой человечный, знающий и снисходительный. Я же вот не люблю своих воспоминаний. Все умерли, и о ком ни вспомнишь – это всё книга с плохим концом. Вам же за все ваши невзгоды воздаяние в большом семействе, потомстве. И как это счастливо! Хотя, наверное, беспокойно. Оттого Вы, наверное, и пишете воспоминания, так как всё то отошло, умерло, а живое впереди.

Очень рада за Вас, что у Вас что-то будет напечатано, хотя не разобрала, что именно. Рада и за себя, так как я это прочту.

У нас зимы нет, тепло, хотя и непогода, и я с Борей и Евой встречала Новый Год не с ёлкой, а с веткой цветущего миндаля.<…>

Мой рыжий ушастый зверь сидит на цепи и грустит, Сильвия без него не выходит, а Пищик, как всегда „сам по себе". Ведь его не удержишь. <…>»

М.Н. Изергина 18.06.1982 г.

«<…> Относительно моих воспоминаний об этих трёх вокалистах, то вот они.

1.) Андерсон слыхала только по радио и потому сказать о чём-то личном не могу.

2.) Зою Лодий слыхала много раз. Она была внешне негармонична. У неё был небольшой голос (микрофонов тогда не было) и она пела или в небольших залах или перед занавесом. Обладала удивительным вкусом и чувством стиля. В этом отношении была безукоризненна, но пение её на меня производило впечатление некоторой сухости и холодности.

3.) Доливо-Соботницкий был необычайный певец, хотя певцом в полном смысле слова его назвать было нельзя. По величине у него был не певческий голос. Ведь он, в сущности, был фольклорист, собирал народные песни, потом стал их петь, затем стал петь самый разнообразный репертуар и добился огромного успеха. Я бывала почти на всех его концертах, когда могла. Он был калека и, когда выходил на сцену, то бывал довольно страшноват, но всё это исчезало, когда он начинал петь, его лицо становилось необыкновенно прекрасным и вообще, он переставал существовать, он целиком переливался в тот образ, о котором он пел.

Запомнилась песенка негра (названия не помню). Вместо него на сцене стоял молодой, глупый, жизнерадостный негр, весело напевавший свою глупую песенку.

Потом помню Булахова „Нет, не люблю я Вас". Начинал он с искренним желанием её не любить, потом при воспоминании о её взглядах и белых плечах влюблялся в неё снова и при повторении „нет, не люблю я Вас" был влюблён до отчаяния.

Но самое моё сильное впечатление было от сказки о медведе. Он начинал рассказывать сказку в прозе о медведе, которому мужик отрезал ногу. Тот сделал себе ногу из липы и пошёл к мужику и бабе ночью, чтобы их съесть. При этом Доливо начинал петь: „скрипи, скрипи нога липовая". На меня напал такой ужас, я вся похолодела и, хотя убеждала себя, что сижу в зале, в двенадцатом ряду, всё равно на меня шёл медведь и хотел меня съесть. Вот такой у него был дар передачи. Я рада, что написала об этом Вам, может это Вам пригодится.

О „Доме Волошина". Его отделили от галереи, вот только вчера. Теперь он будет самостоятельным. Какой будет у него статус, я пока не знаю. Там довольно приличный директор – Коржов, прекративший сплетни. Что касается Бори, то он так беззаветно и искренне любит Дом и Волошина и Марью Степановну, что готов о них говорить с утра до вечера даже бесплатно. Он очень много знает о них, читал и вообще очень способный человек, так что прославляем, как экскурсовод. За это его сослуживцы не любят. Знать много и любить не положено. <…>»

М.Н. Изергина 8.01.1983 г.

Дорогая Анастасия Ивановна!

С Рождеством и с Новым Годом Вас поздравляю. Не клонитесь долу. Будьте бодры и творчески насыщены и постарайтесь, как можно дольше задержаться на этом свете. Я не хочу Вас огорчать, но Купченки так безобразно ко мне относились да и относятся, я их хорошо проверила на себе, и Вы меня на них не уговорите. Я настолько от них далека, что, даже живя здесь, понятия не имею, что с ними происходит и почему их надо от кого-то защищать. Я предпочитаю думать о Вас. Спасибо за журнал. Очень интересно! Вы такой же романтик и фантаст по отношению к действительности, как и Марина. Вы умилительная в этом.

Целую и люблю Муся.»

М.Н. Изергина 3.06.1984 г[9]**.**

«Дорогая Анастасия Ивановна!

Получила Вашу открытку и очень огорчилась, узнав, что Вы не хотите приехать в Коктебель, и таким образом я Вас не увижу.

Меня очень удивила мотивировка Вашего решения и, раз Вы затронули этот вопрос о Купченко, я хочу раз и навсегда изложить Вам мою точку зрения.

О каких 20-ти годах служения Дому Вы говорите? 20 лет назад в Коктебель пришёл невежественный мальчик и столкнулся с высокой культурой, которая была выше его понимания и недостижима для него.

Волею судеб ему посчастливилось прикоснуться к ней и к ценнейшим документам, на которых он образовывался до доступного ему уровня, и которые его научили более или менее удачно компилировать чужие мысли, письма и дневники и таким образом дали ему профессию. За это <u>он</u> должен быть благодарен Дому, а не Дом – ему.

Почти до самой своей смерти Мария Степановна вела Дом и все его традиции уверенной рукой и поставила Дом на должную высоту. В этом ей помогли люди близкие к Дому, её природный ум, мужество и любовь. В качестве её секретаря и исполнителя её распоряжений, он (В.К.) был полезен, но когда после её смерти бразды правления были переданы этой супружеской паре, Дом и его традиции просто перестали существовать. Я его (В.К.) неоднократно предупреждала о значимости и ответственности этого места, но он ничего не понял. Купченки не смогли продолжить дело Марии Степановны. У них для этого не было ни ума, ни культуры, ни сердца. Что о них жалеть? Они получили прекрасную квартиру, работают на Биостанции в красивейшем месте и если сумеют удержаться, то и прекрасно. Ведь не забывайте, что за их ведение дел в Доме, всё начальство галереи получило выговоры. Если бы не Мирель, то на него собирались завести уголовное дело. Ведь Вы многого не знаете, Анастасия Ивановна, а я тут сидела и знаю. Главное же, если он хочет заниматься Волошиным, то пусть занимается. Ведь Волошин не Дом, а литература. Для меня они „ипе quantite negligeable". Даже могилы на кладбище не могли держать в порядке. Неужели это Вам ничего не говорит?

Мне важен и нужен Макс Волошин, его Дом, Мария Степановна, пронёсшая его наследие и высокий дух, присутствующий здесь. Вот за что надо бороться, о чём надо думать и что защищать.

Женщина, которая стоит сейчас как заведующая – энергична, благорасположена и производит хорошее впечатление на всех. Самое зло – это Трубникова, директорша галереи. Она всё время старается всё притушить, приглушить и заморозить. Вот с этим надо бороться.

Я верю, что этому помогут люди и даже, может быть, нечто Высшее. Мне странно, что Вы этого не ощущаете и благодаря случайным людям изменяете своим привязанностям, пронеся их через всю свою жизнь, и даже не хотите посетить их могил.

Я пишу не для того, чтобы Вас переубедить, Я просто высказываю свою точку зрения, которую не считаю нужным скрывать и которую не имею оснований менять. Вы основываете своё мнение на словах Марии Степановны. Я же слышала от неё следующее: „я думала, что они – люди, а они обыкновенные мещане". Моё мнение основывается не на её словах, а на том, что происходило и что имело свой логический конец.

Дорогая Анастасия Ивановна, не сердитесь на меня за это письмо, может быть резкое, но нельзя сердиться на откровенность.

Я Вас люблю и считаюсь с Вами, поэтому не позволю себе сказать Вам не то, что думаю.

Я очень надеюсь, что Вы перемените Ваше решение и приедете. Дом собираются открыть к 1-му июля. Там кипит работа.

Я не была ещё там, мне слишком тяжело <…>»

В письме от 8.01.1986 г.:

«…В Доме всё тихо. Партийные проверки и комиссии кончились тем, что Бочковскую сняли. Этого уже давно добивалась директор галереи Трубникова. На её месте особа партийная, обладающая 20-ти летним винодельческим стажем. Она ничего не предпринимает, т.к. понятия не имеет, что надо предпринимать. Боря на должности старшего научного работника (хранить фонды ему пока не дали) по-моему ничего не делает. Я там стараюсь не бывать. Покраска полов и скамей мне претит. Макс любил дерево как материал живой и никогда ничего не красил и Мар. Степ. тоже. Погубили стиль Дома.»

М.Н. Изергина 23.12.1986 г.

«<…> Боюсь, что поздравление запоздало, но я со своим уже непосильным хозяйством, всё и во всём не успеваю.

Была только что передача о Марине, но я её прозевала, очень жалею, даже не знаю, что там было.

У меня всё время толклись люди, а сейчас я, наконец, одна. Это несколько трудно, но зато покойно.<…>

В Доме я не бываю, там все на средне провинциальном уровне.

У нас очень хорошая солнечная погода. Много лебедей прилетело и они, бедняги, колышутся на больших, солёных, им не свойственных волнах. По-видимому, какая-то очередная стройка их спугнула с нажитых мест. <…>»

М.Н. Изергина 6.01.88 г.

«<…> Вы меня совсем забыли, а я Вас всегда помню и поздравляю с Рождеством Христовым. С уходом из жизни Славы я утратила связь с Вашим семейством[10].

О Вас я слышала от Кати (Толстой) *летом. В Доме-музее продолжается противная возня. Он заколдован, там ни минуты нет и не было покоя с уходом Маруси. Не знаю, над чем Вы работаете, что издаёте. Так грустно!* <…>»

Прежде чем привести следующее письмо М.Н. Изергиной (писем Цветаевой после 1976 года нет, сохранились лишь короткие поздравительные открытки), расскажу о предшествовавшем ему событии, описанном в дневниковых записях А. Цветаевой, опубликованных в журнале «Юность» №8 за 1989 год под названием «Зимний старческий Коктебель».

Анастасия Цветаева в сопровождении знакомого врача отправилась туда в ноябре со съёмочной группой телевизионного фильма о Марине Цветаевой. Она пробыла в Коктебеле 3 дня. На протяжении этих дней А.И. постоянно вспоминала о Мусе Изергиной и это неудивительно – после того, как не стало Марии Степановны, Коктебель у А.И. ассоциировался именно с Мусей. Цветаева всё время ждала её прихода, не решаясь по непогоде (в Коктебеле был ранний снегопад) идти самой – ведь ей было уже 94 года.

Некий поэт с голубыми глазами и бакенбардами, встреченный А.И. в день приезда, написавший смешные стихи, в которых – воображаемый разговор Анастасии Цветаевой с Максом Волошиным: «Скажи, скажи, Анастасия, Ну как – ещё стоит Россия?», обещал дать знать Мусе Изергиной, что А.И. в Коктебеле, но этого не сделал. И никто не удосужился предупредить М.Н., поэтому встреча, которую они обе так ждали, не состоялась.

Приведу несколько фрагментов из «Зимнего старческого Коктебеля», относящиеся к Мусе Изергиной и отражающие отношение к ней Анастасии Цветаевой.

«…А тот поэт с бакенбардами – неужели забыл сказать обо мне – Мусе Изергиной? Не идёт ведь… А мне – к ней с постоянной заботой о смене обуви по такой дороге… И вдруг не застану, а может быть, она – в доме, а Джим – пёс её, когда-то щенком у меня на коленях – не узнает у калитки меня, бросится? Вот и вспомнишь тут телефоны московские, которые там *выключаешь*! Как бы включить от Муси ко мне – теперь… Но пока ещё есть время – её ждать! <…>

А Муся всё не идёт… Как хорошо я помню её 10 и 12 лет назад, в годы расцвета её пения, которое мы слушали с Алешей Шадриным. Но надо рассказать, кто был тот, кого я звала „Алёша“. Переводчик. И два слова о его биографии: молодость, красота, успех у женщин. И доносом одной из них – срок, лагерь. <…>

В 1963 году, впервые после лагеря и ссылки приехав, я, с помощью Муси Изергиной заказала Алику и Алёше крестик под тамариском. В 1966 году мы разделили могилки, поставили два креста. Туда, к ним меня проводил Алексей Матвеевич, что закрепило дружбу. Одноименность с Алёшей ещё больше сблизила; я стала звать его – Алёшей.

Ещё сблизила нас, как и моя, его любовь к пению Муси. Всё, что ещё цвело романтического в нас, – под её пение вспыхивало, как в молодости. <…>

Всё возвращаюсь к тому дню моего рождения, когда Шадрин ушёл за розами.

Я ждала его. Знала, что он ушёл за цветами. (Галантность?... Я не скрывала никогда – возраст. Он знал, сколько мне исполняется лет!). В этот вечер обещала петь Муся. Она знала, что её пение – есть радость моих приездов сюда. Она помнила, как, среди её старинных романсов услыхав „Звезду“, я вспомнила ту, другую, и, напевая по памяти, ввергла её, певицу, во власть Иннокентия Анненского, и она, лёгкими искусными перстами подбирая аккомпанемент, – запела. С тех пор эта „Звезда“ звалась – моею. Прослушав то искромётное, то – словно смычком по виолончели – мастерское Мусино пение, я говорила, став за её спиной или взглядом с ней обменявшись:

– Ну, а теперь – мою…

Вот „Звезда“ Анненского:

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя…
Не потому, чтоб я Её любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Неё одной молю ответа,
Не потому, что от Неё светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Теперь, в 94, желая проникнуть в суть волшебства этих строк, которые я – да ещё в волшебстве пения – прежде глотала целиком, как глотают устриц (я их никогда не глотала), – спрашиваю себя (Анненского): каков смысл последних двух строк?..

Последнее мне – туманно, но лирично звучит как утверждение, что Она *сама* свет…

Но я бы хотела по-старчески сесть в кресло и хоть раз ещё услыхать – в пении Муси Изергиной – эту самую „Звезду" Анненского. <…>

В тот вечер просила Мусю ещё немного подождать Алёшу – он *так* ценит её пение – как начать без него?

В уголку сидя, я глядела на прелестную, вечно юную Мусю, слушая блеск *её с кем-то беседы*, и думала об одном: Как войдёт с розами… как подойдёт ко мне? С розами – мимо стольких дам, к – старухе? И когда он вошёл – со стремительностью молодого и, лавируя между гостей – прямо ко мне, – где взять слова? У меня их – нет! И где взять слова о пении Муси в тот вечер? Когда, сидя рядом, мы вдвоём слушали песни – чью-то любовь – в такой передаче в грации голоса, ни с чем не сравнимого, память о ней – чью? Моё расставание с последней любовью? <…>

Какая это была ночь! Ещё звучали в душе обе „Звезды" – та, „избитая" (душой прошлого века), и поздняя, строгая, изысканная, как портрет моего „последнего земного очарования», носящего имя моего маленького умершего сына – такое совпадение, не Богом ли посланное? Как это число „16", дважды повторенное: разница лет между ним, седым красавцем, и мной, сохранившей только *напоминание* обо мне в зрелости; и второе „16" лет – промежуток между моей небесной любовью к нему и случайной поездкой теперь в Коктебель. <…>

…в день отъезда, когда я хотела просить телевизионщиков довезти меня к Мусе – потому что она не шла, а поэт тот, может быть, и не сообщил ей, что я тут, – вдруг весть: мы не в Феодосии грузимся в поезд с аппаратурой, а должны сейчас, чтобы не опоздать к поезду, лететь на машинах – в Джанкой, *такие* билеты достали… Прощайте, моя Мусенька! Летим в Джанкой. <…>

Первой печатью – письмо в Москву Муси Изергиной, 75-летний голос которой до сих пор в моей душе звучит, и с которой я дружу более 20 лет, – почти отчаяние о невстрече… Не знала, что я в Коктебеле, потому что никто не сказал!»

Вот это письмо.

М.Н. Изергина 21.11.1988 г.[11]

«Дорогая Анастасия Ивановна!

Я так ужасно огорчена, что до сих пор не могу прийти в себя. На другой день Вашего отъезда из Коктебеля, я встретила Оксану и Наташу Лесину, которые очень оживлённо мне начали передавать Ваши приветы и сожаления о том, что мы с Вами не увиделись. Я была потрясена. Я ничего о Вашем пребывании в Коктебеле не знала. За все 3 дня, что Вы были, мне никто не удосужился сообщить, что Вы приехали. Я так ждала Вашего приезда, мне так хотелось Вас увидеть и с Вами поговорить, и вот Вы приезжаете из Москвы, я нахожусь от Вас в каком-нибудь полукилометре и ровно ничего не знаю, что Вы здесь. К сожалению, это очень характерно для наших милых сограждан. Исключительная необязательность, неумение и нежелание входить, вникать и понимать окружающих. Забота только о себе и о своих делах. 3 копейки им цена. Я огорчена и зла (хотя это плохо), но не могу простить, что мне ничего не сказали, хотя я знаю, что Вы хотели меня видеть. Я была летом в Москве по поводу слуха и зрения, но Вы были в Прибалтике и мы не увиделись, а теперь так здесь в Коктебеле всё непростительно получилось. Мы с Вами не девочки и временем свободным в дальнейшем не располагаем.

В общем, без всяких рассуждений я очень огорчена, расстроена и совершенно выбита из колеи. Окружающие меня люди меня ужаснули.

Дорогая Анастасия Ивановна, так я затосковала без Вас. God bless you! Всё-таки надеюсь, что мы увидимся. Держитесь и лечитесь всеми Вашими экзотическими способами».

М.Н. Изергина 8.01.1992 г.

«Дорогая, дорогая Анастасия Ивановна!

Простите за опоздание и примите мои поздравления с Новым Годом и Рождеством Христовым! В канун Нового Года я упала и очень ударилась, и свет мне был не мил, оттого и не поздравила во время.

Может это покажется кощунственным, но мне почему-то полу подпольное празднование Рождества больше трогало душу, чем теперешнее великолепие, хотя конечно прекрасно, что наша религия обретает силу и могущество.

С крестиком Вашего сына что-то не ладится. Сейчас всё трудно, никто ничего не хочет делать. Я говорила Боре, но он мне сказал, что он хочет реконструировать все могилы и всё будет сделано по какому-то проекту. Не нравится мне это. Боюсь, что будет какая-нибудь вульгарщина. Было бы неплохо, если бы Вы написали ему.

Часто вижу Вас по телевизору. Я живу не одна, у меня живёт молодой парень, чем-то мне помогающий.

Целую Вас. Да хранит Вас судьба и Господь. Муся Изергина.

Примечания Н.Ю. Менчинской:

[1] Мною были переданы хранителям архива А.И. Цветаевой – Г.Я. Никитиной и Г.К. Васильеву – ранее хранившиеся у меня письма и открытки от А.И. Цветаевой к М.Н. Изергиной в количестве: 71 открытка и 15 писем и записок.

[2] В 1969 г. ушла из жизни младшая сестра Муси, крупный искусствовед Антонина (Тотя) Изергина. В письме Анастасии Цветаевой она написала об этом довольно сдержанно.

[3] В августе 1970-г. в Коктебеле был карантин из-за подозрения на холеру.

[4] Григорий Николаевич Петников в это время уже был неизлечимо болен.

[5] Речь идёт о Григории Петникове, ушедшем из жизни в 1971 году.

[6] Осенью 1971 г. умер Митя Орбели, любимый племянник М.Н., сын её сестры А.Н.

[7] Цветаева и Волошина дружили, однако они были слишком разными, чтобы друг с другом ладить. Конфликты у них происходили постоянно по разным поводам. Об одном из них, происшедшим в день рождения Марии Степановны, последний перед её кончиной, М.Н. даже упомянула в письме М.И. Лютовой.

[8] С уходом Марии Степановны многие коктебельцы потеряли родной для них Дом. Хотя М.С. последние годы своей жизни была немощной и дряхлой, она всё-таки оставалась настоящей Хозяйкой Дома, хранительницей его традиций. В письмах М.Н. к А. Цветаевой при упоминании о Доме звучат ноты грусти.

[9] Анастасия Цветаева всегда была на стороне Купченко, М.Н. же примкнула к противоположному «лагерю». Это внесло некоторый холодок в их отношения, и в данном письме М.Н. решила высказать своё мнение по этому вопросу

[10] Слава Мещерский – муж Риты, старшей внучки А.Ц.

[11] Письмо написано после несостоявшейся встречи во время приезда А.И. в Коктебель поздней осенью.

Публикация Н.Ю. Менчинской и О.А. Трухачёвой

ВЯЧЕСЛАВ БИТЮЦКИЙ

ВОРОНЕЖСКАЯ ДВОРЯНКА АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

Долгие годы я был знаком с Анастасией Ивановной Цветаевой, в первом замужестве Трухачёвой. И никогда о дворянстве её не слышал и не задумывался. Поводов к этому она тоже не давала. Признаться, в этой части я сам совершил ошибку. Зная о её раннем браке с Борисом Сергеевичем Трухачёвым, и о том, что имение его отца Сергея Николаевича Трухачёва (1852-1931?) находилось в Воронежской губернии, я по своему «мемориальскому» обыкновению принялся искать сведения о Трухачёвых в архивных фондах жертв политических репрессий, полагая, что там найду следы родственников первого мужа А.И.

Но, увы! Были среди этих многочисленных несчастных репрессированных Трухачёвых преимущественно воронежские и тамбовские крестьяне. И близких родственников Бориса Сергеевича среди них я не обнаружил.

Ларчик же просто открывался: надо было заглянуть в Фонд Воронежского Дворянского депутатского собрания, находящийся в Госархиве Воронежской области, да там безо всякого труда и ознакомиться в деле воронежских дворян Трухачёвых с документами, относящимися к их родословной.

А если бы не хватило усердия копаться в толстенном этом томе и углубляться в дебри истории, то можно было бы начать сразу чуть ли не с его конца, то есть с документов, относящихся непосредственно к молодожёнам Анастасии и Борису Трухачёвым.

Вот эту-то работу мы с вами, уважаемый читатель, сейчас и проделаем.

1. Кое-что о российском дворянстве

Напомним, что губернские дворянские депутатские собрания были созданы при Екатерине второй в 1785 году (и позже) специально для учёта местных губернских дворянских родов и «отслеживания» их родословий. Занимались этим дворяне-депутаты, избранные от уездов, входивших в губернию. Поэтому учреждения эти и назывались депутатскими. Главным плодом их работы были губернские Дворянские родословные книги. Кто в них попал – тот и законный дворянин. Конечно, для этого надо было иметь на территории губернии имение, что подтверждалось Алфавитными дворянским родам списками, поступавшими в губернское депутатское собрание от уездов.

Родословная книга делилась на шесть частей. В первую вносились дворяне, получившие это звание ранее от коронованных особ, во вторую – заслужившие его на военной службе, в третью – на гражданской службе, в четвёртую – иностранцы благородного звания, в пятую – титулованные особы, в шестую – древнее благородное дворянство, древность которого составляла не менее 100 лет до появления жалованной грамоты Дворянству 21 апреля 1785 года императрицы Екатерины II, коей и устанавливался такой порядок.

Прошения о внесении в родословную книгу и о выдаче свидетельства, подтверждающего причисление к дворянскому сословию, должны были сопровождаться документами, подтверждающими право на такое причисление. Документы эти касались истории рода и должны были свидетельствовать о служебных должностях и заслугах (гражданских или военных) предков, их прежнем родовом и сословном положении. Для установления родственных отношений с лицами, имеющими дворянское достоинство и право передавать его по наследству, необходимы были выписи из метрических книг (о браке и рождении), выдаваемые духовными учреждениями, занимавшимися до революции 1917 года в России записями актов гражданского состояния.

Прошения о причислении к потомственному дворянскому сословию жён и детей подавались отцами семейств, уже имевшими это звание. По этим прошениям депутатским собранием выносилось определение о причислении к дворянству или отказ. До 1828 года такое решение губернского собрания было окончательным, что приводило к большому числу злоупотреблений. В связи с этим в 1828 году Николай I законодательным порядком предписал департаменту Герольдии Правительствующего сената провести ревизию принятых ранее определений и впредь утверждать таковые в этом департаменте.

Впрочем, в дальнейшем правило это не относилось к делам, по которым дворянское достоинство предков уже проверялось и было доподлинно подтверждено при рассмотрении предыдущих прошений.

Приобретение дворянства выслугой в интересующее нас время (конец 19 – начало 20 века) осуществлялось в соответствии с «Табелью о рангах», введённой Петром I в 1722 году.

Дослужившись до 9-го класса (ранга), то есть в чине армейского штабс-капитана или титулярного советника на гражданской службе, можно было получить так называемое личное дворянство, не передававшееся по наследству и являвшееся по существу не обозначением сословности, а не более как почётным пожизненным званием.

Потомственным дворянином по выслуге мог стать чиновник, дослужившийся до 4-го ранга – действительного статского советника или генерал-майора.

После этого небольшого экскурса в историю благородного российского сословия обратимся к событиям начала минувшего века, приведшим в ряды воронежского потомственного дворянства Анастасию Ивановну Цветаеву.

2. Борис и Анастасия

Дворянкою по рождению А.И. не значилась, и в этом мы можем теперь доподлинно убедиться по выписи о её бракосочетании. Отец её – заслуженный профессор Московского университета, член-корреспондент С.-Петербургской Академии Наук, первый директор Музея изящных искусств в Москве И.В. Цветаев хотя и закончил государственную службу в немалом чине тайного советника, равном генерал-лейтенантскому армейскому званию (3-й класс), но по рождению принадлежал к духовному сословию, а потому сам себя называл «дворянином от колокольни и по чину действительного статского советника». Как мы теперь понимаем, дворянство его было выслуженным, хотя и могло быть передано детям. Однако когда он его получил, почему не поспешил передать им – нам неизвестно.

Весной 1912 года 17-летняя дочь И.В. Цветаева Анастасия Ивановна вышла замуж за потомственного воронежского дворянина Бориса Сергеевича Трухачёва, которому в ту пору исполнилось 19 лет. В этом же году у них родился сын Андрей.

В Деле дворян Трухачёвых имеется свидетельство о рождении жениха – Бориса Трухачёва, позволяющее нам уточнить некоторые детали, связанные с его рождением. Это тем более стоит сделать, так как биографические данные о нём немногочисленны и основаны, как нам кажется, исключительно на воспоминаниях, а не на документах.

Итак,

СВИДЕТЕЛЬСТВО

По указу Его Императорского Величества, из Московской Духовной Консистории выдано сие в том, что в метрической книге Московской Борисоглебской, у Арбатских ворот, церкви тысяча восемьсот девяносто третьего года № 9 писано: Марта тридцатого числа родился Борис, крещён Апреля 21 числа, родители его: землевладелец Коллежский Секретарь Сергей Николаевич Трухачёв и законная его жена Ирина Евгеньевна, оба православного вероисповедования; восприемниками были: Действительный Статский Советник Михаил Романович Романов и почетная потомственная Гражданка – Девица Мария Викторовна Коновалова;

крестил Священник Михаил Руднев с причтом.

Причитающийся гербовый сбор уплачен.

Мая 12 дня 1893 г.

Подлинное подписали:
Члены Консистории Высокопетровский архимандрит Никифор,
Секретарь А. Кириллов и Столоначальник Страхов;
на подлиннике синяя печать Московской Духовной Консистории.

Как видим, по рождению Борис Сергеевич – москвич. Храм св. Бориса и Глеба у Арбатских ворот, где он был крещён, являлся знаменитейшим храмом Москвы, помнившим пожар 1493 года, великого князя Василия III, крестные ходы и моления царя Ивана Грозного. Разрушен был в 1930 году.

Отец Бориса – землевладелец Сергей Николаевич Трухачёв (1852-1931) и есть тот воронежский потомственный дворянин, от которого Борис унаследовал права дворянства. В «Списке наиболее крупных землевладельцев на 1911 год», приведённом в «Памятной книге Воронежской губернии» за 1912 год, находим, что статский советник Сергей Николаевич Трухачёв имел 288 десятин земли, а местом его экономии указано село Сенное Ксизовской волости Задонского уезда, в 12 верстах от почтовой станции Бестужево.

Если исходить из того, что самым богатым в том же списке указан дворянин А.Ф. Апраксин, имевший 2400 десятин, то С.Н. Трухачёва можно, наверное, причислить к землевладельцам средней руки.

В упомянутой «Памятной книге» Сергей Николаевич значится в чине статского советника, – что-то вроде полковника – пятый класс «Табели о рангах». Тогда как в свидетельстве, выданном в мае 1893 года – только коллежским секретарём (10-й класс). Скачок, как видим, немалый, хотя Сергей Николаевич, судя по материалам нашего Дела, сразу же после рождения Бориса (четвёртого ребёнка в семье) оставил службу в провинции и поселился в деревне Ярцевке Сенновской волости. Здесь же прошли детские годы его детей.

Но за десять лет до того, в 1884 году, С.Н. Трухачёв окончил полный курс наук в Императорском Московском университете со степенью кандидата прав (свидетельство выдано 15 марта 1894 года), женился на дочери потомственного почётного гражданина Ирине Евгеньевне Клементьевой и увез её к месту службы в Задонский уезд, где 3 октября 1885 года очередным Земским Уездным собранием был избран Почётным Мировым судьей Задонского округа.

В апреле 1886-го он был определён кандидатом на судебную должность при прокуроре Московской судебной палаты и утвержден в чине коллежского секретаря по степени кандидата прав. В 1888 году – избран вновь Почётным Мировым судьёй Задонского округа и 24 февраля 1889 утверждён приказом Правительствующего Сената в этой должности.

В июле 1891 г. Сергей Николаевич был утверждён в должности кандидата по Земским начальникам 7-го участка Бобровского уезда всё той же Воронежской губернии, а ровно через год утверждён в этой должности.

Приказом по Министерству юстиции 15 ноября 1892 года он был уволен со службы в Московской судебной палате и отправлен в отставку согласно собственного прошения, а 12 мая 1893 года уволен от должности Земского начальника 7-го участка Бобровского уезда. По случайному совпадению это увольнение последовало в тот самый день 12 мая 1893 года, когда Сергей Николаевич получил Свидетельство о рождении своего сына Бориса.

Судя по этому же свидетельству, служба по судебному ведомству в воронежской провинции не принесла Сергею Николаевичу повышений в ранге: через девять лет он по-прежнему остаётся в том же чине коллежского секретаря, что и в её начале. Причины этого нам неизвестны и сведений о дальнейших успехах рассматриваемое нами дело не содержит.

Однако в справочнике «Вся Москва» за 1901 год можно прочесть: Трухачёв Сергей Николаевич, н.с. (надворный советник *(подполковник, 7-й класс – В.Б.)*), Пречистенская часть, Дурновский пер., дом Андросова, Канцелярия оберполицмейстера.

В выписи же о бракосочетании сына Бориса в 1912 году он значится статским советником (5 класс «Табели о рангах»). Так что «своего» по службе Сергей Николаевич не упустил. А продвигаться по ней в Москве, вероятно, было много легче, чем в провинции.

Заметим, что Дурновский переулок, где он жил, находился напротив знаменитой Собачьей площадки. Он упоминается А.И. Цветаевой как место кратковременного проживания летом 1912 года обвенчавшихся в январе Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Да и сама А.И. после рождения сына жила там же. Связано ли это как-то с тем, что по соседству жил её тесть – неизвестно.

Октябрьская революция застала Сергея Николаевича в Ярцевке. Трухачёвские крестьяне, «спасая своего барина, передавали его с печи на печь, по избам – так сохранили ему жизнь» (А.И.). Затем он перебрался в Москву, где жил в маленькой комнате в Сытинском переулке. Нищенствовал и тяжело болел (паралич), пока не скончался в 1931 году. А.И. не оставляла его и помогала чем могла до самой его смерти.

Нельзя не упомянуть и об отце Сергея Николаевича – воронежском помещике Николае Владимировиче Трухачёве (01.02.1827-?). По окончании Второй Московской гимназии он поступил 27 января 1848 года в государственную службу в Воронежскую палату гражданского суда писарем 1-го разряда. В 1851 году получил чин коллежского регистратора, в 1863 – коллежского асессора (8 класс), а 1868 году,

то есть после двадцати лет службы, в формулярном списке надворный советник Н.В. Трухачёв значился Воронежским участковым Мировым судьёй 1 участка и Непременным членом съезда Мировых судей Задонского Судебного Округа. В других документах Дела Н.В. Трухачёв именуется как статский советник и кавалер. Очевидно, это наибольший чин, который он выслужил.

В «Памятной книге Воронежской губернии» за 1863-64 годы Н.В. Трухачёв опубликовал «Очерки Задонского уезда и тамошнего мужскаго монастыря», того самого монастыря, который А.И. с сыном Андреем посетила в начале 1930-х годов. Так что дед Бориса мог бы быть причислен к воронежским краеведам, исследователям истории воронежского края.

Заметим, что, вероятно, Н.В. Трухачёв обнаружил и подтвердил древность своего рода, так как именно по его прошению Воронежское депутатское дворянское собрание в 1868 году перенесло род Трухачёвых из второй в шестую часть Родословной книги.

Как видим, предки Бориса Трухачёва были людьми достаточно образованными. Жизнь их протекала между столицей и провинцией, как, впрочем, у многих представителей дворянской элиты России в 19-м веке.

Жена Сергея Николаевича – Ирина Евгеньевна, урождённая Клементьева, по постановлению депутатского собрания, состоявшемуся 30 декабря 1885 года, была сопричислена к роду воронежских потомственных дворян Трухачёвых и внесена в ту же шестую часть дворянской родословной книги, что и её муж.

Но Ирине Евгеньевне, купеческой дочери, «вывезенной Сергеем Николаевичем – как пишет А.И. – из Костромских лесов, из богатейшего купеческого имения с белой и розовой гостиной» воронежские степи не приглянулись. В Ярцевке ею были «все окна заплаканы». И московская семикомнатная квартира на Малой Грузинской была куда прохладней и уютней мужниных сельских хором. К тому же Сергей Николаевич был «жуир» (по выражению А.И.) и любил пожить в своё удовольствие. Ирина же Евгеньевна, по утверждению её дочери Марии, была толстовкой. Так что ко времени женитьбы Анастасии и Бориса его родители давно уже «не выносили друг друга» и жили «на два дома»: она в Москве, он – в Ярцевке, под Воронежем. Анастасию Ивановну свекровь очень любила и они сохраняли сердечные отношения до самой её кончины в 1917 году.

Что же касается восприемников Бориса, упомянутых в его свидетельстве о рождении, то о них нам ничего не известно. Можно, правда, предположить, что действительный статский советник Михаил Романович Романов являлся мужем сестры Сергея Николаевича Александры Николаевна, так как она после замужества тоже носила фамилию Романовой.

Свидетельство о рождении Б.С. Трухачёва было выдано его родителям в 1893 году, в скорости после крещения сына, на руки. В деле депутатского собрания сохранилась лишь его копия.

По достижении соответствующего возраста воронежский дворянин москвич Борис Трухачёв поступил в 7-ю Московскую гимназию. Однако в 15 лет был исключен за дерзость. В чём она состояла – мы не знаем.

В конце зимы 1911 года Борис познакомился с гимназисткой Асей Цветаевой. По её воспоминаниям, был он, как говорят, из молодых, да ранних. Выглядел намного старше своих лет. И даже будущая жена его при первом их знакомстве на катке на Патриарших прудах поверила, что ему 27 лет, то есть в то, что он старше её на 10(!) лет. В некоторых изданиях дата рождения Б. Трухачёва также указывается неверно, опять же, как правило, с завышением возраста. Даже в прижизненно изданной книге эссе А. Цветаевой «Неисчерпаемое» годом рождения Бориса указан 1892-й. То же – и в комментариях к «Истории одного путешествия», изданной в 2004 году. Теперь же мы точно знаем, что родился он 30 марта 1893 года.

3. Женитьба

Брак Бориса с Анастасией был освящён и «зарегистрирован» 22 апреля 1912 года. По признанию самой А.И. они были ещё слишком юны для брака: ей – 17 с половиной, она родилась 14 сентября 1894 года, а он – старше её всего на полтора года. Но это не могло стать препятствием. Более того, их бракосочетание было долгожданным концом того двусмысленного положения, в котором находилась Анастасия, уже носившая под сердцем своего первенца. Эта двусмысленность особенно болезненно задевала отца – И.В. Цветаева, занимавшего высокое общественное положение, сына священника и, несомненно, глубоко верующего человека, отнюдь не «жуира», далёкого как от богемы, так и от «передовых революционных взглядов» в вопросах пола и брака. Да и сама юная Анастасия Ивановна глубоко переживала неопределённость и неустойчивость взаимоотношений с Борисом. И хотя её взгляды на брак были далеки от отцовских, сознание того, что она причиняет боль этому святому больному человеку мучило её.

Итак, молодые были обвенчаны к облегчению многих.

ВЫПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ
Церкви Сергиево-Елисаветинского трудового убежища увечных воинов
Часть вторая

О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ
за 1912-й год,
выданная Священником означенной церкви
№ 36
10 июня 1915 года
№…….. Гор. Москва

Выпись эта, в случае надобности, должна быть представлена для заверения в Духовное Правление при Протопресвитере военного и морского духовенства в С.-Петербурге.

1. Счёт браков: *3.*
2. Месяц и день: *Апреля 22 Двадцать второго тысяча девятьсот двенадцатого года.*
3. Звание, имя, отчество и вероисповедание жениха и которым браком: *Сын Статского Советника, потомственный дворянин Борис Сергиев Трухачёв, православного вероисповедания, первым браком.*
4. Лета жениха: *19.*
5. Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание невесты и которым браком: *Дочь заслуженного профессора Императорского Московского Университета, Тайного Советника Иоанна Владимирова Цветаева девица Анастасия Иоаннова, православного вероисповедания, первым браком.*
7. Лета невесты: *17.*
8. Кто совершил таинство: *Священник Пётр Соколов.*
9. Кто были поручители: *по жениху – Студент Императорского Технического Училища Николай Александров Зубков, студент Императорского Московского Университета Николай Сергиев Трухачёв; по невесте – студент того же Университета Андрей Иоаннов Цветаев и сын министра путей сообщения Борис Сергиев Бобылев.*
10. Подпись свидетелей записи по желанию (не имеется).

Что сия выпись верна, о том удостоверяется подписом с приложением церковной печати Церкви Сергиево-Елисаветинского трудового убежища увечных воинов священником Петром Соколовым (см. обр.)

Настоящая выпись за №36 с записью в метрической книге означенной в оной церкви согласна, что с приложением печати удостоверяется. Петроград 16-го октября 1915 г. подлинно за надлежащим подписом и приложением печати.

С подлинным сверил:
Секретарь Дворянства Н. Русин
Столоначальник С. Стрижевский

Трудно чем-либо иным, кроме как этой добрачной беременностью невесты, объяснить выбор для торжественного обряда венчания столь скромной церкви, какой являлась церковь Сергиево-Елисаветинского трудового убежища увечных воинов в подмосковном селе Всехсвятском. Село это, располагавшееся к северо-западу от Москвы на Тверской дороге, в то время было подмосковным и вошло в городскую черту только в 1917 г. С 1933 года оно стало носить название «посёлок Сокол».

В связи с этим небезынтересно обратить внимание на следующее обстоятельство, нашедшие отражение в приведённых документах. Бориса Трухачёва в Борисоглебском храме крестил священник этой церкви Михаил Руднев **с причтом**. А таинство венчания Бориса и Анастасии в Церкви Сергиево-Елисаветинского трудового убежища совершил священник Пётр Соколов. **Без притча (!)**. И вот почему. Церковь эта относилась к Военному и Морскому ведомству. По «Положению об управлении церквами и духовенством Военного и Морского Ведомства» от 12.06.1890 года общее руководство военным духовенством вверялось протопресвитеру, который назначался Синодом и утверждался императором (протопресвитором в 1910-1917 гг. был Г.И. Шавельский). При нём учреждалось Духовное правление, размещавшееся в Петербурге. Исполнение церковных треб велось полковыми священниками или священниками церквей при военных учреждениях. Таковым было и Сергиево-Елисаветинское трудовое убежище для увечных воинов. Так что само обращение для свершения обряда венчания сугубо гражданских лиц Бориса и Анастасии, никакого отношения ни к убежищу, ни к увечным воинам не имеющих, может свидетельствовать лишь в подтверждение нашего предположения.

В списке же церквей военного ведомства по Московскому военному округу читаем: «Церковь Сергиево-Елисаветинского трудового убежища для увечных воинов. **Штатного причта не положено.** Для отправления Богослужений прикомандирован священник 1-й гренадерской артиллерийской бригады». Таковым очевидно и был священник Пётр Соколов, обвенчавший молодых. Без причта.

Из сказанного становится также ясно, почему выпись о бракосочетании Бориса и Анастасии пришлось заверять 16 октября 1915 года в Петрограде в Духовном Правлении при Протопресвиторе военного и морского духовенства, а не в Московской консистории.

4. Поручители и другие Трухачёвы

Теперь познакомимся с поручителями (шаферами) жениха и невесты. Вот как описывает упомянутых в выписи лиц сама А.И.

«В скромной церкви села Всехсвятского „Убежища увечных воинов“ тихо и солнечно. Первый раз я вижу Николая Трухачёва, брата Бори. Он высок, в пенсне, шатен. Его товарищ, второй шафер Бори, Николай Александрович Зубков. Русское простое лицо; оба в студенческом… Андрей *(Цветаев, кровный брат А.И.)* в студенческом мундире, стройный, высокий, узколицый, карие глаза, тёмные кудри, красавец! И словно с картины сошедший с детства друг Бориса Боря Бобылев: тоже высок, волосы тоже волнистые, каштановые, северные, светлее Андрея. И эта девически юношеская красота – Дориан Грей!».

Итак, со стороны жениха – два студента: первый – Николай Зубков, второй – родной брат Бориса, а, значит, потомственный воронежский дворянин, Николай Сергеевич Трухачёв.

О Николае Александровиче Зубкове, упоминаемом инициалами «Н.А.» в книге А.И. «Дым, дым и дым» (1916 г.), мы знаем только то, что был он «гитарист и певец». То же – из «Воспоминаний» А.И.

Присутствие же при венчании в качестве шафера Николая Трухачёва даёт нам повод рассказать более подробно о всём молодом поколении Трухачёвых.

Как видно из дела, Борис был четвёртым ребёнком (из пяти) в семье. Старшим был Сергей, тот самый, который произвёл такое неизгладимое впечатление на юную жену своего брата при их встрече в Воронеже летом 1913 года. Он родился 31 июля 1886 года в Москве, как, впрочем, и все Трухачёвы его поколения. Со слов А.И. был он весьма талантлив и революционен. Писал стихи. Принимал какое-то участие в революции 1905 года. Бежал при аресте. Жил некоторое время за границей (в Париже). Затем вернулся в Воронеж. Но запил, лечился и считал себя конченым человеком. Во время войны А.И. не раз встречалась с ним в Москве. Но от прежней минутной взаимной влюблённости уже ничего не осталось. Сергей побывал на фронте. А.И. встречала его в одном из московских госпиталей, пока, наконец, он вовсе не пропал из виду. По слухам, он скончался от тифа в 1919 году.

Вторым по возрасту был Николай, родившийся 11 марта 1887 года. Он-то и стал одним из поручителей со стороны своего брата при венчании. «Насмешливый, холодный, отметающий мечту и поэзию». Однажды на экзамене на аттестат зрелости в гимназии, будучи, по его мнению, недооцененным, он дал пощёчину экзаменатору.

Дело как-то уладилось, аттестат был получен и Николай стал студентом Московского университета. Но этот хулиганский поступок, о котором без тени осуждения Борис поведал Анастасии во время из путешествия по Европе, явился причиной её первого серьезного разрыва с Борисом. «Негодование сжало мне горло», – пишет она об этом разговоре с Борисом, произошедшем, вероятно, в Ницце в январе 1912 года. «Овладев собой, я сказала ледяным голосом: Какой грубый человек ваш брат!». Обидевшийся за брата (!), Борис немедленно вернулся в Россию, оставив возлюбленную (одну!) за границей.

Но Анастасия умела прощать. Николай был, как видим, шафером при венчании, а затем и на свадебном ужине в ресторане «Прага» у Арбатских ворот. Присутствовал он и при посещении молодыми отцовского имения Ярцевки под Воронежем в июле 1913 года. С ними же уехал в Москву, где они все вместе жили на даче до конца августа, то есть до кончины И.В. Цветаева.

Дальнейшая судьба Николая Трухачёва нам неизвестна. По слухам в годы гражданской войны он эмигрировал.

Третьим ребёнком в семье была Мария, родившаяся 4 сентября 1891 года. Знание этой даты позволяет нам судить о том, насколько А.И. была точна в своих воспоминаниях и насколько была внимательна к людям. Маруся была действительно на полтора года старше Бориса, как пишет А.И. шестьдесят лет спустя.

Сложные отношения в семье родителей привели к тому, что с 14 лет Маруся жила отдельно. А.И. познакомилась с ней, побывав с Борисом «в маленькой студенческой комнате в Грузинах» осенью 1911 года. А.И. «приняла её в свою душу». Они подружились и дружба их не прерывалась, хотя с Марусей были связаны многие эпизоды семейных неурядиц.

Именно ссора родителей с Марусей была причиной кратковременности пребывания молодых Трухачёвых в Ярцевке в 1913 году. Но как раз в этот кратковременный приезд в Воронежские края Мария в присутствии А.И. познакомилась с женатым уже воронежским помещиком (Великопольским?). Последующая совместная их жизнь в Новохоперске не была продолжительной. Великопольский ушёл на войну, оставив Марусю с 3-хлетней дочерью Ниной.

Она вернулась в Ярцевку, но отец её не принял. Маруся умерла в крестьянской избе от тифа в 1919-м, сдав дочь на руки первой жене Великопольского Анне Ивановне. Позже, в 1930-х годах, в судьбе этой девочки А.И. также приняла живое участие, помогая ей устроиться с жильём и работой в Москве.

Приведём имеющееся в деле дворян Трухачёвых свидетельство о рождении ещё одного воронежского дворянина – Владимира Трухачёва. Попутно отметим, что, судя по этому документу, у свекрови А.И. был брат – потомственный почётный гражданин Николай Евгеньевич Климентьев.

Свидетельство.

По указу Его Императорского Величества, из Московской Духовной Консистории выдано сие в том, что в метрической книге Московской Христорождественской в Палашах церкви тысяча восемьсот девяносто четвёртого года № 22 писано: Марта шестого числа родился Владимир, крещён 16 числа, родители его: потомственный дворянин Коллежский Секретарь Сергей Николаевич Трухачёв и законная его жена Ирина Евгеньевна, оба вероисповедания православного; восприемниками были: потомственный почётный гражданин Николай Евгеньевич Клементьев, Владимирской губернии города Иваново-Вознесенска купеческая дочь, девица Мария Александровна Ошуркова. Крестил Священник Владимир Никольский с причтом. Причитающийся гербовый сбор уплачен июня 4 дня 1894 года.

Подлинное свидетельство подписали:

Члены Консистории Высокопетровский архимандрит Никифор,

Секретарь А. Кириллов, и.д. Столоначальника Орлов,

С подлинным сверил: Секретарь Дворянства (подпись).

Владимир, родившийся 6 марта 1894 года, был младшим ребёнком в семье Трухачёвых. Никаких следов его в воспоминаниях А.И., казалось бы, нет. Есть лишь упоминание о младшем сыне Ирины Евгеньевны «Вениамине», её любимце, «хотя она любила и старших двух сыновей».

Как пояснил мне исследователь творчества А. Цветаевой Г. Васильев, «вениаминами» или «вениаминчиками» назывался младший сын в семье. Теперь же мы с вами знаем, что таким младшим сыном, «вениаминчиком», в семействе Трухачёвых был Владимир. Старших же сынов, как видим, было трое, а не двое. И всех их А.И. прекрасно знала. Но почему-то ошиблась в счёте.

О единокровном брате А.И. Андрее Ивановиче Цветаеве (1880-1933) – шафере со стороны невесты – говорить не будем. А вот о втором поручителе с её стороны Борисе Сергеевиче Бобылеве несколько слов скажем. Этот юный студент-химик, герой платонического любовного романа с А.И. через полгода после описываемого венчания покончит с собой из-за неразделенной любви к ней. Конечно, и трагическая любовь его и смерть были для неё потрясением. Являясь героем её второй книги «Дым, дым и дым» и книги «Воспоминаний» по непонятным причинам он нигде не назван сыном министра путей сообщения России, что само по себе небезынтересно. Что заставило А.И. умолчать об этом – неясно. И это несмотря на то, что, как следует из «Воспоминаний», разговоры о родителях Бориса Бобылева они вели.

5. Рождение сына

Теперь необходимо рассказать ещё об одном воронежском дворянине – Андрее Борисовиче Трухачёве, сыне Бориса Сергеевича и Анастасии Ивановны Трухачёвых.

Лето 1912 года Трухачёвы провели в Москве. 9 августа у них родился сын Андрей. Через месяц состоялся обряд крещения.

Копия

ВЫПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ

Часть первая

О РОДИВШИХСЯ за 1912 год

выданная *причтом Московской Николаевской, что на Курьих ножках, церкви*

1. Месяц и день рождения – *9 августа* и крещения – *10 сентября.*

2. Имя родившегося – *Андрей.*

3. Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: *Дворянин Борис Сергеевич Трухачёв и законная жена его Анастасия Ивановна, оба православного вероисповедования.*

4. Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: *Дворянин Иван Владимирович Цветаев и дворянка Ирина Евгеньевна Трухачёва.*

5. Кто совершал таинство: *Приходской священник Василий Воздвиженский с причтом.*

Верность выписи удостоверяем Московской Николаевской, что на Курьих ножках, церкви: Священник Василий Воздвиженский

Дьякон Алексей Крылов

Никаких новых лиц в выписи из метрической книги о его рождении мы не встречаем. Отметим лишь Московскую Никольскую церковь, что на Курьих ножках, как указано в справке, взятой нами из интернета, – храм с этим сказочным названием стоял на Большой Молчановке, на углу Борисоглебского переулка. Естественно предположить, что название было дано ей, когда она была деревянной и стояла на высоких пнях («курьих ножках»). Церковь это стала жертвой Метростроя. В конце 30-х годов она была снесена, так как для метро не хватало стройматериалов. На этом месте теперь находится школа.

Жили Трухачёвы в квартире на Собачьей площадке, против уже упоминавшегося Дурновского переулка, ведшего на Арбат. Борис, и раньше не отличавшийся домовитостью, с рождением сына не изменил

своих привычек, продолжая проводить время с друзьями. Самоубийство Б. Бобылева (6 февраля 1913 года) и безосновательные обвинения в неверности жены привели к новому временному разладу в семье (не без участия Марии Трухачёвой). Однако к лету всё улеглось. И в июле молодые Трухачёвы отправились в Воронеж и далее в небольшую деревеньку Ярцевку, верстах в десяти в стороне от Задонского тракта. Здесь-то и проживал тесть А.И. – воронежский помещик и бывший мировой судья, кандидат прав потомственный дворянин Сергей Николаевич Трухачёв.

До Воронежа ехали поездом, а затем в автомобиле: А.И., Борис, их одиннадцатимесячный сын Андрей и его кормилица Соня. Вероятно с ними же ехала и мать Бориса – Ирина Евгеньевна, давно уже оставившая воронежского «жуира» и постоянно проживавшая в Москве.

Всё, что мы знаем об этой поездке, можно прочитать в «Воспоминаниях» А.И. – книге, выдержавшей уже шесть изданий, а потому, можно сказать, общеизвестной.

Напомним только, что пребывание в Ярцевке было кратким, и в августе Трухачёвы были уже в Москве. Затем последовала смерть Ивана Владимировича Цветаева, случившаяся 30 августа 1913 г.

Брак Анастасии и Бориса не был счастливым. И кончина отца А.И., похоже, ускорила распад семьи. «Смерть папы провела рубеж в нашей жизни. Знаменательно, что Марина и я, каждая по своим семейным причинам, не могли оставаться в Москве», – пишет А.И. Семейные причины Марины понятны – болезнь мужа. Анастасии – разлад в семье. Сестры уехали в Феодосию, встретили там новый год и пробыли до конца лета 1914 года. Борис оставался в Москве. Разрыв был окончательным.

6. Подарок перед несостоявшимся разводом

Осенью 1915 года А.И. вышла замуж (гражданским браком) за находящегося на военной службе инженера М.А. Минца. Это послужило причиной её прошения об официальном разводе с Борисом, на который он без колебаний согласился. С 1914 года он уже был женат (тоже гражданским браком, конечно) на актрисе М.И. Кузнецовой-Гриневой. В этом же году он записался вольноопределяющимся на военную службу, так как не имел законченного гимназического образования. Он бредил отправкой на фронт, но… получил «белый билет».

Как видим, уже к началу 1914 года семья Трухачёвых фактически распалась, хотя супруги ещё не расторгали брака и относились друг к другу вполне по-дружески.

И вот – «Консистория. Мрачное здание в деловой части Москвы *(на Мясницкой ул. – В.Б.)*, торжественность лестниц и зал: Диккенс. Мы влетаем в него со всей грацией иронического озорства наших стилей и лет, для которых всё, что закон – юмор проформы».

«– Это немыслимо! Небывалый факт!!! Вы хотите расстаться? – Чиновник смотрит на нас во все глаза. – У нас бывает, что супругам по двадцать лет не удаётся продвинуть дело, потому что один из них не соглашается встретиться с другим на судоговорении!» (А.И.).

Но посмеем предположить, что не только единодушием разводящихся супругов были столь удивлены консисторские чиновники. А ещё и тем, что совсем недавно они направляли выписи в Воронежское дворянское депутатское собрание в связи с подачей Борисом Трухачёвым прошения… о причислении к роду потомственных дворян Трухачёвых его жены и сына.

Биографам известной писательницы А.И. Цветаевой придётся, вероятно, присоединиться в своём удивлении к служащим консистории.

№454 10.VIII.15.
В Воронежское Дворянское Депутатское Собрание
Потомственного Дворянина Бориса
Сергеевича Трухачёва, проживающего
в имении «Диканька» близ
Бестужевского Почтового Отделения
Воронежской Губернии

Прошение

Имею честь покорно просить о причислении к роду моему жены моей Анастасии Ивановны и сына Андрея. У сего представляются Метрические Выписи за №№ 36 и о рождении сына и жены.

Гербовый сбор в Количестве шести руб. 25 к. прибавляю.

Просимые документы прошу выслать на Имя Отца моего живущего при Бестужевском почт. отд. – Сергею Николаевичу Трухачёву.

Потомственный дворянин Борис Сергеевич Трухачёв.

Прошение подписано рукой Бориса, так что при желании можно теперь проверить правильность слов А.И.: «Я вскрыла конверт. Круглый, корявый, ни на чей не похожий *(почерк – В.Б.)*».

Именовал ли Борис в шутку Ярцевку «Диканькой», используя гоголевское название или действительно был такой хутор среди бесчисленных деревенек, разбросанных по правому берегу реки Воронеж в бывшем Задонском уезде, сказать не могу. По крайней мере, ни в каких справочниках упоминаний о воронежской Диканьке я не обнаружил. А вот «гоголевский мотив» в воспоминаниях А.И. о воронежских местах встречается:

«Воронеж. Белые двухэтажные и одноэтажные дома пушкинских **и гоголевских времён**, пирамидальные тополя мощными аллеями вдоль булыжниками мощёных улиц, слепящая небесная синева и щебет птиц в густолиственных ветках» – таким предстал наш город перед взором А.И. летом 1913 года.

И ещё: «…И этот узкий Дон, без единой лодочки, без плотов, жутко темнеющий под осколком заката среди **гоголевских** – может быть! – берегов…».

Чтение вслух Гоголя было нередким занятием молодых Трухачёвых. «Прямо в Гоголя», то есть во время чтения Борисом «Мёртвых душ», начались у А.И. роды её первенца – Андрюши в августе 1912 года.

Так что не исключено, что шаловливый Борис Трухачёв внёс принятое между молодыми шуточное прозвище Ярцевки гоголевской Диканькой в официальный документ, прекрасно понимая, что никаких последствий это повлечь не может. На почтовой станции Бестужево прекрасно знали, где находится имение Трухачёвых.

Впрочем, и самой Ярцевки ни на одной карте я пока найти не смог.

Зато в «Сведениях о земских почтовых трактах», приведённых в Памятной книге Воронежской губернии за 1912 год, можно без труда обнаружить на Задонском тракте почтовую станцию Бестужево. Сам тракт проходил через села Уткино, Данышино, хутора Духовные и Маланинские выселки, почтовую станцию Хлевное. Далее – в 7 км – село Конь-Колодезь, в 9 км – почтовая станция Бестужево. Далее, за хутором Яманским (вероятно, сегодняшняя Емань) пролегала граница Задонского и Воронежского уездов.

Село Бестужево на современных картах мне тоже не встретилось. Но, судя по описаниям тракта, располагалось оно где-то возле теперешнего поселка Князево, на Задонском шоссе.

Переписка помещиков Трухачёвых с внешним миром велась не только через почтовое отделение в Бестужево, как это указано в прошении Бориса. «Жительство имею в собственном имении деревне Ярцевка, почтовая станция Конь-Колодезь» – писал его отец С.Н. Трухачёв 11 мая 1894 года в одном их своих обращений в дворянское собрание.

Заметим также, что в 1913 году из Воронежа в Ярцевку молодые Трухачёвы ехали по Задонскому тракту вероятно только до Бестужево. А затем – сворачивали вправо, на восток, по проселочной дороге на Сенное.

Упоминание о деревне Ярцевка (Ярцева) Сенновской волости встретилось мне лишь в Памятной книге Воронежской губернии за 1892 год. Здесь указано, что лежит она в 39 верстах от Задонска и в 40 верстах от железной дороги (вероятно, до станции Усмань, ЮВЖД); имеет 12 дворов, где проживают 43 мужчины и 41 женщина. Домовладельцев – 9. Имеется 39 десятин общинной земли. Село Сенное же находится в 45 верстах от Задонска и в 35 – от железной дороги. Отсюда можно предположить, что Ярцевка располагалась верстах в пяти не доезжая до Сенного по дороге от Бестужево.

Трухачёвских мест здесь, по правобережью реки Воронеж, много. Угодья эти когда-то принадлежали многочисленным потомкам ратника Богдана Трухачёва. Сам же Богдан был назначен осадным головой в городе Ряжске в 1677 году: «лета 7185-го апреля в 30 день по Государеву цареву и Великия князя Федора Алексеевича всея Великия и Малая России самодержца указу».

Служба царю и отечеству Богданова сына Ивана была не менее успешной, о чём можно судить по имеющейся в деле выписке из Высочайшего указа Государя и Великого Князя Петра Алексеевича, последовавшем 2-го Ноября 1712 года Азовскому губернатору, Президенту Адмиралтейства, Адмиралу, Генералу и Тайному Советнику Графу Фёдору Матвеевичу Апраксину. В ней сказано:

«Воронежца Поручика Ивана Богданова Трухачёва, жалованного поместным новичным окладом 250 четв. земли денег с городом 8 руб, и за которым за службы его справлены придачи за Киевскую (компанию) 1679 году пятьдесят четвер. денег 5 руб., для вечного миру с польским королём 1686 г., сто четв. денег 10 руб., за крымские походы 1687 г. по семьдесят четв. денег 8 руб., 1689 г. сто четвертей и денег 10 руб., а всего поместного оклада с придачами 580 четвертей и денежного оклада сорок один рубль, и при поместном и денежном окладе на Воронеже в приказной Палате написать в список Воронежцев, в числе поручиков».

Четверть – это площадь, равная приблизительно 0,5 га. Так что, как видим, перейдя из недорослей в новики, то есть, достигнув 14 лет и вступив на государственную службу, Иван Трухачёв получил новичный земельный надел, равный 125 га. Затем, за участие в военных компаниях с Речью Посполитой и Турцией, получил придачу и тем самым более чем удвоил этот надел.

Со ссылкой на записи в отказной книге, в справке о роде дворян Трухачёвых говориться, что «поместные и благоприобретенныя имения, состоявшия за поручиком Иваном Богдановым Трухачёвым, находились в деревне Трухачёвке населенной на даче села Вертячего (Гремячье тоже), а так же в дачах

Манинской, Хлевенской, сел Курино, Лазовки и деревень Подгорной, Лазовки и Мечек и прочими урочищами с поселенными крестьянами».

Всё это – в необжитых ещё в то время местах верхнего Придонья, на территории будущего Задонского уезда (ныне Липецкая и частично Воронежской и Тамбовской области) между Воронежем и Тешевом, переименованным в город Задонск только в 1779 году, то есть через сто лет после появления здесь господ Трухачёвых.

Давно пора бы мне объехать эти места, да посмотреть, что они собой теперь представляют, да поговорить со стариками. Наверное, и не пришлось бы тогда «вычислять» Ярцевку по справочникам столетней давности, рискуя впасть в заблуждение. Такая поездка представляется мне тем более необходимой, что в воспоминаниях А.И. о пребывании в Ярцевке неоднократно упоминается Дон. Но Дон находится западнее Задонского тракта и села Бестужево, а не восточнее, не у Сенного. Спутала ли А.И. Дон с рекой Воронеж или я ошибаюсь в своих предположениях – пусть рассудит читатель. Мне же отсутствие авто и времени на досуг не дают свершить давно задуманного вояжа.

Что же касается предка-родоначальника Богдана Трухачёва, то нелишне заметить, что назначение его осадным головой в 1677 году, то есть за 108 лет до жалованной грамоты государыни Екатерины российскому дворянству, позволило роду Трухачёвых быть внесенному в 1868 году в шестую часть родословной книги (припомните начало нашего рассказа). Это давало возможность детям числящихся в ней дворян поступать в привилегированные учебные заведения России: Пажеский корпус, Александровский лицей и Училище правоведения.

Не исключено, что этим правом когда-то воспользовался и отец Бориса – Сергей Николаевич Трухачёв. Не случайно же А.И. называет в своих воспоминаниях его щегольство «экс-лицеистским».

7. Необходимые формальности

Вернёмся, однако, к прошению потомственного дворянина Б.С. Трухачёва. Одного такого прошения, конечно же, было мало. И дело не только в метрических выписках, которые к нему требовалось приложить. Ну как, например, можно было обойтись без подтверждения политической благонадёжности просителя и его жены? А потому прежде чем обратиться в Воронежское депутатское собрание, Борису Трухачёву пришлось наведаться в канцелярию Московского градоначальника и просить о представлении в это собрание свидетельства о такой благонадёжности.

М.В.Д.
КАНЦЕЛЯРІЯ
МОСКОВСКОГО
ГРАДОНАЧАЛЬНІКА

Отделение справочное

«17» сентября 1915 г.
№ 66649
г. Москва

В. Срочно.

В Воронежское Дворянское
Депутатское Собрание

Вследствие просьбы Б.С. ТРУХАЧЁВА
Канцелярия препровождает при сём свидетельство за № 101329 о его политической благонадёжности.
г. Москва
За управляющего канцелярией *подпись*
За делопроизводителя *подпись*

Революционные события 1905-1907 гг. были далеко позади. Политикой Борис и Анастасия не интересовались. А потому Канцелярия не замедлила просьбу удовлетворить, хотя ждать свидетельства о благонадёжности просителю пришлось более месяца, несмотря на гриф «Весьма срочно».

М.В.Д.
КАНЦЕЛЯРІЯ
МОСКОВСКОГО
ГРАДОНАЧАЛЬНІКА
Отделение справочное

«20» августа 1915 г.
№ 104329
г. Москва

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Дано сие, по приказанию Московского Градоначальника, для представления в Воронежское Дворянское Депутатское Собрание потомственному дворянину Борису Сергеевичу ТРУХАЧЁВУ вследствие его о том ходатайства в том, что он, проситель, и жена его Анастасия Ивановна за время проживания в Москве, под судом и следствием не были и ныне не состоят и ни в чём предосудительном полицию не замечены.

За управляющего канцелярией подпись
За делопроизводителя подпись

Теперь мы подошли к главному в процедуре введения во дворянство и можем познакомимся с определением Воронежского дворянского депутатского собрания, вынесенным по делу о прошении Бориса Трухачёва.

Это определение было приложено к сопроводительному письму исполняющего должность Воронежского губернского предводителя дворянства В. Алёхина (дяди чемпиона мира по шахматам А.А. Алёхина) и направлено Уездному предводителю дворянства в Задонск для уведомления его о том, что в уезде появились новые дворяне: Анастасия и Андрей Трухачёвы:

Воронежского Дворянского Депутатского Собрания
16 октября 1915 г.
№ 407

Господину Задонскому Уездному Предводителю Дворянства

Ввиду 965 ст. IX т. св. Зак. о сост. изд. 1899 г. Воронежское Дворянское Депутатское Собрание имеет честь уведомить Вас, Милостивый Государь, что постановлением Собрания, состоявшимся 15 сего Октября сопричислены к роду потомственного дворянина Бориса Сергеевича Трухачёва жена его Анастасия Ивановна, рождённая Цветаева, бракосочетание с которой совершено 22 апреля 1912 года, и сын их Андрей, родившийся 9 августа 1912 года, и внесены в шестую часть родословной книги Дворянства Воронежской губернии.

Подписи:
И.д. Воронежского губернского Предводителя Дворянства В. Алёхин
Секретарь Д-ва Н. Русин
Столоначальник С. Стрижевский

1915 Октября 15 дня.

По указу Его Императорского Величества, Воронежское Дворянское Депутатское Собрание слушали: прошение потомственного дворянина Бориса Сергеевича Трухачёва, поданное 10 августа сего года, о сопричислении жены его Анастасии Ивановны, рождённой Цветаевой и сына их Андрея к роду его, внесении их в родословную книгу Дворянства Воронежской губернии и о выдаче им установленных документов о дворянстве.

Определено: из дела о Дворянстве рода г.г. Трухачёвых видно, что потомственный дворянин Сергей Николаевич Трухачёв (отец просителя) внесён в шестую часть родословной книги Дворянства Воронежской губернии по определению Воронежского Дворянского Депутатского Собрания, состоявшемуся 5 июля 1868 года, утверждённому указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии, последовавшим в сие Собрание от 19 сентября 1868 г. за № 4055.

Затем по сему роду сопричислен потомственного дворянина Сергея Николаевича Трухачёва сын Борис (проситель), родившийся 30 марта 1893 года, и внесён в ту же шестую часть родословной книги Дворянства по определению сего Собрания, состоявшемуся 2 сентября 1893 года.

Нижеследующими документами удостоверяется: а) засвидетельствованными Духовным Правлением при Протопресвитере Военного и Морского Духовенства от 6 октября 1915 года за № 20262 и Московской Духовной Консисторией от 31 августа 1915 года за № 17193; метрическими выписями, что бракосочетание потомственного дворянина Бориса Сергеевича Трухачёва с дочерью Тайного Советника Ивана Владимировича Цветаева Анастасией Ивановною совершено 22 апреля 1912 года и что в сем браке родился сын Андрей 9 августа 1912 года и в) свидетельством Московского Градоначальника от 20 августа 1915 года за № 101329, что потомственный дворянин Борис Сергеевич Трухачёв и жена его Анастасия Ивановна под судом и следствием не были и ныне не состоят и ни в чем предосудительном не замечены.

Воронежское Дворянское Депутатское Собрание, по рассмотрении вышеизложенных документов, руководствуясь Св. Зак. о сост. изд. 1899 г. ст. 37, 42, 359, 360, 370, 373 прим. и 968 т. IX, полагает:

сопричислив к роду потомственного дворянина Бориса Сергеевича Трухачёва жену его Анастасию Ивановну и сына их Андрея, внести их в шестую часть родословной книги Дворянства Воронежской губернии и выдать им свидетельства о дворянстве и, не представляя, по существу 359 ст. того же IX т. св. зак. копии сего постановления и документов, на коих оно основано, на ревизию в Правительствующий Сенат, так как род г.г. Трухачёвых утверждён уже в правах древнего потомственного дворянства, приведённом в постановлении, указом Правительствующего Сената за № 4055. О внесении же

г.г. Трухачёвых в родословную книгу Дворянства, в виду 965 ст. IX т. св. зак. о сост. изд. 1899 г., уведомить г. Задонского уездного предводителя Дворянства.

За сим вместе с отдельным сопроводительным письмом последовали и подписанные теми же лицами «Свидетельства» в том, что Анастасия Ивановна Трухачёва – потомственная дворянка, и сын её Андрей Борисович Трухачёв сопричислены к роду г.г. Трухачёвых, утверждённому в правах потомственного дворянства.

В письме предписывалось выдать указанные свидетельства потомственному дворянину Сергею Николаевичу Трухачёву, жительствующему в с. Бестужеве Задонского уезда, под расписку, что очевидно и сделал пристав 2-го стана Задонского уезда 26 октября 1915 года.

Министерство
Внутренних дел

ПОЛУЧЕНО
20 окт. 1915 года
Вх. №_____

Воронежского
Дворянского
Депутатского Собрания
16 октября 1915 г.
№ 404

В Задонское Уездное Полицейское Управление

г. Воронеж

Воронежское Дворянское Депутатское Собрание, препровождая при сём свидетельства о дворянстве жены потомственного дворянина Бориса Сергеевича Трухачёва Анастасии Ивановны и сына их Андрея от 16 сего октября за №№ 404 и 405 и метрические выписи Духовного Правления при Протоприсвитере Военного и Морского Духовенства, от 6 октября 1915 г. за № 20262, Московской Духовной Консистории от 31 августа 1915 г. за № 17193 и причта Московской Благовещенской церкви от 8 июня 1915 г. о рождении жены г. Трухачёва, о бракосочетании его и рождении вышепоименованного сына его, покорнейше просит Задонское Уездное Полицейское Управление выдать означенные документы отцу Бориса Сергеевича Трухачёва потомственному дворянину Сергею Николаевичу Трухачёву, жительствующему в с. Бестужеве Задонского уезда, под расписку, взыскав с него дополнительный гербовый сбор в количестве четырёх рублей (гербовыми марками) на оплату: копий метрических выписей, взамен подлинных, и производства по сему делу.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Дано сие из Воронежского Дворянского Депутатского Собрания, за надлежащими подписями и приложением печати, жене потомственного дворянина Бориса Сергеевича Трухачёва Анастасии Ивановне, рождённой Цветаевой, бракосочетание которой с поименованным мужем, как удостоверяет Духовное Правление при Протоприсвитере Военного и Морского Духовенства метрическим свидетельством от 6 октября 1915 года за № 20262, совершено двадцать второго апреля тысяча девятьсот двенадцатого года, в том, что она Анастасия Ивановна Трухачёва, потомственная дворянка, сопричислена к роду г.г. Трухачёвых, утвержденному в правах потомственного дворянства указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии, последовавшим в сие Собрание, от 19 сентября 1868 года за № 4055, и внесена в шестую часть родословной книги дворянства Воронежской губернии, по определению сего Собрания, состоявшемуся 15 октября 1915 года, и что определение это по существу 359 ст., IX т. Св. зак. о сост. изд. 1899 г. за воспоследованием приведённого указа, представлению на ревизию в Правительствующий Сенат не подлежит. Гербовый сбор уплачен. 1915 года, Октября 16 дня. Гор. Воронеж.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Дано сие из Воронежского Дворянского Депутатского Собрания, за надлежащими подписями и приложением печати, сыну потомственного дворянина Бориса Сергеевича Трухачёва Андрею, родившемуся, как удостоверяет Московская Духовная Консистория метрическим свидетельством от 31 августа 1915 года за № 17193, от поименованного отца и законной его жены Анастасии Ивановны девятого августа тысяча девятьсот двенадцатого года, в том, что он Андрей Борисович Трухачёв, потомственный дворянин, сопричислен к роду г.г. Трухачёвых, утверждённому в правах потомственного дворянства указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии, последовавшим в сие Собрание, от 19 сентября 1868 года за № 4055, и внесён в шестую часть родословной книги дворянства Воронежской губернии, по определению сего Собрания, состоявшемуся 15 октября 1915 года, и что определение это по существу 359 ст., IX т. Св. зак. о сост. изд. 1899 г. за воспоследованием приведённого указа, представлению на ревизию в Правительствующий Сенат не подлежит. Гербовый сбор уплачен. 1915 года, Октября 16 дня. Гор. Воронеж.

Имеется в воронежском деле дворян Трухачёвых и расписка ярцевского помещика Сергея Николаевича Трухачёва, подтверждающего получение всех направленных ему свидетельств о дворянстве невестки и внука и представленных ранее в собрание оригиналов метрических выписей:

1915 года Октября 26 дня, я нижеподписавшийся, выдаю эту расписку Приставу 2 стана Задонского уезда в том, что присланные при отношении Воронежского Дворянского Депутатского Собрания от 16 Октября с.г. за № 406, документы за №№ 404, 405, 20262, 17193 и от 8 июня 1915 г. я сего числа получил в чём и подписываюсь потомственный дворянин

С. Трухачёв

Копии же указанных документов, заверенные секретарём дворянства Н. Русиным и столоначальником С. Стрижевским, были подшиты в дело и, как видим, сохранились до наших дней.

Итак, задуманное Борисом исполнилось. Анастасия Ивановна Трухачёва и её сын Андрей стали потомственными воронежскими дворянами. А что же сам Борис? Завершив хлопоты по делу о дворянстве бывшей жены и сына, скрыв свой белый билет и забыв о начатом разводе с А.И., в 1916 году он всё-таки уйдет на фронт рядовым 15-го гренадерского Тифлисского полка. «Незадолго до весны 1917 года Борис был доставлен в больницу в Москву в нервном параличе. У него висела рука, не действовала нога и половина лица отнялась».

Судоговорение по делу о разводе так и не состоялось. И формально А.И. продолжала оставаться Трухачёвой.

25 июня 1916 года от второго мужа М.А. Минца у неё родится сын Алёша, который в связи с нерасторгнутым первым браком А.И. был крещён как Трухачёв. Обряд крещения был совершён на дому приглашённым священником церкви города Александрова, где А.И. проживала со своим мужем.

Умер Алёша 18 июля 1917 года. На его могильном кресте в Коктебеле значится «Минц-Цветаев», то есть составная фамилия его родителей, но не его истинная.

Во время второго брака и позже фамилию Трухачёва применительно к себе А.И. не употребляла. Но то обстоятельство, что по документам она продолжала быть Трухачёвой, давало о себе знать и даже вынудило её в начале 1920-х годов именоваться Цветаевой-Трухачёвой при регистрации в качестве безработной на бирже труда. Впрочем, отделение церкви от государства освободило её от церковных формальностей по этой части.

Борис Трухачёв умрёт от сыпного тифа 6 февраля 1919 года в Старом Крыму на руках всё той же А.И. Несмотря на своё неудачное первое замужество, за всю долгую жизнь А.И. не сказала, кажется, ни одного дурного слова о Борисе. Просто считала, что для семейной жизни он не был создан. Начало её творчества – философские эссе «Королевские размышления» (1914) и «Дым, дым и дым» (1916) – полны чувством к нему, размышлениями о нём и о себе. Любила она его и в своём сыне Андрее: узнавала в сыне его черты, проявления древнего дворянского достоинства. Гордилась тем, что не уклонился от похорон своего деда-дворянина – умершего в 1931 году теперь уже «бывшего человека» (по официальной советской терминологии), нищего, бывшего воронежского помещика Сергея Николаевича Трухачёва. Сохраняла память о нём в своих внуках, приучая их любить его фамилию, не давая прельститься своей знаменитой девичьей и затмить, заслонить память о нём.

Исключительно сердечные чувства питала к Борису Трухачёву сестра А.И. – Марина Цветаева. «О смерти Бориса узнала в конце сентября, от Эринбурга. Не поверила. – Продолжала молиться», писала она А.И. в декабре 1920 г. И позже: «О Борисе горевала и горюю, смерти его не верю и её не принимаю, – приходится верить в бессмертие души!.. Жалко Бориса. Больше, чем могу сказать, в нём я потеряла настоящего брата, не могу смириться».

Жена и сын пережили Бориса на 74 года. Умерли воронежские дворяне Анастасия Ивановна и Андрей Борисович Трухачёвы в 1993 году, сын – на семь месяцев раньше матери.

Воронежское дворянство А.И. не было пустой формальностью или легко забытым бессмысленным игривым «подарком на память» о кратковременном замужестве. Конечно, после октября 1917 года оно стало ненужным и даже опасным эпизодом её биографии. Но мне кажется, что в глубине души и мать, и сын ощущали принадлежность к нему. Оно ещё одной нитью связывало А.И. с её прошлым, со старой Россией, с Воронежем, хотя она об этом никогда не говорила. Самыми почитаемыми ею святыми были Митрофаний Воронежский и Тихон Задонский. Неоднократно проводила она летний отдых с сыном Андреем в Эртелевке-Лаптевке, в бывшем доме дочерей А.И. Эртеля под Воронежем. Воронеж мелькает на многих страницах её воспоминаний. И, замыкая какой-то невидимый круг в её творчестве, возвращая её к тому, с чего она начинала в своём трехкратном «Дыме», суждена ей была в 1972 году встреча с воронежским поэтом Валерием Исаянцем, завершившаяся написанием ею «Истории одного путешествия».

Пусть же принадлежность Анастасии Ивановны Цветаевой к воронежскому потомственному дворянству послужит связующей нитью между нами и её судьбой и творчеством.

Автор выражает свою глубокую благодарность за подготовку этой публикации секретарю «Воронежского мемориала» И.Н. Новинскому.

ВЛАДИМИР ДЯДИЧЕВ

В.В. РОЗАНОВ И АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

По-видимому, хронологически первым упоминанием фамилии Розанова в текстах, в документах сестёр Цветаевых является запись Марины Цветаевой от 12 (25) февраля 1914 года в её Записной книжке (№1): «Последние вечера мы с Асей думаем о Розанове. Ах, он умрёт и никогда не узнает, как безумно мы его понимали и трогательно искали на Итальянской, в Феодосии, зная, что он в Москве! Милый Розанов! Милый, чудный старик, сказавший, что ему 56 лет и что всё уже поздно. Но я знаю как безнадёжны письма к таким, как он, и не могу вынести тоски в ожидании письма, которое – я знаю! – не придёт. Ах, это такая боль! Всё равно что писать Марии Башкирцевой или Беттине».

Сёстры Марина и Анастасия Цветаевы со своими годовалыми детьми жили в это время в Крыму, в Феодосии.

Из «Воспоминаний» Ан. Цветаевой и писем Марины Цветаевой (7 марта и 8 апреля 1914) известно, что в феврале 1914 года сёстры открыли для себя «Уединённое» Василия Розанова. Эта книга писателя, имеющая характерный уточняющий подзаголовок «Почти на правах рукописи», вышла весной 1912 года. Книга – сборник коротких записей-размышлений в одну или несколько фраз, в два-три абзаца (сам Розанов называл их «Афоризмами»), сделанных как бы «для себя», как бы «на ходу», попутно с «основной» систематической писательской, журналистской работой. В «Опавших листьях. Короб первый» (1913) Розанов писал об «Уединённом»: «Совершенно не заметили, что есть нового в „У<единённом>“. Сравнивали с „Испов<едью>“ Р<уссо>, тогда как я прежде всего не исповедуюсь. Новое – *тон*, опять – манускриптов, „до Гуттенберга“, для себя. Ведь в средних веках не писали для публики, потому что прежде всего не издавали…».

Ан. Цветаева в «Воспоминаниях» приводит несколько выписок из «Уединённого» В. Розанова, очевидно, оказавшихся ей тогда наиболее близкими, «сжимающими сердце», «родными». Среди них: «Боль жизни гораздо могущественней интереса к жизни. Вот отчего религия всегда будет одолевать философию…»; «Могила… знаете ли вы, что мысль её победит целую цивилизацию… То есть вот равнина… поле… ничего нет, никого нет… и этот горбик земли, под которым зарыт человек. И эти два слова… „зарыт человек“, „человек умер“ своим потрясающим смыслом, своим великим смыслом, стонущим… преодолевают всю планету и важнее „Иловайского с Аттилами“. Сесть на гробике и выть на нём униженно, собакой…».[5]

На этот «тон», эту ноту розановской книги тогда же (июль 1912 г.) обратил внимание критик А.К. Закржевский: «В своей книге „Уединённое“, искренно-обнажённой книге, книге души, по ошибке изданной и уже втоптанной в грязь толпой и газетчиками, Розанов как бы кается в своём безумном дерзании. И какая скорбь, какая зловещая искалеченность в этом его покаянии, какое бессилие перед смертью, какая растерянность перед вечностью, какая боль от внезапно присосавшейся тоски! <…> По временам пронзительная горечь прорывается в его словах – и куда-то уходит все его „дерзание“, вся его торжествующая плотскость, весь его языческий дух – и тогда перед нами живой, страдающий человек, со всей своей обнажённостью, со всей беспомощностью и тоской, человек, прошедший мимо христианства, забывший, что есть смерть, а теперь вдруг понявший, почувствовавший, что смерть одна-то, и есть, что никакая радость не в состоянии её уничтожить, что смерть – альфа и омега жизни, таинственный призрак, тайна тайн, что смерть есть единственная реальность».

Надо сказать, что сёстры Цветаевы в те феодосийские дни, и, пожалуй, больше – в свои детские, отроческие, юношеские годы не только читали стихи Марины «в унисон» (как раз несколько таких выступлений состоялось зимой 1913/1914 года в Феодосии), но, по-видимому, в чём-то, если не во многом и мыслили «в унисон»…

Известно, сколь драматично, сколь непросто ребёнок, отрок переживает, осознает ту открывшуюся ему во всей полноте трагическую, но непреложную истину, что и он, он (!) тоже, тоже (!) *умрёт*… По этому поводу существует обширная специальная медицинская, психологическая и иная литература. Применительно к сёстрам Цветаевым дело осложнялось и ранней потерей родителей (матери – 1906, отца – 1913), некоторых других близких людей…

Несколько выдержек из стихов Марины Цветаевой.

Стихотворение «Молитва», вошедшее в её первый сборник «Вечерний альбом» (1910), написано в день рождения автора (26 сентября – по старому стилю – 1909 года), когда Марине исполнилось семнадцать лет. Цветаевская героиня, обращаясь к Христу, «жаждет чуда», бесстрашно устремляется навстречу жизни с максималистским требованием – всё или ничего! Как плата за щедрость Бога – готовность героини к ранней смерти, которая представляется даже героически-желанной: *«О, дай мне умереть, покуда / Вся жизнь как книга для меня»*. И – завершающие строки:

Ты дал мне детство – лучше сказки
И дай мне смерть – в семнадцать лет!

Завершается «Вечерний альбом» стихотворением «Ещё молитва», датированным осенью 1910 г., когда Марине исполнилось восемнадцать лет. Названием оно отсылает к предыдущей, «семнадцатилетней» «Молитве». Кстати, третий, последний раздел сборника «Вечерний альбом», куда входят и обе стихотворные «молитвы», называется – «Только тени»:

Дай понять мне, Христос, что не все только тени,
Дай не тень мне обнять, наконец!

Мыслью о неизбежности и ужасе конца всякой человеческой жизни пронизано и стихотворение **«**Посвящаю эти строки…», написанное Мариной Цветаевой весной 1913 года:

Знаю! – Всё сгорит дотла!
И не приютит могила
Ничего, что я любила,
Чем жила.

С мая 1913 года Марина Цветаева с семьей живёт в Крыму – в Коктебеле, в Феодосии… Может быть, по некоторому контрасту с безоблачным бытом лета 1913 года, под вечный шум вечного моря, в стихах вновь звучат мотивы о конечности всякой человеческой жизни. Об этом – и отброшенная позднее строфа стихотворения «Идёшь, на меня похожий...»: *«Я вечности не приемлю! / Зачем меня погребли? / Я так не хотела в землю / С любимой моей земли!»*. Трагическая нота звучит и далее – человек, которого «звали Мариной», невозвратим:

И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились…
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!

На слове **была** самой Мариной Цветаевой сделан смысловой и интонационный акцент. 13 мая 1913 года Цветаева создала стихотворение «Моим стихам, написанным так рано…». Упоминаемые в нём стихи «о юности и смерти» – это как раз и есть «Идёшь, на меня похожий…». Оба стихотворения образуют как бы своеобразную поэтическую дилогию. В том же мае 1913 года написано: *«Странно чувствовать так сильно и так просто / Мимолётность жизни – и свою»* («Солнцем жилки налиты – не кровью…», 15 мая 1913 г.).

Там же, в Крыму, 11 июля 1913 года написано стихотворение «Идите же! – Мой голос нем…». Лирическая героиня сожалеет, что так, до смерти, осталась непонятой: *«Какого демона во мне / Ты в вечность упустил!»*.

Осенью 1913 года, после похорон отца, Ивана Владимировича Цветаева, в стихах Марины Цветаевой – опять размышления «о юности и смерти», о цветении юности и о конце жизни. 8 декабря 1913 года датировано стихотворение «Уж сколько их упало в эту бездну…»: *«Настанет день, когда и я исчезну / С поверхности земли…»*. Остро переживая равнодушное состояние мира без себя, после своей смерти *(«И будет жизнь с её насущным хлебом, / С забывчивостью дня. / И будет всё – как будто бы под небом / И не было меня!»)*, М. Цветаева дает самоописание: *«– Меня, такой живой и настоящей / На ласковой земле!»*. И в конце стихотворения она обращается к читателям:

– Послушайте! – Ещё меня любите
За то, что я умру.

На ту же тему – другое стихотворение тех дней – «Быть нежной, бешеной и шумной…» (Феодосия, Сочельник 1913 г.):

Быть нежной, бешеной и шумной,
– Так жаждать жить! –
<…>
– О возмущенье, что в могиле
Мы все равны!..

Да, там в небытии придётся *«стать как лед! – / Не зная ни того, что было, / И что придёт…»*, *«Забыть свои слова и голос, / И блеск волос…»*, *«Забыть… Все шалости свои, все бури / И все стихи…»*.

В иных стихах лета 1913 года Марина Цветаева выражает и радость общения с близкими. С сестрой Асей, с которой у неё полное взаимопонимание, *унисон*: *«Мы быстры и наготове, / Мы остры. / В каждом жесте, в каждом взгляде, в каждом слове – / Две сестры»* («Асе», 1, 11 июля 1913 г.).

Анастасия Цветаева приехала в Крым, в Феодосию, с годовалым сыном Андреем в начале осени 1913 года. И в том же 1913 году Мариной Цветаевой написано и стихотворение «Взгляните внимательно и если возможно – нежнее…», посвящённое сестре:

Взгляните внимательно и если возможно – нежнее,
И если возможно – подольше с неё не сводите очей.
Она перед вами – дитя с ожерельем на шее
И с локонами до плечей.

В ней – всё, что вы любите, всё что, летя вокруг света,
Вы уж не догоните – как поезда ни быстры.
Во мне говорит не влюблённость поэта
И не гордость сестры.

Зовут её Ася: но лучшее имя ей – пламя,
Которого не было, нет и не будет ни в ком.
И помните лишь, что она не навек перед вами,
Что все мы умрем…

Как отмечает Анастасия Цветаева, она с 12 лет вела дневники, вела записи своих мыслей, размышлений… В книге «Королевские размышления» её первые записи помечены: «Апрель 1914 г. Феодосия». Наиболее поздние из вошедших в эту книгу – «Февраль 1915. Москва». Судя по «Королевским размышлениям» и «Воспоминаниям» Анастасии Цветаевой, очень многие размышления сестёр, в первую очередь их «онтологические» мысли – о Боге и неверии, о сущности жизни и смерти – в стихах и в прозе, соответственно, шли близкими, параллельными, порой даже совпадающими, сливающимися путями, «в унисон». Можно было бы составить своего рода компаративистский, интертекстуальный список таких «параллельных» мест в текстах Марины и Анастасии Цветаевых тех лет.

И неудивительно, что писатель, философ Василий Розанов своими размышлениями, исповедально-философскими афоризмами, эссе оказался в чём-то близок молодым женщинам. Кстати, в «Уединённом», кроме «Иловайского с Аттилами» (а историк Д.И. Иловайский приходился сёстрам Цветаевым сводным дедушкой), встречаются и размышления Розанова о Марии Башкирцевой (чьей судьбой, «Дневником», жизнью и ранней смертью долго были захвачены Марина и Анастасия). Известно сколь сильный отклик находят у читателя такие «совпадения»: боже, и он, писатель, тоже – об этом…

Первое письмо Анастасии Цветаевой к В. Розанову – конец февраля 1914 года, отправлено из Феодосии и подписано ею фамилией мужа: Анастасия Трухачёва. «Вам 59 лет, а мне 19, но никакой разницы, – писала Анастасия Розанову, – потому что Вы пишете о том, что вне возраста, – о жизни и смерти и об одиночестве…» (273).

В. Розанов откликнулся на письмо Анастасии Цветаевой…

Надо сказать, что получение В. Розановым посланий от Анастасии и, чуть позже, Марины Цветаевых совпало с ростом у писателя особого интереса к переписке и общению с юношеством, молодежью. Конечно, вопросы просвещения, семьи, брака, воспитания детей и т.п. уже многие годы были главными областями его писательских интересов. Дело, однако, в том, что как раз на почве этих интересов осенью 1913 года Розанов познакомился с редактором и издателем недавно организованного литературно-художественного студенческого журнала «Вешние воды». В. Розанов стал сотрудничать с этим изданием. И с весны 1914 года в каждом выпуске «Вешних вод» стали печататься материалы В. Розанова. В журнале появилась специально созданная розановская рубрика «Из жизни, исканий и наблюдений студенчества». В ней Розанов публиковал письма к нему молодых читателей (обоего пола) со своими весьма оригинальными ответами-комментариями. Как вспоминал позднее редактор «Вешних вод» М.М. Спасовский, свою рубрику «Из жизни, исканий и наблюдений студенчества» «Розанов вёл крайне оригинально. Около его письменного стола в одном из простенков между окон стоял довольно высокий специальный шкаф, имевший до 30 глубоких ящиков <…> Все ящики этого шкафа были набиты письмами. Розанов этот шкаф называл „студенческим“. С Розановым переписывалась или по крайней мере писала ему буквально вся живая, действительно мыслящая и духовно независимая российская студенческая молодёжь обоего пола, отзываясь на те или иные книги и статьи Розанова. Отзывалась молодёжь горячо, возбуждённо, то с негодованием – „где же тут христианство?!“ или „не впадаете ли вы в ересь?“. То с восторгом –

„вы необыкновенный мыслитель и диагност и превосходный стилист!" <…> И случалось довольно часто так, что к такому почему-либо характерному письму Розанов писал своё подстрочное примечание иногда в виде целой и даже весьма объёмистой статьи, где очень часто можно было встретить совершенно необыкновенные, чисто розановские озарения по целому ряду религиозно-философских проблем и где он так щедро сыпал своими удивительными выражениями, полными яркой остротой мысли и глубиной чувства».[7] Предполагалось, что в последующем из этих публикаций Розанова составится книга…

Розановско-Цветаевские «искания и наблюдения» в тексты, появившиеся в «Вешних водах», не вошли…

Отмечу, что история взаимоотношений В. Розанова и Анастасии Цветаевой достаточно подробно освещена самой А. Цветаевой в её «Воспоминаниях». Она, как известно, тогда же, в дни общения с Розановым, готовила о нём книгу, которая, к сожалению, до нас не дошла.

Ряд интересных деталей к теме «В. Розанов – А. Цветаева» привёл Александр Медведев в энциклопедической статье «Цветаева А.И.» в «Розановской энциклопедии».[8] К сожалению, в приводимых там фрагментах писем Розанова к А. Цветаевой имеется ряд неточностей в расшифровке. Поэтому я их привожу здесь так, как они были прочитаны мною с оригиналов, хранящихся в Архиве А.М. Горького в ИМЛИ.

В первом письме В. Розанов писал Анастасии Цветаевой:

«Спасибо, милая и добрая Настя, за письмо, которое не могло не взволновать меня как человека, как писателя. Я решил „загасить свечку" литературы, и поговорить „в темноте ночи" просто как человек. И ты, милая и умная 19-ти лет, всё поняла. Спасибо тебе, родная, и дай Бог тебе счастья.

Не будь капризулькой и „гордецой" и выслушай простую истину 60-летнего: счастье девушки – всё в замужестве, и от страшной трагедии загадки – выбрать мужа, и „прийтись мужу по душе".

Ах, <…> (у меня 4 девушки! 7 – 14 лет) все-то вы зависите не от школы, не от учебников, не от <…> „понравился" (мне), „я понравилась". Вы сущности – минуты (любовь всегда „сразу", <…>) <…>

Будь благословенна, Настя, <…>

В. Розанов.

СПб. Коломенская, 33, кв. 21.»

<Оборотная сторона письма:>

«60 и 19 – никакой разницы.

Прежде всего – это два переходных возраста. <…> возраста, когда „всё говорится". <…>

Когда я говорю то, что я хочу.

А не то, что „вам нравится".

Кому?

Никому…».[9]

По указанному в письме адресу – Петербург, Коломенская ул., дом 33, кв. 21 – семья Розановых проживала с 1912 по август 1915 года.

Вслед за первым пришло второе письмо:

«Милая, милая девушка! Я теперь <u>целую всё</u> ваше письмо, раньше только взглянул и „сразу написал" и мне хочется сказать „вдогонку тому письму": как хорошо всё, что вы пишете, какой <u>глубокий тон</u>. А ведь „Тон" – тон – музыка. То, „чего сказать не могу и не умею" и что „главное".

Всё читаю (1-ая строка): Вы – до <u>самой глубины</u> поняли всё в <u>Уед., как я хотел себя сказать</u> – как себя чувствую и понимаю. Удивительно: а ведь сколько о нём писали: „циник", „Роз. – циник, Карамазов, Смердяков" etc. И девушка в 19 л. всё поняла. Но я давно давно догадываюсь, что „литераторы – самый недогадливый народ на свете". Ничего не понимают.

Буду дальше писать, 3-го апр.»

<Оборотная сторона письма:>

«Как всё глубоко (у Вас): о проститутках. <u>Никогда их не осуждайте</u> (моя жена – чистейшая – никогда не осуждала) <…> О сходстве старости и юности: моя всегда тоже мысль. „В 35 л. – вовсе не интересно", „Дурак", „Ничего не понимают". С <u>юности</u> я любил говорить со стариками, со старухами. Интересно было с 35 лет с ними. <…> И в <u>свои</u> 35 л. я играл с детьми, <u>уважал</u> гимназистов и гимназисток, и почему-то никогда не уважал профессоров, журналистов и общест. деятелей <…>

Читаю дальше.

Всё хорошо, чудно. Мне даже странно, что Вы так стары или опытны или глубоки душою. <…> без несчастья это не может быть. У Вас есть какое-нибудь внутреннее и м.б. тайное несчастье. Тогда… голубушка, терпите, несите крест. <…>

Милая, милая – как всё верно.»

<И – слева по краю, снизу вверх:>

«P.S. Да разве вы женщина, а не девушка? Вот те и на, как говорят мужики. А я Вас принял за „кончившую курс гимназистку"».[10]

Тут надо отметить и ещё одно обстоятельство того периода. Конец 1913 – начало 1914 года были для Розанова временем, когда из-за его печатных выступлений, связанных с делом Бейлиса (об «обоня-

тельном и осязательном отношении евреев к крови», о возможности ритуальных убийств и т.п.), от него отвернулись некоторые его литературные соратники, в печати он подвергался остракизму и пр. (Отсюда в письме – упоминания о газетной ругани в его адрес: «„циник“, „Роз. – циник, Карамазов, Смердяков“ etc»)…

Письмо может быть датировано началом апреля 1914 года, так как в тексте письма упомянута дата «3-го апр.», когда Розанов собирался продолжить письмо.

Приписка же Розанова во втором письме свидетельствует о том, что он, очевидно, как раз к этому времени уже получил и прочитал письмо Марины Цветаевой…

Марина Цветаева в чём-то даже ревниво включилась в переписку, начатую незадолго перед тем младшей сестрой. В письмах к Розанову она много рассказала о своей семье и своей жизни.

«Феодосия, 7-го марта 1914 г., пятница. Милый, милый Василий Васильевич.

Сейчас во всем моём существе какое-то ликование, я сделалась доброй, всем говорю приятное, хочется не ходить, а бегать, не бегать, а лететь, – всё из-за Вашего письма к Асе – чудного, настоящего – „как надо!“ <…>

Я ничего не читала из Ваших книг, кроме „Уединённого“, но смело скажу, что Вы – гениальны. Вы всё понимаете и всё поймёте, и так радостно Вам это говорить, идти к Вам навстречу, быть щедрой, ничего не объяснять, не скрывать, не бояться. <…>

Послушайте, Вы сказали о Марии Башкирцевой то, чего не сказал никто. А Марию Башкирцеву я люблю безумно, с безумной болью. Я целые два года жила тоской о ней. Она для меня так же жива, как я сама. <…>

Пишу Вам все это в ответ на Ваши слова Асе о замужестве.

Теперь скажу Вам, кто мы: вы знали нашего отца. Это – Иван Владимирович Цветаев, после смерти которого Вы написали статью в „Новом времени“.

Ещё лишнее звено между нами. Как радостно!..».

Из письма М. Цветаевой к В.В. Розанову от 8 апреля 1914 года – о родителях:

«22-х лет мама вышла замуж за папу, с прямой целью заместить мать его осиротевшим детям – Валерии 8-ми лет и Андрею – 1 год. Папе тогда было 44 года.

Папу она бесконечно любила, но 2 первых года ужасно мучилась его неугасшей любовью к В.Д. Иловайской. <…>

„Опавшие листья“ купили обе. Как хорошо, что фотографии!

И карточки свои пришлём. <…> Мы купили „Опавшие листья“, а когда увидимся, Вы нам надпишете…».[11]

Первая поездка Анастасии Цветаевой в Петроград и её встречи с Розановым – октябрь 1914 года. В «Воспоминаниях» Анастасия Цветаева говорит о вечернем семейном чаепитии у Розанова и о двух вечерах, проведённых с ним в редакции «Нового времени» (С. 347-354).

А в её «Королевских размышлениях» несколько записей помечены: «Октябрь 1914. Петроград». Среди них, в частности, записи: «И весь этот день, как облако золотое, проносится над головой моей, над холодными улицами Петрограда, над этой великолепной жизнью – в силе и славе своей!.. <…> Мне кажется, что когда-нибудь я подойду к зеркалу, взгляну на себя и сойду с ума <…> Знаешь, что я слышу ужасно ясно? Как земля летит…».

Несомненно, знакомство с книгами Розанова «Уединённое» и «Опавшие листья», переписка и встреча с ним стали одним из мощных побудительных мотивов к публикации собственных наблюдений-размышлений, собственных дневниковых заметок именно в таком «непричёсанном», фрагментарном виде. К этому же, очевидно, подвигало Анастасию Цветаеву и знакомство с «Дневником» Марии Башкирцевой и с «Дневниками…» Е.К. Дьяконовой, как и очевидный успех этих «Дневников» у читающей России того времени.

Книга Анастасии Цветаевой «Королевские размышления» вышла в начале апреля 1915 года (по «Книжной летописи» она поступила в Главное управление по делам печати в период с 7 по 14 апреля 1915 г. Тираж – 500 экземпляров.). Первые записи Цветаевой, вошедшие в книгу «Королевские размышления», как мы уже упомянули, помечены: «Апрель 1914 г. Феодосия». Наиболее поздние – «Февраль 1915. Москва».

Евгения Герцык в очерке «Лев Шестов» рассказала, как в доме Герцыков, в Москве в Кречетниковском переулке, Анастасия Цветаева была представлена философу: «Есть такая девочка, то есть она уж писательница напечатанная, вот (подсовываем ему «Королевские размышления», «Дым, дым…»), она умоляет познакомить её с вами, вы сыграли огромную роль в её жизни. Придёте во вторник? И вот мы их оставляем вдвоём, и Ася, часто мигая светлыми ресницами близоруких глаз, говорит ему что-то умное, острое, женственное…».[12] Всё же, по-видимому, Лев Шестов ознакомился с «Королевскими размышлениями» ещё в рукописи, как об этом повествует сама Анастасия Цветаева (344-345).

В последнем, наиболее полном издании «Воспоминаний» (под ред. С. Айдиняна) появились строки Анастасии Цветаевой: «…И, может быть, уместно сказать здесь, что он <Розанов> напечатал о моей книге статью (в какой-то газете?), мне её не довелось прочесть, что-то вроде: „Глядите – человек взошёл на колокольню и готов с неё сейчас броситься!“ …Единственное, что я позже запомнила об этой статье из его же слов».[13]

Такая заметка В. Розанова действительно появилась в «Новом времени»:

«Задумалась…

Девушка задумалась… Очень молоденькая девушка, по-видимому…

Она шла через большую площадь… Зашла в какое-то непонятное ей здание. Из него неслись голоса, пение. Она их не слушала. Не слышала. Она ничего не слышала в целом мире, кроме своих мыслей…

Мысли эти были „из круга Достоевского". О чём? О всём.

Попалась лестница, и она пошла по ней. Всё выше и выше, не замечая ничего…

Она всё думала. О Ставрогине, о Кирилове. Мир потух для неё, люди погасли. Во всём мире торчали 6-10 огромных глаз – героев Достоевского.

На Достоевского она променяла мир. В мире она ничего не слышала, кроме голоса Достоевского…

А ноги всё шли. Медленно и задумчиво. Вечерело. Она вошла в какое-то тесненькое помещение. Она не заметила, что тут были колокола, что это была колокольня.

Подошла и подняла ногу… Край, бездна… Она не видит ничего. Город, огни. Она не хочет их. Нет, другое: хочет и не хочет…

Любит и ненавидит.

Отрицает и проклинает.

Размышляет и безумствует…

Она написала „Королевские размышления" (Москва, – только что вышла).

Господа, мне больно и трудно – кто-нибудь, спасите девушку.

Она забезумствовалась в литературе. Разве это можно? Литература есть всё-таки литература, как бы хороша и сильна она ни была.

Достоевский есть Достоевский, человек, как мы.

Есть домики, семейства, есть город, а вы взобрались на колокольню. Это не дело, это озорство. Спуститесь, войдите в церковь и помолитесь.

Некому? Душа ваша пуста? Вы всё потеряли, „приобрёв только Достоевского"?

Но Достоевский учил о мире и учил любить мир. Вам нужно мир, людей полюбить. Вот в чём спасение.

Но вы его не хотите? В *этом* одном, именно в *этом*, вы не хотите следовать Достоевскому?

Ах, „Королевские размышления" – печальная и страшная книга. И я всё-таки повторяю, что надо как-то спасти девушку. В книге есть зловещая строка: „Мне кажется, в один прекрасный час я подойду к зеркалу, взгляну на себя и сойду с ума". И ещё: „Тишина – и я слышу, явно слышу, как земля летит в пространстве". Всё это – жуткие строки. Да, впрочем, – жутка вся книга, от первой строки.

В. Розанов».[14]

Несколько комментариев.

Во-первых, печатный отклик В. Розанова появился в газете «Новое время» практически лишь через год после появления книжки А. Цветаевой (а не «Москва, – только что вышла»).

Во-вторых, имя автора «Королевских размышлений», «задумавшейся девушки», «очень молоденькой девушки», В. Розановым в печатном отзыве не названо. Таким образом, отзыв – это как бы текст только для «посвящённых», фактически – ещё одно *личное* послание писателя к Анастасии Цветаевой и её ближайшему окружению…

Впрочем, в этом розановском тексте имеется и прямое обращение к «задумавшейся девушке» – Анастасии Цветаевой (а не к читателям газеты): «Есть домики, семейства, есть город, а вы взобрались на колокольню. Это не дело, это озорство. Спуститесь, войдите в церковь и помолитесь.

Некому? Душа ваша пуста? Вы все потеряли, „приобрёв только Достоевского"?

Но Достоевский учил о мире и учил любить мир. Вам нужно мир, людей полюбить. Вот в чем спасение.

Но вы его не хотите? В *этом* одном, именно в *этом*, вы не хотите следовать Достоевскому?»…

А о Ставрогине, Кириллове (из «Бесов» Достоевского) Анастасия Цветаева говорит уже на начальных страницах «Королевских размышлений».

Цитируемые же Розановым «зловещие» и «жуткие строки» из её книги относятся как раз к записям, сделанным в Петрограде… Это ещё один штрих к тому, что печатная рецензия – всё-таки личное послание автору «Королевских размышлений» и напоминание об их личной встрече…

Вторая поездка Анастасии Цветаевой в Петроград и встреча с Розановым состоялась в марте 1917 года. Об этом А. Цветаева также пишет в «Воспоминаниях» (483-485).

Третье и последнее из сохранившихся писем В.В. Розанова к Анастасии Цветаевой относится к лету 1917 года:

«Друг дорогой! Да – тяжело. Моего – ничего не печатают, а след. и денег „нема". Что делать – не понимаю. „Вы – не политик, а потому и пишете без души и понимания", говорят редакторы. Это – так, но ведь могу же я сильно ненавидеть? „Это – не к моменту", говорят. Конечно, „не к моменту". И я не знаю, что делать, в смысле „петь" и „платить за квартиру". Тебе советую жить при Марине или при Волошиных…».

<Оборотная сторона письма:>
«Когда по-видимому <…> *некому помогать и м.б. ничто не может помочь* <…>
Совершенно явно, однако, что начавшие революцию бессильны с нею справиться. Помнишь Фёдора Каторжника?
Прощай, милая и дорогая.
Часто думаю о тебе. Прочёл ½ „Дымков" сплошь.
В.».[15]

В одном из своих поздних писем (6 октября 1918 года) к своему биографу Э.Ф. Голлербаху В. Розанов писал: «…4 девушки, две курсистки, 1 учительница музыки и 1 „ни то, ни другое", но симпатичнее всех на свете курсисток, и даже ещё одна, уже пятая, и „почти одна", на Кавказе (никогда меня не видавшая) хотели „отдаться" мне, отдавались мне, на почве лишь безграничного моего к женщинам уважения, на почве, в сущности, той, что я сам на женщину смотрю, её почитаю и чту, как Аписиху. <…> Не чудо ли это, не сущее ли чудо? Чудо близости какой-то ноуменальной. И клянусь Вам, – о, слишком клянусь: из 4-х или даже пяти – не было ни единой сколько-нибудь развратной, сколько-нибудь распущенной, сколько-нибудь „позволяющей себе". Как одна и выразилась с чудной улыбкой (о брате): „О, – До-ма – ша: О! о! о: ни-ни-ни". Т.е. брат так думал. Между тем „все наши наслаждения" сводились к solo: „половые прикосновения". Ни – любви, ни – „объяснений". И вместе: и – любовь, и – нежность. В *основе*, на *дне*: безграничное моё уважение. К чему уважение? К женщине, к *Тебе* вот. Но – в *твоём женском существе*. И – к *душе* через это. Мне иногда кажется, что я достиг ноумена мира, что я „держу звезду", но как-то не умею сосредоточиться на этом и даже обратить внимания по литературному „некогда". Устал. Прощайте».[16]

Исследователям-розановедам все упоминаемые Розановым в этом письме «девушки» известны. Та, что «„ни то, ни другое", но симпатичнее всех на свете курсисток», – Анастасия Цветаева…

В заключение надо отметить, что влияние Розанова – писателя, Розанова – философа, столь явное в первых вещах Анастасии Цветаевой, «Королевских размышлениях» (1915) и «Дым, дым и дым» (1916), вновь стало заметно проявляться в её поздних произведениях, таких, например, как «Старческий дневник», «Что попало» (1992-1993).

Литература

[1] *Цветаева Марина.* Неизданное. Записные книжки. Т. 1. М., 2000. С. 34-35.
[2] *Цветаева Анастасия.* Воспоминания. Авторская редакция с восстановленными купюрами. В двух томах. Т. 2 (1911-1922 годы). М.: Бослен, 2008. Далее цитируемые страницы этого издания указываются прямо в тексте.
[3] *Цветаева Марина.* Собр. Соч. В 7 т. Т. 6. С. 119.
[4] Цит. по: *Розанов В.В.* Соч. В 2 томах. Т 2. Уединённое. М., 1990. С. 348.
[5] *Цветаева Анастасия.* Воспоминания. Авторская редакция с восстановленными купюрами. В двух томах. Т. 2 (1911-1922 годы). М.: Бослен, 2008. С. 271-272.
[6] *Закржевский А.К.* В.В. Розанов. «Уединённое» <Рец.> // Огни. Киев, 1912. № 29. 21 июля. С. 12-14. Цит. по: В.В. Розанов: Pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб., 1995. Кн. 2. 166-167.
[7] *Спасовский М.М.* В.В. Розанов в последние годы жизни. Среди неопубликованных писем и рукописей. Изд. 2-е. Нью-Йорк, 1968. С. 42-44.
[8] *Медведев А.А.* Цветаева Анастасия Ивановна // Розановская энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2008. Стлб. 1128-1134.
[9] Архив А.М. Горького. 54261. Птл. 14. 13. Л. 1, 2, 3; 1-е письмо – арх. л. 2. Дата на письме отсутствует.
[10] Архив А.М. Горького. 54261. Птл. 14. 13. Л. 1, 2, 3; 2-е письмо – арх. л. 3. Дата на письме отсутствует.
[11] *Цветаева Марина.* Собр. Соч. В 7 томах. Т. 6. С. 119-120.
[12] *Герцык Евгения.* Воспоминания. М., 1996. С. 111.
[13] *Цветаева Анастасия.* Воспоминания. Авторская редакция с восстановленными купюрами. В двух томах. М.: Бослен, 2008. Т. 2 (1911-1922 годы). С. 352-353.
[14] Газета «Новое время». СПб., 1916. №14385. 25 марта (7 апреля). С. 6.
[15] Архив А.М. Горького. 54261. Птл. 14. 13. Л. 1, 2, 3; 3-е письмо – арх. л. 1. Дата на письме отсутствует.
[16] Цит. по: *В.В. Розанов.* В нашей смуте. Статьи 1908 г. Письма к Э.Ф. Голлербаху. М.: Республика, 2004. С. 374-375.

Владимир Николаевич Дядичев (1936-2021) – литературовед, биограф, старший научный сотрудник отдела новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН. Написал и подготовил к изданию целый ряд книг и научных исследований по литературоведению. Основная деятельность была посвящена изучению жизни и творчеству, текстологии В.В. Маяковского, над изданием Собранием сочинений которого работал, за что был премирован. Его перу принадлежат «Личность и творчество Владимира Маяковского в оценке современников и исследователей» (Сост., вступ. статья, подг. текстов, коммент. В.Н. Дядичева. СПб.: 2006), «Жизнь Маяковского. Монография» (2013), «Владимир Маяковский. Облако в штанах. К 100-летию первого издания. Статьи, комментарии, критика», «Лиля Брик. Любимая женщина Владимира Маяковского» (2016). Большой вклад он внёс и в цветаеведение, написав полную биографию «Марина Цветаева: Моим стихам, написанным так рано…» (2017). и «М.И. Цветаева в жизни и творчестве» (2014). В соавторстве с историком В.В. Лобыцыным стал автором книги «Доброволец двух русских армий» (2005) о Сергее Эфроне, писателе-евразийце, муже М. Цветаевой. Писал и об их великих современниках, В. Хлебникове, А. Ахматовой, С. Есенине. В 2002-2011-х годах В.Н. Дядичев подготовил к изданию 11 томов Собрания сочинений В.В. Розанова, которое выходило под общей редакцией А.Н. Николюкина в издательстве «Республика».

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ

ТЮРЕМНАЯ И ЛАГЕРНАЯ ПОЭЗИЯ АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ 1937-1943 гг.: ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ «ЗОНЫ»

А.И. Цветаева (1894-1993) – уникальная фигура русского модернизма, сестра М.И. Цветаевой, общавшаяся с В. Розановым, Л. Шестовым, М. Горьким, Б. Пастернаком, автор знаменитых *Воспоминаний* – лирической эпопеи, в которых воссоздается эпоха начала XX в. Но поэзия Цветаевой до сих пор малоизвестна[1].

В 1922 г. Цветаева познакомилась с Б.М. Зубакиным (1894-1938), вошла в основанное им христианское братство нео-розенкрейцеров *Lux Astralis* (1912-1937)[2], став его секретарём. Цветаева называла Зубакина «многолетним другом», «духовным отцом», «самой крупной, величавой фигурой, ни с кем не сравнимой» в её жизни (цит. по: Васильев 2004: 174). Под его влиянием она возвращается к церковной жизни, становится «монахиней в миру»: не принимая пострига, подобно своему учителю, даёт тайные обеты целомудрия, нестяжания, невкушения мяса и отказа от лжи. В 1933 г. она была арестована в первый раз на два месяца, но освобождена благодаря хлопотам хорошо знавшего её А.М. Горького. Вторично Цветаева была арестована 2 сентября 1937 г. именно по делу розенкрейцеров – обвинялась в том, что «с 1923 года входила в руководящий состав антисоветской фашистской организации „Орден Розенкрейцеров“, являясь личным секретарём главы организации Зубакина Б.М.”. 10 января 1938 г. по статье 58 (пункты 10, 11 – «Контреволюционная пропаганда и деятельность») приговорена к 10 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях[3].

Стихи Цветаева стала писать в 1934 г., в сорок лет, но «потоком» стихи начались, когда она находилась в период следствия в «Бутырках» (сентябрь 1937 – январь 1938 гг.): «Поток стихов залил мои тюремные дни (стихи, рождённые в воздух, утверждённые памятью, ибо даже карандаш в советских тюрьмах был запрещён[4])» (Цветаева 1992: 180). Цветаева заучивала приходящие ей строки, находясь в переполненной женской камере:

> В тюрьме среди такого шума в камере […] – в камере на сорок мест нас было сто семьдесят, как сельди в бочке, – но такая тяга к стихам была больше, чем на воле, – за пять месяцев *столько* стихов, разный ритм – как всё это умещалось, дружно, в эту болванскую башку, непонятно! Всё повторяла, день за днём, отвернувшись к стене, – это счастье, что я у стены лежала! *Если* бы *между* женщинами – вряд ли бы я это смогла! (Цветаева 1991: 95).

Н.И. Гаген-Торн (1900-1986), также писавшая стихи в тюрьме и лагере, видела одну из причин обращения в заключении к поэзии как устной, дописьменной форме в том, что в ситуации, когда нет привычной для интеллигенции возможности читать и писать, «только стих утверждается в памяти без бумаги и книг»: «Я в лагерях практически поняла, почему дописьменная культура всегда слагалась в виде песен – иначе не запомнишь, не затвердишь» (Гаген-Торн 2009: 285). Такой тип поэтического творчества, без непосредственной записи на бумагу, К. Пьерали обозначает как «мысленное стихотворчество» (Pieralli 2013a: 404).

Стихи продолжились и в феврале 1938 г. во время этапирования на Бамлаг («Мы ехали в лагерь месяц, и все эти стихи тоже писались в воздух» (цит. по: Козлова 2010: 40)) и в самом лагере («Все семь лет в лагере я думала только стихами» (цит. по: Мамонтов 2010: 452)), до августа 1943 г., когда она узнала о гибели сестры: «Но с дня, когда я узнала о гибели Марины, стихи иссякли» (Цветаева 1992: 180). В 1980-е гг. Цветаева признавалась, что в тюрьме стихи «сами написались» и «сами кончились» (цит. по: Ларцева 2010: 304), вероятно, являясь своего рода защитной реакцией на тюремное заключение.

Таким образом, стихи Цветаевой возникли непосредственно в пространстве «зоны»[5] – в тюрьме во время следствия, при этапировании в лагерь и в самом лагере, и записаны на бумагу позже, в лагере[6] или уже на воле[7], поэтому зачастую они не имеют точной датировки. В теоретической работе, посвящённой поэзии «зоны», Пьерали отмечает принципиальную значимость синхронности *свидетельства* в подобных стихах, которые возникают «*внутри опыта заключения*» и в которых «*важен сам момент возникновения/создания этого письма*, вызванного к жизни заключением и протекающего в нём» (Пьерали 2019: 253, 255).

1. «ЗОНА» ТЮРЬМЫ

Первый цикл стихов (*Феб*), возникший в «Бутырках», посвящён солнечному богу искусства. В открывающем цикл стихотворении *Сюита оконная* (<1937>)[8] закрытость тюремного пространства подчёркнута замкнутой кольцевой композицией первой и последней строф, в которых проводится мысль об абсурд-

ности написания стихов в тюрьме, когда неизвестно, дойдут ли они вообще до своего читателя. Поэтому Цветаева акцентирует особый, тихий характер своей тюремной поэзии:

Как странно начинать писать стихи,
Которым, может, век не прозвучать…
Так будьте же, слова мои, т и х и,
На вас тюремная лежит печать.

Вторая строфа построена на контрасте закрытого пространства камеры и эстетизации недостижимого пространства прекрасной осени за окном:

Я мухою любуюсь на стекле.
Легчайших крыльев тонкая слюда
На нераспахнутом блестит окне
В окне стремясь, в окно летя, туда,
Где осени невиданной руно
С лазурью неба празднует союз,
В нераскрывающееся окно,
Куда я телом слабым горько рвусь.

Находясь в переполненной камере, Цветаева мечтает об одиночном заточении Франсуа Бонивара[9], которое ей недоступно:

Я рвусь ещё туда, где Бонивар
В темницу, коронованy тобой,
О одиночество! Бесценный дар!
Молю о нём, – отказано судьбой.

Этот опыт невыносимого отсутствия личного пространства в тюрьме, когда человеку невозможно уединиться, отсылает к первой в русской литературе книге о каторге – к *Запискам из Мёртвого дома* Достоевского (1862), в которых он отмечал в каторжной жизни *«вынужденное общее сожительство»* как сильнейшую муку, помимо лишения свободы и вынужденной работы (Достоевский 1972: 21-22).

В традиции Достоевского Цветаева воспринимает это мучительное отсутствие личной свободы как инфернальное:

Да, это Дантов ад. Тела, тела…
Поют и ссорятся, едят и пьют.
Какому испытанью предала
Меня судьба! […]

Этот образ дантовского «ада» «Бутырки» (телесно-бытовое, коллективное пространство) сопоставим с описанием каторжной бани в тех же *Записках их Мёртвого дома*, которое Тургенев назвал «дантовским»:

> места и под лавками были все заняты; там тоже копошился народ. На всем полу не было местечка в ладонь, где бы не сидели скрючившись арестанты, плескаясь из своих шаек. […] Обритые головы и распаренные докрасна тела арестантов казались ещё уродливее. На распаренной спине обыкновенно ярко выступают рубцы от полученных когда-то ударов плетей и палок, так что теперь все эти спины казались вновь израненными. Страшные рубцы! У меня мороз прошёл по коже, смотря на них. […] Мне пришло на ум, что если все мы вместе будем когда-нибудь в пекле, то оно очень будет похоже на это место (Достоевский 1972: 98-99).

В конце 4 строфы Цветаева переходит к эпическому восприятию политических репрессий 1930-х гг., которое усиливается эпическим метром (5-стопный ямб с вариациями)[10]:

[…] Какие наступили времена!
Рахили плач по всей родной земле,
Дорожный эпос, неизвестный путь,
Мороз и голод, вши и на коне
Чума иль тиф догонят где-нибудь…

– О Боже! Помоги принять не так
Свою судьбу. Не как змея из-под копыта!
Ведь это Книга Царств торжественно раскрыта,
А к солнцу нет пути, как через мрак! (Цветаева 1995: 25)

Эпичность задаётся историческим масштабом событий, большим пространством длительной и опасной для жизни дороги на Дальний Восток (Цветаева ждёт этапирования в лагерь). Сталинские репрессии воспринимаются в библейском контексте – безутешного плача праматери Рахили «о сынах своих», уведённых в вавилонский плен, и об убитых младенцах в Вифлееме (Сталин скрыто соотносится с Навуходоносором и царем Иродом)[11]. Отсылая к Четвёртой Книге Царств, Цветаева проводит историческую аналогию периода репрессий (ГУЛАГ) с вавилонским (оно длилось 70 лет – Иер. 25, 11; 29, 10) и ассирийским пленением Израиля[12]. В контексте библейского хронотопа «сталинский плен» воспринимается Цветаевой, которая верит в исход из «мрака», как необходимое испытание, без которого нет пути к «солнцу».

Сам факт поэтического творчества в тюрьме (уединённая, «тихая» поэзия как пространство внутренней свободы)[13] становится способом внутреннего преодоления репрессивной системы. В состоянии вдохновения поэт способен по-тютчевски пережить в себе бесконечность макрокосма:

Глаза смежив, чтоб не ожёг их свет,
Крылом туда, где Феба вьются тучи, –
…Такой горы на этом свете нет,
Что не ушла бы вся, с вершиною, в Великий
И тихий космоса зелёный океан (Цветаева 1995: 29).

В самом факте поэтического творчества в заключении Цветаева акцентировала именно момент внутреннего освобождения: «Несравненное счастье – улететь через ритм из комнаты, как птица из клетки дня» (цит. по: Мамонтов 2010: 452). С этой точки зрения в романе *Amor* есть важный эпизод, в котором Цветаева описывает процесс возникновения стихов в лагере. Стихи на английском языке приходят во время тяжёлой работы в прачечной (куда Цветаева была направлена после отказа сожительствовать с начальником), своим ритмом освобождая её от тяжёлых лагерных условий:

> К вечеру пять четверостиший – и счастье… У д и в и т е л ь н о! *Нацело* от белья, пара, вшей отдирает её ритм стиха! Руки трут, а душа подымается над корытом […]. Правда рождения из себя этих строк – дело не мгновенного постижения, строки не летят к ней как птицы, а кружатся, реют, бьются как в облаках – зарницы, но сердце ими согревается точно в луче солнца – и так вдруг легко жить на свете… (Цветаева 1991: 366-367).

Об этой «спасительной» в заключении функции поэзии, её ритмической гармонизации, присущей всему бытию, говорит и Гаген-Торн:

> стих в тюрьме – необходимость: он гармонизирует сознание во времени. Человек выныривает из тюрьмы, овладевая временем, как пространством. Те, кто разроет своё сознание до ритма, – не сойдут с ума… Снежинки в луче тоже танцуют ритмически… Белые на чёрном небе… Овладение ритмом – освобождение. Они [надзиратели и следователи. –*А.М.*] ничего не смогут сделать… (Гаген-Торн 2009: 230).

Об этом же опыте писал и В. Шаламов: «Колыма научила меня понимать, что такое стихи для человека» (Шаламов 2013, V: 263); «Мои стихи – пример душевного сопротивления, которое оказано растлевающей силе лагерей» (Шаламов 1998: 321).

В своей поэзии Цветаева в духе модернистской интермедиальности[14] обращается и к другим видам искусства (музыка, живопись, скульптура[15], архитектура…). Воспринимая тюремную реальность сквозь призму искусства, Цветаева преодолевает её безысходность. Этот мотив возникает в *Сюите тюремной* (<1938>), где всматривание героиней в тюремную стену вызывает в её воображении живописные образы[16]:

А в живописи – высоты
Такой лишь достигает – Детство, –
Воздушны замки видишь ты?
– Сырой стены наследство! (Цветаева 1995: 27).

Цветаева создаёт поэтические «натюрморты». В стихотворении *Ещё натюр-морт* во время гуляния во внутреннем дворе тюрьмы она видит «узор ветвей» на стекле окна, которое покрыто инеем и «напоено янтарною зарёю»:

Вот в этот самый миг немого восхищенья
Небес художник воскрешает натюр-морт.
То птичий щебет в райском опереньи
Отчаливает в поднебесный порт (там же: 55).

Это созерцание красоты снова даёт ощущение, что «счастью нет границ», и возможность уйти от тюремной реальности в воображаемый мир идеала.

Метафизика искусства помогает героине преодолеть «физику» тюрьмы. Цветаева преображает тюремный быт живописью Чюрлёниса и Ропса, музыкой Скрябина и поэзией Гомера, Феогнида, Бодлера и Чурилина (*Сюита призрачная*):

Довоплощённое до своего предела
Граничит с призрачным, как Дантов ад.
Над небывалым зрелищем осиротелых
Жён, матерей – ночи тюремный чад.
(Являет чудо мне Чурлениса палитры,
Храп хором Скрябинский зовёт оркестр,
Борьба за место – барельефы древней битвы
Во мраморе прославленный маэстр.
А бреды здесь и там – таят строку Гомера,
И Феогнида пафосом цветут!
И изгибы тела – Ропс! И имена Бодлера
И Тихона Чурилина встают. (там же: 28)

В *Натюр-морте* дающее силы жить великолепье осенних красок воспринимается экфрастически – через палитру Ван Гога и Тициана: *«Струями мёда, меди, янтаря, / И замшею теней. […] зорями медвяными горя»* (там же: 54).

В *Сюите ночной* спящие узницы (еврейка, латышки, польки, китаянка) вызывают в памяти те или иные произведения искусства (Нотр-Дам, Гоголь, живопись…):

[…] Не спит, как и всегда, в своей тоске библейской
Больная Хана Хейм, химера с Нотр-Дам.

Латышки спят угрюмыми горами,
Пригревши берег Греции у ног…
Панн гоголевских веют сны над нами, –
С китайской ножки соскользнул чулок…
То кисть художника […]. (там же: 29)

Утреннее пробуждение спящих тел в мёртвом пространстве камеры («кладбище») сравнивается с оживляющим мрамор мастерством Микеланджело:

[…] Из мёртвых к жизни вечной воскресенье,
О руки над кладбищенским холмом.
О трепет век и дрожь ресниц! Туманы
Над прахом тел развеялись. Земле конец.
Преображенье плоти. Крови колыханье –
То тронул холод мрамора своим
Ты, Микель-Анджело божественный резец. (там же: 30)

В тюрьме Цветаева испытывала голод, так как тюремная пища была очень скудная[17], продуктов извне она не получала, о чём упоминается в стихотворении *Натюрморт* («Без передач!»). Как отмечает исследователь Холокоста Майкл Беренбаум (Michael Berenbaum), голод в лагерной системе выполнял главную для этой системы репрессивную функцию: «Голод помогает держать узников в состоянии отупения и страха. Лишает их силы и достоинства. Голод калечит и разрушает тело. Он отнимает волю к жизни

и способность к действию» (Воображаемые пиры 2014: 13:06). По мнению Беренбаума, в этом сознательном создании условия голода лагерная система принципиально отличалась даже от рабовладельческой, которая заботилась о том, чтобы у рабов была энергия для работы: «Трудовые лагеря были организованы по другому принципу. Они в избытке снабжались одноразовой рабочей силой – рабами, которых использовали и выкидывали. На еде для них можно было экономить. Голод не давал им сопротивляться, а выполненная ими работа служила бонусом, потом их убивали» (там же: 13:30).

Преодолеть мучительное чувство голода Цветаевой помогали поэзия и живопись. В том же стихотворении *Натюрморт* воображение («видений сладкий рой») уносит её в вымышленную страну немецких сказок Шлараффенланд (нем. Schlaraffenland – букв. «страна ленивых обезьян»), полную обильной еды:

О, молока и мёда полны реки,
И марципановых домов уют!
Надменно закрываю жарки веки.
Но с водопадным шумом уж текут
О, жёлтых яблок маслянисты груды,
Бумажек ледяных вкруг масла холодок!
Чеснок, Бутырской лавочки причуды –
В сребристой шелухе здоровию оброк
Таит зловонный жар. Мечты утробы
Змеины кольца пурпурных колбас,
А сахару декабрьские сугробы,
Хрустальный, бархатный, сияющий Кавказ,
Что колдовством сошёл на наши нары,
Аршины огурцов, сажень солёных рыб,
Оливково-серебряны их чары,
И тёмно-золотист загар сухарных глыб. (Цветаева 1995: 31)

Это эстетическое любование едой в высоком стиле (что создается усечёнными и сложными эпитетами) отсылает к эстетизации застолья в стихотворении Г.Р. Державина *Евгению. Жизнь Званская* (1807) – одному из первых таких опытов в русской литературе:

Я озреваю стол – и вижу разных блюд
Цветник, поставленный узором.

Багряна ветчина, зелёны щи с желтком,
Румяно-жёлт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером
Там щука пёстрая: прекрасны! (Державин 1957: 329)

При этом у Державина, как и у Цветаевой, красота застолья включается в созданную Творцом красоту бытия во всей его целокупности («лежит вся мира красота» (там же: 330)).

В своих воспоминаниях Гаген-Торн описывает подобный внутренне освобождающий её механизм переключения в мир воображаемого («отключатель от лагеря»), когда она отождествляла себя с исторической фигурой М. В. Ломоносова («мощный и сильный человек, имеющий основание на бунт, на спор с историей») и писала стихи в его духе. Так, наблюдая в столовой за скудным лагерным завтраком («В холодном воздухе запах хлеба и прелых щей»), она воображает пир графа Шувалова, на который приходит Ломоносов:

Но этот пир среди пиров
Всех веселее и нарядней:
Хрусталь украшенных столов
И горы фруктов и цветов,
Литавры музыки парадной –
[…] И море сладостных свечей
Зеркал дорога отражает.

Я вижу прежде всего эту сияющую дорогу свечей. Она преображает холодную сырую полутьму столовой. […] Они меня превратили в старосту барака? Я себя превратила в Ломоносова и ушла из лагеря. Я – неуязвима. (Гаген-Торн 2009: 287-288)

Тюремный опыт Цветаевой по преодолению голода поэтическим воображением близок опыту заключённых в концлагерях Германии, СССР и Японии, где голодные узники, собираясь вместе, вспоминали и записывали кулинарные рецепты из своей мирной жизни. Помимо социальной функции (товарищество и общение благодаря объединяющей всех теме еды) в условиях тотального расчеловечивания, записывание рецептов включало работу фантазии, которая помогала отвлечься от постоянного чувства голода. Об этой особенности человеческого сознания в ситуации лагеря говорит нейробиолог Антонио Дамазио (Antonio Damasio):

> Воображение – мысленно наслаждаться тем, чего у вас в реальности нет, но вы хотели бы получить, – это своего рода самообман. Можно сказать, что самообман – всего лишь игра ума. Да, игра ума, но здесь действует более сложный механизм. Если человек испытывает, например, удовольствие, слушая музыку, значит, определённые зоны его мозга вырабатывают позитивные нейромедиаторы, так называемые гормоны счастья. Когда заключённые вспоминали, придумали и обсуждали кулинарные рецепты, в организме начиналась компенсаторная реакция, и в итоге они чувствовали себя лучше. (Воображаемые пиры 2014: 45:27)[18]

Французский филолог Жером Тэло (Jérôme Thélot), комментируя тот же феномен кулинарных записей в лагере, выявляет их поэтическую функцию (отсылая к словам А. Рембо), что очень близко цветаевскому опыту:

> сопротивление духа, и что поразительно, люди оказывали это сопротивление, собираясь вместе и получая удовольствие. Рембо начинает свою книгу *Одно лето в аду* с самых прекрасных строчек во всей французской литературе. Он пишет: «Когда-то, насколько я помню, моя жизнь была пиршеством, где все сердца раскрывались и струились всевозможные вина». Это значит, когда ты счастлив, жизнь представляется пиром. Еда и жизнь, в каком-то смысле, – синонимы. (там же: 48:38)

Этому воображаемому поэтическому пиршеству Цветаева противопоставляет делёжку голодными узницами реальных продуктовых передач, в которых она не участвует, воспринимая эту делёжку в инфернальном дантовском ключе:

О, к а к едят! Селёдку рвут руками
Фольгу об пол (То зреет Дантов ад), –
Пьянеют от колбас. Под ада пламя
Снега Кавказа тают в шоколад… (Цветаева 1995: 32)

Тема пира появляется в *Сюите тюремной*, где мы видим кулинарную эстетизацию природы и человеческого общения:

Но есть свой пир и у чумы, –
Во двор, шеренгой пред обедом,
Пить пенящийся пунш зимы,
Закусывать – беседой. (там же: 27)

Тема «чумы и пира» продолжается в одноименном стихотворении, где поэтический «пир» воспринимается как ответ на «чуму» заключения:

[…] С улыбкой протянуть чуме свой пир.
Чума! Неизменяющее счастье!
О лучший гость земель, времён и лир! (там же: 46)

Здесь звучит пушкинский подтекст – монолог Вальсингама из *Пира во время чумы* (1830), в котором он призывает ответить на неизбежный приход грозной Чумы-Смерти – Пиром:

Как от проказницы Зимы,
Запрёмся также от Чумы,
Зажжём огни, нальём бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы. (Пушкин 2009: 171)

В этом протесте против неизбежно приближающейся к человеку Смерти Пушкин видел метафизическую основу личности – её свободу и бессмертие:

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог. (там же: 171)

Цветаева находилась в «Бутырке» под следствием. На допросах следователь обвинял её в «шпионаже», в частности, инкриминируя ей поездку в 1927 г. к М. Горькому в Сорренто и к сестре в Париж. В стихотворении *Алиби – следователю* эти абсурдные обвинения (целью которых было создание идеологического образа классового «врага народа») Цветаева разрушает своим «алиби» – внутренним пространством личности, гуманистическими ценностями, ценностями нормальной человеческой жизни (творчество, любимые писатели, тарусские пейзажи):

Что в жизни я любил? Настольной лампы свет,
Уют и празднество распахнутой тетради.
Раскрытый том. Карлайль. Теперь таких уж нет
Писателей. О ночь! Тебя, бессонной, ради.
Стакан нектара, чай. Как сказ Шахерезады
Промчалась жизнь каскадом быстрых лет.

Ещё любил я бубенцовый бег саней.
И уходящие за горизонт дороги,
Луга вдоль русских рек. И череду огней
Вдоль виадуков. Шум дубрав – о боги!
Боюсь, перечислять я буду много дней…
Не слушай и суди меня в твоём чертоге. (Цветаева 1995: 45)

В 1987 г., вспоминая о допросах, Цветаева отмечала, что главное при этом было – «не терять своей индивидуальности, на ней настаивать»: «Они [следователи. – А.М.] так к этому не привыкли! У людей, видимо, нет этого метода. Когда они попадают уже в это место, они сразу все сжимаются. А я, наоборот, вот так вот… И они почувствовали, что я их нисколько не боюсь» (цит. по: Кузнецова 2010: 53). Во время допросов Цветаева отказалась от доносительства, апеллируя по сути к кантовскому моральному императиву (уважительный отказ от доносительства, исходя из того, что оно не достойно как следователя, так и самой Цветаевой), и стремилась увидеть в следователе человека, а не только профессиональную функцию, вероятно, поэтому её не избивали на допросах.

В «Бутырке» Цветаева встречается с «польскими женщинами» (Цветаева 2008, II: 7) – с Марианной Ямпольской[19] и Раисой Мамаевой[20], что становится поводом написания стихотворения, посвящённого польской бабушке Цветаевой – *Моей бабушке по матери-польке, Марии Бернацкой (которую не видела, которая была красавицей и умерла 27 лет)*:

Птицы ли тебе нащебетали
Польских прадедов моих язык?
Или шёлковым огнём в тебе смешались
Шелест плещущих знамён и стали
Свищущий сереброкрылый крик? (Цветаева 1995: 48)

В этих строках «свищущая» польская речь с её имитацией птичьих звуков выражает семантику метафизической свободы и политической борьбы поляков за свободу и независимость («знамён и стали»)[21]. Об участии в Польском восстании 1863-1864 гг. трёх сестёр Бернацких пишет М. Цветаева в письме к В. Буниной от 28 августа 1933 г.: «[…] моя бабушка *12 лет* вместе с сестрами 14-ти и 16-ти во время польского восстания в Варшаве прятала повстанческое оружие (прадед был на русской службе и обожал Николая I)» (Цветаева 1995, VII: 253-254). Именно это польское свободолюбие М. Цветаева осознает в себе как унаследованную от бабушки польскую черту уже в стихотворении 1914 г. *Бабушке* («Этот жестокий мятеж / В сердце моём – не от Вас ли?..») (Цветаева 1994, I: 215) и в записной книжке 1933 г.: «От М.Л. Бернацкой польский нос и мятеж» (Цветаева 2000, 2001: 419).

Осознание своей польской идентичности, польского характера (гордость, достоинство) помогает А. Цветаевой остаться внутренне свободной, не смириться с тюрьмой и лагерем:

И теперь, когда уж зрелость хочет
В старость перейти в стенах тюрьмы –
То твоя во мне гордыня сердце точит,
Головы твоей посадка мне пророчит
Плен, – ибо вот так родились мы,
Шею не сгибая… Изменить? Смириться?
Отвечать врагу через плечо! (Цветаева 1995: 48)

Сёстры Цветаевы не знали лично свою польскую бабушку, так как она рано умерла (1842-1868). Это способствовало тому, что в их романтическом сознании её образ мифологизировался и стал основанием их польской идентичности, для которой характерны такие устойчивые черты, как аристократизм, свободолюбие, непокорность, надменность (гордость), свободолюбие, достоинство, метафизическое и социальное неприятие любой репрессивной системы[22]. Этот неоромантический миф о польской панне проявляется и в другом тюремном стихотворении Цветаевой *Раисе Мамаевой. Портрет*, где она называет её своей **«**сестрой**»**, чувствуя в ней общие польские корни (*там же*: 50-51).

Стихотворение завершается образом «тёмного поезда» (отправка по этапу в дальневосточный лагерь), где Цветаева слышит польский язык, который хочет выучить и в котором для неё звучит духовная несломленность. И здесь вновь возникает звукоподражательная метафоризация **«**птичьей**»** польской речи, в которой птица выступает ключевым символом верхнего мира, пространства свободы и бессмертия:

И почту я долгом, честью и утехой
Вашей «муви» изучая лес –
Наконец с тобой соединиться,
Милых предков-прадедов язык!
Слух мой звукам радостно дивится –
В щебетанье птиц – победный клик! (там же: 49)

2. «ЗОНА» ЭТАПИРОВАНИЯ

Стихи приходят к Цветаевой и во время этапирования на поезде через всю страну в лагерь на Дальний Восток. Условия были очень тяжёлые: в холодном вагоне перевозили 94 человека, а в купе, рассчитанном на четырёх человек, находилось семеро (Леонтьев 2010: 60). В стихотворении *Есть такие города на этом свете* (цикл *Пёс под луной*) Цветаева уходит в пространство памяти (вспоминая города, важные в её прошлой жизни, – Феодосию, Архангельск, Париж, Лондон, Таруса, Коктебель, а также Владивосток и Иркутск, где жили её друзья юности). Любовь к другу, жившему в Иркутске, даёт способность увидеть сквозь решётку сибирский ландшафт прекрасным и свободным пространством, библейским раем, образ которого создаётся мотивами чистоты, прозрачности, света, огня:

То Иркутск, тут Коля жил Миронов –
Юности моей девятый вал!
Как горит хрусталь крутых еловых склонов,
Раем распростёрся твой Байкал!

[…] А пока пишу – вино зари нектаром
Высь поит… Уж огонёк исчез.
Солнце выплывает лёгким жарким шаром
В сталактитовы моря небес! (Цветаева 1995: 79)

Дискурс мифа и исторической памяти возникает в стихотворении *Буран*, в котором пешее этапирование в лагерь под Хабаровском по глубокому снегу и во время метели воспринимается героиней в «большом времени» истории и мифа:

В снеговых заносах, в каторжном буране
Спотыкается этап. Пощады нет:
Падаю, но не сдаюсь Фатаморгане:
Быль была, но ей уж сотня лет –
То они в бреду бредут меж нами,
Или это мы парим меж них,

Франции, что звались некогда сынами,
И Императора, что ненавидел Меттерних, –
По снегу, в лаптях и в летних макинтошах, –
На дуге надежды зги уж не видать,

Но незримых шапок гренадерских ношей
(Радугой) восходит благодать.
То истории буран летит над нами,
Агасферову мы обгоняем тень,
То Летучего Голландца призрачное знамя, –
Жизни жабры дышут только с н а м и,
Я в о с н е этапный вижу день! (там же: 81)

Здесь каторжный путь вписывается в историко-культурный, эпический хронотоп («истории буран»), включающий образы французских военнопленных в России 1812 г., а также обречённых на вечное скитальчество Агасфера[23] и Летучего Голландца[24]. Это «сновидческое» восприятие каторжного пути в пространстве культуры помогает героине выжить в физически невыносимых условиях.

3. «ЗОНА» ЛАГЕРЯ

Стихотворение *Гитара* (цикл *Пёс под луной*) (вероятно, это самое первое стихотворение, написанное в лагере) исполнено экзистенциального отчаяния, одиночества и тоски:

Звон гитары за стеной фанерной,
Рая весть в трёхмерности аду.
Это всё, что от четырёхмерной
Мне ещё звучит. В немом ладу
Со струями струй, луна литая
Лейкой льёт ледяные лучи
На картину, что я с детства знаю:
«Меньшиков в Берёзове». Молчи, –
Слушай эту песню за стеною,
Дрожью пальца на одной струне,
Так поют, что я сейчас завою
На луну, как пёс. И что луне
Нестерпимо плыть над лагерями.
Вшами отливает пепел туч
Оттого, что поскользнувшись, в яме
Ледяной лежу […] (там же: 82)

Здесь усиливаются инфернальные мотивы льда, отсылающие к Данте[25]. Однако этому инфернальному пространство лагеря («трёхмерность ада»), который конституируется образами «фанерной» стены, «ледяных лучей», вшей, «ледяной ямы», противостоит «четырёхмерный» мир музыки («рая весть») и живописи. Цветаева вводит экфрастическое описание известной картины В.И. Сурикова *Меншиков в Берёзове* (Суриков 1883), соотнося собственные ощущения в лагере с состоянием Меншикова[26] и его дочери[27] в сибирской ссылке:

Оттого, что поскользнувшись, в яме
Ледяной лежу, и что могуч
На картине Меньшиков надменный,
Дочь кувшинкою цветёт в реке
Кротости, и взор её вселенную
Держит, словно яблоко, в руке! (Цветаева 1995: 82)

Суриков изображает резкий перелом в жизни ссыльных Меншиковых, внезапно потерявших власть и богатство и оказавшихся в низкой и тесной крестьянской избе (сквозь лопнувшее обледеневшее окно проникает тусклый свет). Бывший властелин России погружён в свои думы, но не сломлен, о чём говорит сохранившая величие его фигура и сжатая в кулак кисть с золотым перстнем. К отцу прижалась, зябко кутаясь в тёмную шубку, старшая дочь Мария, бывшая невеста Петра II. Она получила хорошее образование, знала несколько языков, великолепно пела и танцевала. И после роскоши и блеска Петербурга царская

невеста оказалась в сибирской глуши. Её бледное болезненное лицо, неподвижный взгляд, выражают самоуглубление, уход от реальности. Именно в этом невидящем взоре для Цветаевой заключается восходящий к романтизму идеал личности в условиях предельной несвободы – духовная чистота, внутренняя свобода и способность переживать в себе вселенную (макрокосм). Обращение к историческим фигурам Меншикова и его дочери близко к тому механизму идентификации с независимой исторической личностью («отключатель от лагеря»), который, по Гаген-Торн, внутренне освобождал человека от лагерных условий.

Однообразие и безвыходность лагерного существования, предельная несвобода лагерной жизни, выраженные кольцевой композицией, преодолеваются искусством (музыка и живопись), духовно спасая человека от тоски, сохраняя его душу в гармонии с «тихой вечностью»:

Звон гитары за стеной фанерной,
Рая весть в трёхмерности аду.
Это всё, что от четырёхмерной –
С тихой вечностью в ладу (там же: 82)

Следующее стихотворение этого цикла меняет интонацию с трагической на юмористическую. Зная, что её ожидает 10-летняя тяжёлая жизнь в лагере, Цветаева шутит над своим будущим освобождением, когда она станет старухой:

О нет, я не могу погибнуть в БАМе,
Ведь это просто было бы смешно!
Друзья мои, друзья, что я увижусь с вами,
В том для меня сомнений нет! Но вот одно

Мои тревожит светлые мечтанья –
Старухою, горбатою с клюкой
Я вам предстану… Знайте то заранее,
Чтоб дверь галантно мне открыть – такой! (там же: 83)

Лихачёв также считал юмор способом сопротивления несвободе, который обнажает абсурдность, противоестественность, «маскарадность», «фантастичность и сноподобность» всей лагерной жизни: «Анекдоты, 'хохмы', остроты, шутливые обращения друг к другу, шутливые прозвища и арго, как проявление той же шутливости, сглаживали ужас пребывания на Соловках. Юмор, ирония говорили нам: все это не настоящее. Настоящая жизнь ждет вас по возвращении…» (Лихачев 1995: 171).

В лагерном стихотворении *Доминант-аккорд*[28] *(Летняя ночь)* (цикл *Пёс под луной*) возникает трагический диссонанс между созерцанием первозданной красоты сибирской природы и невыносимостью лагерной жизни:

Тишина над тайгою вся в звёздах – о Боже!
Да ведь это же – летняя ночь!
А я в лагере! Что же мне делать, что же?
Жить этой ночью – невмочь.

В следующей, финальной строфе лагерная жизнь («оковы»), разрушая естественный ход человеческой жизни, приближает старость:

Соловей – это юность. Кукушкины зовы –
Это детство. Земной зенит!
На седеющих крыльях моих – оковы,
А старость – как коршун кружит!.. (Цветаева 1995: 84)

В стихотворении *Другу* (<1940>), посвящённом памяти друга-розенкрейцера Л.Ф. Шевелёва[29], смерть предстает желаемым метафизическим исходом из невыносимой лагерной жизни (её выражают хронотопические образы «грязного и пустынного» двора, «тьмы», «жизненной тины», «конвоя»), освобождением души от телесных уз:

Над двором, и грязным, и пустынным,
В небе первая горит звезда.
Задыхаясь жизненною тиной
Вверх гляжу. Когда же, о когда

Крылья распахнувши за спиною
И скорбя о тех, кто ещё тут,
Без помехи тела, без конвою
Пронесусь я вечером вот тут,
Над двором и грязным и пустынным,
Над тобой, ушедшая земля,
До скончанья лет сей мир покинув,
И тревожным жалобам внемля… –
Знаю, знаю – это за собою
Ты меня зовёшь, ушедший друг, –
Связаны единою судьбою,
Введены в единый света круг…

Горизонтали лагерного хронотопа, выражающего несвободу и насилие, противопоставлена метафизическая вертикаль библейского ландшафта:

Вечером, как облако над скинией,
Ты таинственно мерцаешь мне,
Благодатная звезда пустыни,
Указующая путь во тьме! (там же: 87)

Ключевым здесь является образ «первой», «благодатной звезды», отсылающей к Рождественской звезде, указавшей волхвам и пастухам путь в Вифлеем для поклонения Богомладенцу (Мф. 2, 9-11)[30]. Первой звездой традиционно считается Венера, что нашло отражение в *Божественной Комедии*, которую Цветаева читала в вышеназванном издании с иллюстрациями Г. Доре: «Прекрасной, лучезарною Венерой / Был освещён алеющий восток // И светоч Рыб, её сопровождавший, / В сиянии поспорить бы не мог / С Венерою, улыбкою сиявшей» (Чист. I, 23-27) (Данте 1876: 2; илл. 1); «Так именем Венеры стали звать / Звезду, что перед солнечным закатом / Иль пред восходом любит посылать // Земле свой свет» (Рай, VIII, 13-16) (Данте 1879: 59). В примечании к последнему стиху Д. Минаев отмечает, что Венера первой из звёзд появляется вечером после захода солнца, а утром перед его восходом исчезает последней, что дало повод назвать её Вечерней (греч. ἕσπερος, лат. vesper – вечерняя звезда) и Утренней звездой[31] (греч. φωσφόρος, лат. lucifer – светоносный, лучезарный, сияющий):

> По своему блеску планета Венера занимает первое место не только между планетами, но даже и между неподвижными звездами. Когда она бывает на восточной стороне солнца, то её можно увидеть тотчас после солнечного заката, и тогда она называется «Вечернею звездою» (Vesper); когда же она переходит на запад солнца, то её можно видеть незадолго до солнечного восхода, и тогда она называется «Утреннюю звездою» (Lucifer). Она никогда не удаляется от солнца, но всегда предшествует или следует за ним, почему и называется «пастушескою звездою». (*там же*)

Этот дантовский образ звезды Цветаева пережила уже в детстве, связывая его с дантовским *Раем*, запомнившимся ей больше *Ада* и *Чистилища*:

> первая вечерняя, последняя утренняя звезды, – и свет, свет, всё ярче, чем выше, лившийся сверху, перья облаков, переходившие в перья ангельских крыл, их несметное, восхищавшее тишиной множество, – и всё это, как бы струившееся ещё выше, ещё – в немыслимость ликования и сияния, – наполнило сердце такой радостью, что она тлеет в нём до сих пор, под всем пеплом сгоревших лесов и лавинами рухнувших гор жизни, и звучит в нём – тишиной. (Цветаева 2008, I: 66-67)

Важным типологическим контекстом для понимания символики звезды у Цветаевой являются и размышления о. П. Флоренского 1913 г. о метафизической диалектике, мистике Венеры[32].

«Облако над скинией» – образ присутствия Божия, Славы Божией (евр. shekhina), покрывавшей Скинию. Во время сорокалетнего странствования народа Израильского по пустыне Господь в образе облака вёл его в землю Обетованную[33]. Эти христианские символы «первой» звезды и «облака над скинией», указующие «путь во тьме», в контексте мистического диалога с душой друга-розенкрейцера получают эзотерические обертоны. Они выражают веру Цветаевой в бессмертие души ушедшего друга и её духовную устремлённость последовать за ним, поскольку смерть воспринимается ею как естественный исход в духе

розенкрейцерства, в основе которого лежит «вера в бессмертие и космическое значение человеческого духа или психического начала», вера в то, что душа бессмертна не только мистически, но и физически, ибо её сущность – свет. (Немировский 1994: 4)

Эти же библейско-эзотерические мотивы продолжены в стихотворении *Что терпит он, народ многострадальный* (цикл *Мыльные пузыри*):

Что терпит он, народ многострадальный,
За годом год, за веком век!
А Сириус и Марс, как над ребёнка спальней,
Горят везде, где дышит человек.

Моя Медведица! Как часто эти руки
К тебе тяну я в черноте ночи, –
И рифмы мне не надо, кроме Муки,
Которой бьют кастальские ключи.

Сталинские репрессии Цветаева воспринимает в эпическом масштабе, который задаётся ритмически (5-стопный ямб), историческим видением страданий русского народа и космическим, астрологическим измерением (розенкрейцеровская символика)[34]. Сириус и Марс в кольцевых строфах символизируют мудрость и беззаконие человека в истории[35]. Созвездие Большой Медведицы и поэзия (кастальские ключи) выступают символом спасения[36].

В третьей строфе усиливаются образы разлук и страданий:

По Дантовским ущельям расставанья,
Вокруг Луны – огромный света круг
Всё ширится. И тихо в Божьи длани
Восходит дым немыслимых разлук.

Дантовские ущелья как пространственный образ перехода, разлуки отсылает к иллюстрациям Г. Доре, переживание которых Цветаева экфрастически описывает в *Воспоминаниях*: «Высокие остроконечные горы, сумрачные ущелья покидаемой жизни, из которых уходил Данте, его строгий скорбный профиль орла, струи одежды» (Цветаева 2008, I: 66-67). Вероятно, здесь имеется в виду иллюстрация, изображающая покидающих земное пространство Данте и Вергилия (Ад, I, 181-183) (Данте 1874: 8; илл. 5).

Затем возникает мысль о диалектике зла и добра, гибели и спасения:

Всё выше мук и их теней ступени,
Но синева торжественна ночи.
Черны, страшны ночных деревьев тени,
Но звёзден неба сев! Крепись, молчи!

Суть этой диалектики выражают крылатые строки Ап. Майкова: «Чем ночь темней, тем ярче звёзды, / Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…» (Майков 1977: 224).

Тяжёлая лагерная работа по заготовке леса становится метафорой массовых репрессий («лесоповал истории»), которые воспринимаются эпически – его «поглотит» река Забвения («Лета»), а душа, пройдя сквозь очищающие её мучения, вернётся в небесный мир духа, что выражает вновь появляющийся трансцендентный образ утренней звезды:

И разве я одна! Не сотни ль рук воздеты
Деревьями заломленных ветвей,
Лесоповал истории. Но Лета
Поглотит и его, – о, выше вей

Моих мучений ветер благодатный,
Сквозь ночи тьму к заре пробейся ввысь,
Звезда предутренняя в лиловатой
Бездонности – меня зовёт – Вернись! (Цветаева 1995: 132)

Мистическое пространство возникает и в лагерном стихотворении-молитве *Благовещение* (цикл *Мыльные пузыри*) (<1938>), сложенном в Праздник Благовещения (7 апреля)[37] в традициях народного духовного стиха, но записанном по памяти много лет спустя (в 96 лет):

Этот день даже в лагере, даже в аду
Ото всех он от дней – отмеченный.
Потихоньку земной поклон кладу
В Благовещенье.
В Благовещенье птица гнезда не вьёт[38],
И косы не плетёт девица,
Православный же, некогда славный народ
Забывает тебе молиться,
Божья Матерь! Взгляни на наш смрадный ад,
На измученных, искалеченных!..
Скоро вечер. Под тучами светел закат
В Благовещенье. (там же: 134)

В лагерном пространстве проступает мистический хронотоп популярного в Древней Руси византийского апокрифа *Хождение Богородицы по мукам* (XII-XIII вв.). Инфернальное пространство лагеря («смрадный ад»), в котором страдают «измученные, искалеченные» люди, становится местом кенотического схождения Божией Матери: увидев мучающихся в аду, милосердная Заступница не может перенести их мучений и молит Бога о помиловании грешников. В апокрифе ключевой является оппозиция тьмы (в которой скрыты «великие мучения» грешников[39]) и божественного света: благодаря схождению Богородицы в «глубокую тьму» «спокон века» не видевшие света грешники увидели «Пресвятую в окружении ангелов» («сияние света вечного») (Хождение 1999: 315); «сидящие во тьме» увидели сходящего Христа, Который «светлее, чем семь солнц» (там же: 309, 321). В стихотворении этот божественный свет во тьме ада выражен образом «светлого заката», являющегося мистическим знаком ответа Божией Матери на молитву о помощи.

Эти мотивы молитвы и освобождения души через физическую смерть достигают своей кульминации в финальном стихотворении цикла *Мыльные пузыри*, которое завершает собой все лагерные стихи, – *Разрешающий аккорд (утешение)* (1943, сталинский лагерь на Дальнем Востоке):

Чего страшусь? И глад и хлад минуют,
Недуг, сжигая тело, поит дух,
И зов о помощи не пребывает втуне
Доколь смиренья факел не потух.

«Каторжная» ситуация, телесные страдания (голод, холод, болезни) только усиливают человеческий дух, о чём Цветаева позже говорила: «Бог посылает людям испытания, без преодоления которых невозможно совершенствование человеческого духа» (цит. по: Иоанас 2001: 216). В ситуации предельного экзистенциального страдания единственным спасением выступает псалмическая молитва о помощи («De profundis»), ответом на которую становится та же первая звезда и утреннее преображение природы:

Я верую. О Боже, помоги же,
В ничтожества и затемненья час
Молю, а из-за туч восходит, вижу
Звезды предутренний мерцающий алмаз.

За образами гор проступает метафизический библейский ландшафт присутствия Божия и Богообщения[40]:

Воздушных гор лиловые воскрылья
Грядой крылатою покрыли небосклон,
И золотою солнечною пылью
Весь край дальневосточный напоён.

В финальной строфе избавлением от страданий, исходом видится смерть как освобождение крылатой души от уз тела и приобщение её вечности и бессмертию:

Недолго нам от вечности таиться,
Запрятав голову под смертное крыло, –
Настанет час души! И вещей птицей
Бессмертия живой воды напиться
Из мрака тела – в дух, где тихо[41] *и светло!* (Цветаева 1995: 135)

Это освобождение в последнем лагерном стихотворении закольцовывается первым тюремным стихотворением, в котором есть строка «Куда я телом слабым горько рвусь» (там же: 25). В последней строфе финального стихотворения (как и в стихотворениях *Другу*, *Что терпит он, народ многострадальный*, *Благовещение*), Цветаева достигает трагедийного катарсиса – духовного освобождения от страха и насилия, помогающего пережить невыносимую реальность «зоны».

Тюремная и лагерная поэзия Цветаевой 1937-1943 гг., являясь «мысленным стихотворчеством», представляет собой непосредственное свидетельство изнутри «зоны» (тюрьма, этапирование и лагерь) и модернистский опыт сопротивления её репрессивному пространству. В замкнутом пространстве «зоны» сам факт стихотворчества («Защитник Феб – в Харонов час!..» (Цветаева 1995: 73)), то есть создание в поэзии личного пространства свободы, вмещающего в себя бесконечный макрокосм (романтизм), сохранение в стихах своей индивидуальности, становится способом внутреннего преодоления репрессивной системы, метафизическим протестом, утверждающим свободу и бессмертие как сущность личности.

Инфернальное пространство «зоны» Цветаева видит в модернистской перспективе «большого времени» истории, культуры и мифа (Байрон, Достоевский, Данте, Пушкин, вавилонский плен, Навуходоносор, Агасфер, апокриф *Хождение Богородицы по мукам* и др.). Восприятие «зоны» через присущие модернистскому сознанию открытость европейской культуре и интермедиальность (Чюрлёнис, Скрябин, Ван Гог, Тициан, Нотр-Дам, Микеланджело, Суриков, Доре и др.) позволяет Цветаевой эстетически преодолеть безысходную реальность насилия и абсурда и противостоять ей гуманистическими ценностями, ценностями нормальной человеческой жизни (красота природы, личность, свобода, этические нормы, творчество, счастье, общение). Поэтическое воображение (эстетизация застолья) становится компенсаторным способом преодоления голода («отключатель от лагеря») и утверждения пищи как ценности жизни (жизнь как пир, счастье) в условиях её уничтожения.

Не смириться с «зоной», остаться внутренне свободной Цветаевой помогает романтическая мифологизация своей польской идентичности (свободолюбие, гордость, достоинство), идентификация себя с независимыми историческими личностями (Меншиков и его дочь). Поэтический уход в пространство памяти, мифа и истории, способность созерцать красоту природы поднимают над физически невыносимыми условиями этапирования. Значимым способом сопротивления становится юмор, который обнажает абсурдность, противоестественность лагерной жизни.

В ситуации предельного экзистенциального отчаяния (горизонталь лагерного хронотопа) усиливаются христианский мистицизм и кенотическая молитвенность (вертикаль ландшафта), которые выражаются в метафизической поэтике (библейская, эзотерически-астрологическая (розенкрейцерская) и дантовская символика, особенно трансцендентные мотивы света, звёзд и тишины). Смерть предстает желаемым метафизическим исходом (освобождение от телесных уз), который переживается как трагедийный катарсис (очищение души в страданиях, освобождение от страха и насилия и возвращение в вечность), помогающий вынести реальность «зоны».

Поэзия Цветаевой (с её идеалом личности-творца, установкой на духовную реальность, «тоской по мировой культуре», мифопоэтической универсальностью, насыщенной интертекстуальностью, интермедиальностью, сложным символическим языком, юмором) продолжила русский модернизм начала XX в. И, по сути, за верность этой культуре Цветаева под политическим предлогом была подвергнута репрессиям. Как отметил в 1972 г. Шаламов, именно модернистскую культуру не терпели тоталитарные режимы XX века, очевидно, прежде всего за её свободолюбие и отказ от любого упрощения:

> Гитлер любил [нрзб] романтизм, почитывал Гёте, а Сталин сказал о горьковской *Девушке и смерти*: «эта вещь посильнее гётевского *Фауста*». Вот два суждения двух авторов концлагерей и гуманистов. Там Гауптман, здесь – Горький. Гитлер, как и Сталин, ненавидел модернистов. Такие неожиданности <нрзб> в возможности. (Шаламов 2013, VI: 577-578)

От модернизма Цветаева не отказалась не только в годы лагерей и ссылок, но и после освобождения, сумев создать в своих текстах параллельную, альтернативную официальной советской культуре духовную реальность («пир» культуры во время чумы), которая помогла ей выжить: «они [большевики. – *А.М.*] хотели, чтобы я их заметила, для этого они сажали меня – в тюрьму, в лагерь, потом в ссылку ‘навечно’… Но я их – не заметила!..». (Цветаева 1995: 165)

Примечания:

[1] Стихи Цветаевой стали публиковать в российской периодике конца 1980-х – первой половины 1990-х гг. Часть стихотворений от лица автобиографической героини Ники вошла в роман о лагерной жизни *Amor* (Цветаева 1991: 17, 19, 37, 58, 86-87, 96-100, 205). Двадцать стихотворений были опубликованы в серии *Поэты – узники ГУЛАГа* (Цветаева 1992). Наиболее полно стихи Цветаевой представлены в посмертном сборнике с авторским названием *Мой единственный сборник* (Цветаева 1995), где они часто

не имеют датировки, но выстроены по хронологическому принципу – от написанных в тюрьме (циклы *Феб, М.Н. Яковлевой (М. Ямпольской), Р. Мамаевой*), затем на этапе и в лагере (циклы *Пёс под луной, Мыльные пузыри*).

[2] О братстве см. подробнее в показаниях Зубакина из следственного дела 1937 г. (Немировский 1994: 267-269) и в показаниях А. Цветаевой 1949 г. (Розенкрейцеры 2004: 419-420).

[3] В феврале 1938 г. отправлена в Бамлаг (Байкало-Амурский ИТЛ) в район Хабаровска (Дальневосточный край). Шестнадцать месяцев занималась тяжёлой физической работой (поломойка, кубогрей, мойщица котлов, прачка): «Через год стала старухой в 44 года…». С 1939 по 1940 гг. – в сметно-проектной группе под руководством А.А. Этчина. В марте 1941 г. этапирована в Бурлаг (Буреинский железнодорожный ИТЛ, пос. Тырма), где работала чертёжником. В сентябре отправлена на стройку кирпичного завода (ст. Брусничная). Лагерь славился «тяжёлыми […] условиями труда и высокой смертностью». В 1942 г. переведена в лагерь №4 на ст. Известковая (Облученский район, Еврейская автономная обл.). 1 октября 1945 г. по 1 сентября 1947 г. находилась в Ургальском ИТЛ Хабаровского края. Последние четыре года лагерной жизни преподавала иностранные языки в семьях лагерного начальства. 17 марта 1949 г. была вновь арестована и 1 июня приговорена к высылке на поселение в Сибирь (село Пихтовка Колыванского района Новосибирской обл.). В августе 1954 г. освобождена, но без снятия судимости, т.е. без права проживания в крупных городах. 15 сентября 1959 г. была реабилитирована «за отсутствием в её действиях состава преступления" (Никитина 2010: 713-717). В общей сложности Цветаева пробыла в тюрьмах, лагерях и ссылках более 15 лет, была оторвана от Москвы на 22 года (с 1937 по 1959).

[4] О запрете в тюрьме писать что-либо свидетельствует и тюремная записка Зубакина следователю с просьбой дать карандаш для записи стихов, приложенная к его следственному делу: «В тюрьме я написал (в мыслях) 16 стихов (280 строк) и начинаю забывать. Разрешите бумагу, хотя бы для записи стихов. Некоторые о тюрьме и России, – заинтересуйтесь хотя бы, тов<оварищ> следователь! – и подпись: Профессор Зубакин, лишённый Вами возможности работать за то, что стихи и философию любит больше всего в мире» (цит. по: Гофрункель 2008).

[5] «Поэзия зоны» – понятие, предложенное К. Пьерали и означающее тексты, написанные в любом надзираемом пространстве, за пределы которого нельзя выйти, – «от пребывания в советских тюрьмах, когда ещё не вынесен приговор, до нахождения в пересыльных тюрьмах во время отправки в лагерь, от перевода из одного трудового лагеря или одной тюрьмы в другую (этап) до заключения в самом лагере» (Пьерали 2019: 253). См. также: (Pieralli 2013: 222-223).

[6] Стихи записывались мельчайшим почерком на маленьких папиросных листочках для самокруток; сделанную из них «крошечку-книжку» она прятала в специальном сшитом для этого глубоком кармане казённой юбки, так как если бы при обыске эта книжечка была обнаружена, то она могла получить за неё второй срок (Цветаева 1991: 95).

[7] Ст. А. Айдинян (литературный секретарь и редактор А.И. Цветаевой с 1984 по 1993 гг.), готовивший вместе с ней к публикации сборник её стихов (Цветаева 1995), в личном письме к автору статьи вспоминает, что тюремные и лагерные стихи «большей частью хранились в памяти автора и были записаны по выходе на волю. Правка в них потом была, но минимальная. […] Правка больше касалась знаков препинания, отдельных слов» (Айдинян 2021). В частности, в рукописи стихотворения *Буран* в последней строке «Я во сне этапный вижу день» вместо «этапный» было «военный», поскольку в ситуации советской цензуры употреблять слово «этапный» было опасно. Стихотворение *О нет, я не могу погибнуть в БАМе* начиналось без упоминания о БАМе (Байкало-Амурскую магистраль) по двум причинам: в сталинское время БАМ воспринимался как место лагерей, а в 1970-е-1980-е гг. советская пропаганда создала из него образ «всесоюзной ударной комсомольской стройки» (там же). В названных постсоветских изданиях (Цветаева 1991; Цветаева 1995) эти цензурные ограничения были сняты. Машинописи стихов хранятся в личном фонде А. Цветаевой Главархива Москвы.

[8] С жанровой точки зрения оно отсылает к «сюитам» Б. Зубакина, которые он стал писать с 1914 г. и опубликовал в книге *Медведь на бульваре* (Зубакин 1929: 7-12, 16-35).

[9] Отсылка к поэме Байрона *Шильонский узник* (англ. *The Prisoner of Chillon*, 1816), посвящённой заточению в подземелье Бонивара, боровшегося за независимость Швейцарии. Поэма была переведена В.А. Жуковским (1821-1822). В открывающем поэму *Сонете к Шильону* место заточения Бонивара, привязанного цепью, Байрон называет «алтарём» будущего освобождения Швейцарии.

[10] Об эпическом «ореоле» 5 ст. ямба см.: Гаспаров 2000: 124-125, 162-164).

[11] «Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет» (Иер. 31, 15). Эти слова стали пророчеством вифлеемского избиения младенцев: «глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет» (Мф. 2, 18).

[12] В Четвёртой Книге Царств ассирийский и вавилонский плен осмысляется как результат непослушания израильтян заповедям Божиим: «Состояние иудеев в вавилонском плену было несколько похоже на состояние их предков в Египте. Масса пленного народа несомненно употреблялась на земляные и другие тяжёлые работы. […] Заканчивая свои дневные работы где-нибудь на каналах и сидя на этих «реках вавилонских», пленники плакали при одном воспоминании о Сионе и помышляли об отмщении «окаянной дочери Вавилона, опустошительнице» (как это изображено в Псалме 136). Под тяжестью постигшего иудеев испытания, у них сильнее, чем когда-либо, пробуждалось раскаяние в прежних беззакониях и прегрешениях и укреплялась преданность своей религии» (Лопухин 1891: 328).

[13] Д.С. Лихачёв (1906-1999), переживший опыт соловецкого лагеря (1928-1932), в котором он оказался по аналогичному цветаевскому делу «Космической Академии наук» (статья 58, п. 2), также воспринимал поэзию как способ сопротивления несвободе. По его воспоминаниям, в лагере он был «пьян поэзией», вместе с лагерными друзьями мог часами декламировать стихи: «Где-то внутри непрерывно звучала музыка. Всё было поэтически приподнято. Поэзия была даже в смертях кругом, в драмах, в необычайности жизни. Смерть не страшна при вере в бессмертие» (цит. по: Панченко 2016: 331).

[14] Как известно, интермедиальная интеграция («синтез искусств») – характерный признак «культурного ренессанса» Серебряного века, восходящий к итальянскому Ренессансу. В частности, эта интермедиальность представлена в уже упомянутых поэтических «сюитах» Б. Зубакина, а также в «музыкальной живописи» М. Чюрлёниса, в музыке А. Скрябина, к которым Цветаева обращается далее.

[15] Перед своим арестом в 1937 г. Цветаева начала увлечённо заниматься живописью, а в тюрьме, где невозможно стало рисовать, она стала лепить из хлебного мякиша скульптурные головы Данте, Гоголя, Зубакина и др. (Цветаева 1991: 14-16).

[16] Ср. близкий мотив в стихотворении А. Ахматовой 1930-х гг. из цикла *Тайны ремесла*:

Сердитый окрик, дёгтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене…
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и на мученье мне (Ахматова 1998: 461).

[17] См. в *Сюите тюремной*:
Убоги милости тюрьмы
И искусственного чая кружка, –
И как же сахар любим мы,
И чёрный хлеб с горбушкой!

В обед какой-то будет суп,
На ужин – пшённая ли каша?
И Или горох? […] (там же: 27).

[18] Ср. с блокадным опытом Лихачёва, который вспоминал, что от чувства голода помогало отвлечься заучивание наизусть стихов Пушкина, Плещеева и Ахматовой: «С детьми мы разучивали стихи. Учили наизусть сон Татьяны, бал у Лариных, учили стихи Плещеева: 'Из школы дети воротились, как разрумянил их мороз…', учили стихи Ахматовой: 'Мне от бабушки татарки…' и др. Детям было четыре года, они уже много знали» (Лихачёв 1995: 340). См. также видеозапись Лихачёва о том, что чтение литературы во время блокады отвлекало внимание от голода на уровне рефлексов, что помогало человеку выжить (Лихачёв).

[19] Яковлева Мария Николаевна (псевдоним – Марианна Ямпольская) (1891-1968) – поэт, состояла в переписке с Л. Толстым. Арестована в 1937 г., 8 лет провела в Карлаге, в 1948 г. приговорена к пожизненной ссылке в Красноярский край.

[20] Мамаева Раиса Моисеевна (урождённая Сторожук) (29.01.1900, Калуга – 26.09.1982, Москва) – советский востоковед, китаист. 5 декабря 1937 г. была арестована вместе с мужем, военным советником в Китае, И.К. Мамаевым, ей было предъявлено обвинение по ст. 58-1б. Дело мужа было закрыто после его смерти в тюрьме. Как и Цветаева, сначала находилась в Бутырской тюрьме. Как «жена изменника Родины» 11 мая 1938 г. была приговорена к 8 годам «исправительно-трудовых лагерей», прибыла 12 июня 1938 г. в «Акмолинский лагерь жён изменников Родины» (АЛЖИР) Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области Казахстана, освобождена 30 декабря 1943 г.

[21] Имеются в виду польские восстания 1830 и 1863 гг.

[22] О польской генеалогии сестёр Цветаевых и её мифологизации см. подробнее: (Медведев 2020: 115-138).

[23] Вечный Жид (Агасфер – от лат. Ahasverus) – герой средневековых сказаний, еврей-скиталец, осуждённый Богом на вечные скитания за то, что не дал несущему свой крест Христу отдохнуть (по другим версиям, ударил его) по пути на Голгофу, один из вечных образов, символ парадоксального возмездия – проклятия бессмертием. К легенде об Агасфере обращались И.В. Гёте, К.Ф. Шубарт, поэты-романтики (П.Б. Шелли, Н. Ленау, В.А. Жуковский), Э. Сю, Х. Борхес и др.

[24] Летучий Голландец – по средневековой легенде, призрачный корабль, обречённый никогда не пристать к берегу; среди моряков было распространено поверье, что встреча с ним предвещает гибель в море. Легенда послужила основой сюжета оперы Р. Вагнера *Летучий голландец*. А. Цветаева вспоминала о чтении в детстве легенды о Летучем Голландце: «постигши главное 'слово' – 'Летучий Голландец', главную непостижность, любимую, её унося или ею уносимая, – в сон» (Цветаева 2008, I: 68).

[25] Ср., например, в описании 9-го круга ада, где лёд – главная демоническая стихия: «Земля покрылась морем, где, застывший / От холода, всегда недвижен лёд. / Ад – пустота, холодная могила, / И место то, которое нас ждёт» (Ад XXXIV, 186-189) (Данте 1874: 256). Здесь и далее цитируем *Божественную Комедию* по этому изданию (перевод Д. Минаева, иллюстрации Г. Доре), так как Цветаева была знакома с ним детства (Цветаева 2008, I: 66).

[26] Меншиков Александр Данилович (1673-1729) – фаворит Петра I, за государственные интриги в 1727 г. по приказу Петра II был сослан с семьёй в город Берёзов Тобольской губернии, где умер в 1729 г. в возрасте 56 лет.

[27] Меншикова Мария Александровна (1711-1729) – старшая дочь А.Д. Меншикова, невеста Петра Сапеги, сына великого гетмана Литовского, а затем – императора Всероссийского Петра II. Попытка выдать её замуж за Петра II закончилась неудачей и падением Меншикова. Была отправлена вместе с отцом в ссылку в Берёзов, где в возрасте 18 лет умерла от оспы в том же году, что и отец.

[28] В музыке доминантаккорд (доминантсептаккорд) – диссонирующий аккорд, который требует разрешения (перехода) в тоническое трезвучие (см. стихотворение *Разрешающий аккорд (утешение)* (Цветаева 1995: 135)).

[29] Шевелёв Леонид Федорович (1903–1936) – духовный ученик Б.М. Зубакина, после его ареста в 1929 г. – руководитель братства розенкрейцеров. Погиб на железной дороге при невыясненных обстоятельствах (возможно, был сброшен с поезда). На протяжении многих лет после его смерти Цветаева ощущала с ним непрерывную мистическую связь: «Он умер 15 апреля и каждый раз, ежегодно, в этот день даёт о себе знать» (цит. по: Козлова 2010: 41).

[30] По традиции в память об этой звезде празднование Рождества (трапеза) начинается в Рождественский сочельник с появления на небе первой звезды.

[31] Утренняя звезда – символ Христа: «доколе не начнёт рассветать день и не взойдёт утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Пет. 1, 19); «и дам ему звезду утреннюю» (От. 2, 28); «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» (От. 22, 16).

[32] «звезда, как надежда, как залог, как 'иного бытия начало', как заветное волнение: Геспер есть Фосфор. […] И, восходя в сердце, восходящая Звезда была прохладна, и девственна, и чиста. […] золотое время Эдема […] благодатная грусть сливалась с влажным сиянием Звезды Вечерней, такой бесконечно далёкой, светящей из прозрачных изумрудовых бездн, и такой близкой, заходящей в сердце. Где-то вдали мерцала пастушья тaплина. И милой была она. И милыми были все сидевшие возле. И, как ранее, в Звезде Утренней, так и теперь, в Звезде Вечерней, сердце любило – Кого-то. […] Смерть и рождение сплетаются, переливаются друг в друга. […] Звезда Утренняя и Звезда Вечерняя – одна звезда. Вечер и утро перетекают один в другой: 'Аз есмь Альфа и Омега'» (Флоренский 1990: 19-22).

[33] «Каждый раз, как поднималось облако от Скинии, сыны Израилевы снимали свои шатры и отправлялись в путь и где оно останавливалось, там они снова располагали свой стан. Ночью это облако делалось блестящим, как огненный столп, и предшествовало им, как дневное облако» (Чис. 9, 15-23; Исх. 40, 39, 40) (Никифор 2016: 482). В Евангелии Скиния выступает символом Христа (Евр. 9, 11-12) и Нового Иерусалима (От. 21, 3).

[34] Увлечение Цветаевой астрологией, связанное её членством в братстве розенкрейцеров, выразилось в неопубликованном романе *SOS*, или *Созвездие Скорпиона* (1928, машинопись, в 2 т.), который был изъят НКВД после её ареста и уничтожен.

[35] Сириус (греч. Σείριος от σείριος – палящий, знойный, жгучий, лат. Canicula – Собачья звезда) – самая яркая звезда небесного свода, находится в созвездии Большого Пса (α Canis majoris). Второе название как звезды Изиды – Сотис, Сопдет (егип. Sopti, греч. Σωθις – мудрость), которая управляла благодатными разливами Нила. См. подробнее: (Жебелен 2005). Марс – планета по имени античного бога войны (лат. Mars, греч. Ἄρης), «красноватая мерцающая» «планета цвета ржавого железа», астрологически рассматривается как «вестник несчастья»: «Планета 'горячая, сухая, острая, жестокая… Она имеет отношение к тираниям, войне, непредвиденным несчастным случаям' (Й. В. Пфафф, 1816) и управляет такими качествами, как активность, воля, энергия,

агрессивная сексуальность […]. Цвет, сопрягающийся с Марсом, кроваво-красный, его металл – железо […] хаос, горячность, непредвиденные катастрофы, беззаконие» (Бидерманн 1996: 159).

[36] Большая Медведица (лат. Ursa Major) – в древнегреческой мифологии нимфа Каллисто, превращённая Герой (или Зевсом, чтобы спасти её от мести Геры) сначала в медведицу, а затем вознесённая Зевсом в виде созвездия на небо. У греков это созвездие называлось «Колесницей (Возом)», что нашло отражение в Божественной Комедии: «Пусть тот себе представит, что над ним / Пятнадцать звезд сияют, оживляя // Небесный свод сиянием своим; / Пусть он себе представит колесницу, / Которая встречает и денницу, / И ночь на нашем небе, и блестит, / В выси не уставая подвигаться» (Рай, XIII, 5-11) (Данте 1879: 108-109). В комментарии Минаев отмечает, что «Большая Медведица находится всегда над нашим горизонтом, потому что, сияя близ северного полюса, она никогда не заходит над нами, вращаясь вокруг полюса» (там же: 109). Созвездие являлось важнейшим ориентиром для кораблей во время плавания.

[37] В тропаре праздника Благовещения этим событием полагается начало спасения рода человеческого: «'днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление…'. Св. Иоанн Златоуст называл его первым праздником и корнем праздников. В народе день Благовещения считается величайшим праздником, в который должен быть общий покой и радость» (Перетц 1891: 43).

[38] «По народному поверью, самый большой праздник на небесах и на земле; грешников (как и на Пасху) в аду не мучать, птица гнезда не вьёт; кукушка за то без гнезда, что завила его на Благовещенье» (Даль 2001: 129).

[39] Восходит к евангельскому образу «тьмы внешней», где «плач и скрежет зубов» (Мф. 8, 12; 22, 13; 25: 30).

[40] Гора – библейский символ молитвенной устремлённости к Богу. В Ветхом Завете гора – место Богоприсутствия, Его неприступной славы («святая гора» Сион – Иоил. 3, 17, на которой построен Иерусалим и храм Соломонов (2 Пар. 33, 15; Пс. 2, 6; 67, 16)), место Богоявления Моисею (Хорив (Синай) – Исх. 3 и 4; 24, 16; Вт. 5, 4-5). В Новом Завете гора – пространство Преображения Господня («гора высокая» Фавор – Мф. 17, 1; Мк. 9, 2), искушения Христа («высокая гора» – Мф. 4, 8; Лк. 4, 5), Нагорной проповеди о блаженствах (Мф. 5, 1), Распятия (Голгофа – Мф. 27, 33; Мк. 15, 22; Ин. 19, 17), Вознесения (Елеон – Деян. 1, 12), а также духовного вознесения ап. Иоанна Богослова в Апокалипсисе (От. 21, 10).

[41] Сакральный мотив тишины, ключевой для цветаевской лирики, выражает в последней строке апофатическую «несказанность» вечности, восходящую к христианской мистике тишины и безмолвия (исихазм), в её преломлении в немецком и русском романтизме (например, у В.А. Жуковского).

Литература:

Айдинян 2021: Ст.А. Айдинян, *Письмо А. Медведеву от 17 марта 2021 г.*, Частный архив А. Медведева.

Ахматова 1998: А. Ахматова, *Собрание сочинений в 6 т.*, I, сост. Н.В. Королёвой, Москва 1998.

Бидерманн 1996: Г. Бидерманн, *Энциклопедия символов*, Москва 1996.

Васильев 2004: Г.К. Васильев, Г.Я. Никитина, *Трудный путь к Богу (Духовная эволюция А. Цветаевой)*, в: «Вестник РХД», 2(188), 2004, с. 166-184.

Воображаемые пиры 2014: *Воображаемые пиры (Imaginary Feasts)*, документальный фильм, Франция, Neon Rouge Productions, 2014, режиссёр Анн Жорже (Anne Georget), <https://www.dailymotion.com/video/x59k04v> (20.10.2019).

Гаген-Торн 1994: Н.И. Гаген-Торн, *Memoria: воспоминания, рассказы,* сост. Г. Гаген-Торн, Москва 2009.

Гаспаров 2000: М.Л. Гаспаров, *Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика*, Москва 2000.

Гурфинкель 2008: Ю. Гурфинкель, *Подземная река. Беседы с Анастасией Цветаевой*, в: «Октябрь», 8, 2008, с.,
<https://magazines.gorky.media/october/2008/8/podzemnaya-reka.html> (20.10.2019).

Даль 2001: В.И. Даль, *Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т.*, I, Москва 2001.

Данте 1874: А. Данте, *Божественная комедия. Перевод Д. Минаева. Рисунки Г. Доре,* т. I: Ад, [Лейпциг] [1874]
<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003878417#?page=1> (20.10.2019).

Данте 1876: А. Данте, *Божественная комедия. Перевод Д. Минаева. Рисунки Г. Доре,* т. II: Чистилище, [Лейпциг] [1876]
<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003878416#?page=1> (20.10.2019).

Данте 1879: А. Данте, *Божественная комедия. Перевод Д. Минаева. Рисунки Г. Доре,* т. III: Рай, [Лейпциг] [1879]
<https://dlib.rsl.ru/viewer/01003878415#?page=1> (20.10.2019).

Державин 1957: Г.Р. Державин, *Стихотворения*, общ. ред. Д.Д. Благого, Ленинград 1957.

Достоевский 1972: Ф.М. Достоевский, *Полное собрание сочинений в 30 т.,* IV, текст подгот. И.Д. Якубович и др., Ленинград 1972.

Жебелен 2005: Антуан Кур де Жебелен, *№ XVII. Каникула*, в: Он же, *Первобытный мир, его анализ и сравнение с миром современным*, 2005 <http://green-door.narod.ru/gebelintarot.html> (20.10.2019).

Зубакин 1929: Б.М. Зубакин, *Медведь на бульваре: [Стихи],* [Москва] [1929].

Ионас 2010: В.Я. Ионас, *Сложная и противоречивая натура*, в: *Последний луч Серебряного века: Воспоминания об А. Цветаевой*, сост. Г.К. Васильев, Г.Я. Никитина, Москва 2010, с. 201-233.

Козлова 2010: Л.Н. Козлова, *Милая Анастасия Ивановна, простите меня, если что не так!* в: *Последний луч Серебряного века: Воспоминания об А. Цветаевой*, сост. Г.К. Васильев, Г.Я. Никитина, Москва 2010, с. 30-49.

Кузнецова 2010: Т.В. Кузнецова, *Они развоплощали человека*, в: *Последний луч Серебряного века: Воспоминания об А. Цветаевой*, сост. Г.К. Васильев, Г.Я. Никитина, Москва 2010, с. 50-53.

Ларцева 2010: Н.В. Ларцева, *Факел смирения*, в: *Последний луч Серебряного века: Воспоминания об А. Цветаевой*, сост. Г.К. Васильев, Г.Я. Никитина, Москва 2010, с. 297-309.

Леонтьев 2010: Н.П. Леонтьев, *Картинки прошлого*, в: *Последний луч Серебряного века: Воспоминания об А. Цветаевой*, сост. Г.К. Васильев, Г.Я. Никитина, Москва 2010, с. 58-61.

Лихачёв: *«Лихачёв о спасительной духовной пище во время Блокады Ленинграда»* в: *Аудио-видеоархив*,
<https://www.lihachev.ru/lihachev/audiovideo/>(20.10.2019).

Лихачёв 1995: Д.С. Лихачёв, *Воспоминания*, С.-Петербург 1995.

Лопухин 1891: А. Лопухин, *Вавилонское пленение*, в: *Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: [в 86 т.]*, V, С.-Петербург 1891, с. 327-329.

Майков 1977: А.Н. Майков, *Избранные произведения*, сост. Л.С. Гейро, Ленинград 1977.

Мамонтов 2010: Виктор (Мамонтов), архим., *Языком сердца*, в: *Последний луч Серебряного века: Воспоминания об А. Цветаевой*, сост. Г.К. Васильев, Г.Я. Никитина, Москва 2010, с. 447-454.

Медведев 2020: А. Медведев, *Миф о польской панне в творчестве Анастасии Цветаевой*, в: *Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej*, red. J. Getka, I. Krycka-Michnowska, Warszawa 2020, s. 115-138.

Немировский 1994: А.И. Немировский, В.И. Уколова, *Свет звёзд, или Последний русский розенкрейцер*, Москва 1994.
Никифор 2016: Никифор (Бажанов), архим., *Иллюстрированная библейская энциклопедия*, Москва 2016.
Панченко 2016: О.В. Панченко, *А.С. Лихачёв в работе над «воспоминаниями»: осмысление духовного опыта соловецкого лагеря*, в: *Воспоминания соловецких узников*, 4, отв. ред. В. Умнягин, Соловки 2016, с. 326-349.
Перетц 1891: В.Н. Перетц, *Благовещение*, в: *Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: [в 86 т.]*, IV, С.-Петербург 1891, с. 43.
Пушкин 2009: А.С. Пушкин, *Полное собрание сочинений в 20 т.*, VII, сост. М.В. Виролайнен, Л.М. Лотман, С.-Петербург 2009.
Пьералли 2019: К. Пьералли, *Поэзия ГУЛАГа: проблемы и перспективы исследования. К продолжению темы*, в: «Studia Litterarum», 4(1)47, 2019, с. 250-273.
Розенкрейцеры 2004: *Розенкрейцеры в советской России. Документы 1922-1937 гг.*, сост. А.Л. Никитин, Москва 2004.
Суриков 1883: В.И. Суриков, *Меншиков в Березове*, 1883, Москва, Третьяковская галерея, Зал 28, <https://www.tretyakovgallery.ru/collection/menshikov-v-berezove/> (20.10.2019).
Флоренский 1990: П. Флоренский, свящ., *У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики)*, в: Он же, *[Сочинения в 2 т.]*, II, Москва 1990, с. 17-350.
Хождение 1999: *Хождение Богородицы по мукам*, перевод М.В. Рождественской, в: *Библиотека литературы Древней Руси*, III, под ред. Д.С. Лихачёва и др. С.-Петербург 1999.
Цветаева 1991: А.И. Цветаева, *Amor: Роман и повесть*, Москва 1991.
Цветаева 1992: А.И. Цветаева, *О Марине, сестре моей*, в: Она же, *Неисчерпаемое*, сост. и предисл. Ст. Айдиняна, Москва 1992, с. 176-180.
Цветаева 1992: А.И. Цветаева, *Тетрадь Ники*, Москва 1992 (Поэты – узники ГУЛАГа, Малая серия).
Цветаева 1994-1995: М.И. Цветаева, *Собрание сочинений в 7 т.*, I, VII, сост. А. Саакянц и Л. Мнухина, Москва 1994-1995.
Цветаева 1995: А.И. Цветаева, *Мой единственный сборник: Стихи*, предисл. и коммент. Ст. Айдиняна, Москва 1995.
Цветаева 2000, 2001: М.И. Цветаева, *Неизданное. Записные книжки в 2 т.*, II, сост. Е.Б. Коркиной и М.Г. Крутиковой, Москва 2000, 2001.
Цветаева 2008: А.И. Цветаева, *Воспоминания: авторская редакция: в 2 т.*, I-II, изд. подгот. Ст.А. Айдинян, Москва 2008.
Шаламов 1998: В.Т. Шаламов, *Собрание сочинений: в 4 т.*, IV, сост. И. Сиротинская, Москва 1998.
Шаламов 2013: В.Т. Шаламов, *Собрание сочинений: в 6 т.*, V-VI, сост. И. Сиротинская, Москва 2013.
Pieralli 2013: C. Pieralli, *La lirica nella 'zona': poesia femminile nei GULag staliniani e nelle carceri*, in: *Linee di confine. Separazioni e processi di integrazione nello spazio culturale slavo*, a cura di A. Alberti, G. Moracci, Florence 2013, pp. 221-246.
Pieralli 2013a: C. Pieralli, *The Poetry of Soviet Political Prisoners (1921-1939): an historical-typological framework*, in: *Contributi italiani al congresso internazionale degli slavisti*, a cura di A. Alberto, M. Garzaniti, M. Perotto, B. Sulpasso, Firenze 2013, pp. 387-412.

АЛЕКСАНДР РУДНЕВ

СКРЕЩЕНИЕ СУДЕБ В СТАРОМ РУССКОМ ГОРОДЕ

(«Александровская слобода» – историко-литературное художественное издание. Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых. – Александров, 2022. – 639 с.)

Под эгидой Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове только что вышел из печати очередной, третий, весьма увесистый том «Александровской слободы» – историко-литературного художественного издания. Оно, несомненно, выделяется из множества подобных провинциальных изданий, поскольку наполнено самыми разнообразными материалами художественного, исторического, краеведческого и, самое главное, историко-литературного характера.

Нас, прежде всего, интересуют публикации, связанные с именами сестёр Цветаевых, составляющие основную часть рецензируемого издания, тем более, что альманах подготовлен первым в мире цветаевским музеем, который был основан в Александрове в 1991 г. В состав музейного квартала включена *усадьба* учителя математики А.С. Лебедева, в одном из домов которой в 1915-1917 гг. годы жила семья Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993). В Александрове была написана вторая из её ранних двух книг – «Дым, дым и дым» (1916). Неоднократно в этот дом приезжала и подолгу в нём жила и работала классик поэзии Серебряного века Марина Ивановна Цветаева (1892-1941). В Александрове состоялось так называемое «александровское лето» Марины Цветаевой – одна из вершин её творческой жизни.

В первую очередь мы хотели бы сказать несколько слов о письмах Ирины Львовны Карсавиной, дочери известного философа и теоретика «евразийства» Л.П. Карсавина, относящихся к 1980-м гг. и адресованным бывшей коллеге по работе в Вильнюсском университете Е.Л. Мирской. Они написаны в форме воспоминаний, изначально не предназначавшихся для широкого круга читателей, и повествуют о времени, проведённом в эмиграции во французском г. Кламаре, где семьи Карсавиных и Эфронов тесно соприкасались. Из писем И. Карсавиной вырисовывается, надо сказать, малопривлекательный образ знаменитой поэтессы. Автор сразу же прямо говорит, что Цветаева ей «очень не понравилась» с первого взгляда (с. 36), хотя отмечает превосходное чтение поэтессой своих стихов на одном из литературных вечеров (речь идёт в данном случае о чтении «Поэмы Горы»). Первоклассным поэтом она Цветаеву не считает, а прозу классика находит прямо-таки «невыносимой». Столь же невысокого мнения она была

и о литературном творчестве А.И. Цветаевой. Мы не знаем, насколько оно было ей известно – можно предположить, что она знала только лишь книгу «Воспоминания» (1971).

И. Карсавина припоминает многие нелицеприятные моменты поведения и характера М.И. Цветаевой, выражавшиеся, главным образом, по её мнению, в бессердечном отношении к дочери Ариадне, говорит и о страшной избалованности и эгоизме младшего её сына Мура – Георгия Эфрона. Что касается С.Я. Эфрона, с его «неприлично красивыми глазами», то она также явно его недолюбливала, ей крайне несимпатична была и его политическая деятельность в эмиграции. Вся невероятно трагическая судьба этой, в общем-то, очень несчастливой семьи, не вызывает у И. Карсавиной ни малейшего сочувствия. Что ж, сколько людей, столько и мнений. Возможно, и такой взгляд имел право на существование. Но совершенно ясно, что столь неординарная творческая личность, которой была М.И. Цветаева, по определению не могла быть, что называется, «белой и пушистой». Как отмечают авторы предисловия к публикации, «…Марина Цветаева была большим поэтом, может быть, как считал Иосиф Бродский, самым большим поэтом XX века. Хотелось бы вспомнить Владимира Сосинского, друга М.И. Цветаевой и поклонника её творчества, который в беседе с Виктором Дувакиным сказал: «А почему у неё должно быть в остальном-то всё нормально? В стихах же сказано: „Ибо раз голос тебе, поэт, дан – остальное взято“. А „остальное“ – это же не только богатство, благополучие и счастье в личной жизни. Это всё что угодно – и доброта, и жалость, и чувства к окружающим. И к чему угодно. Вернее – ко всему. Не ждите ничего нормального». Перед М.И. Цветаевой никогда не стоял выбор: что первично, быт или поэзия? Она изначально посвятила свою жизнь творчеству. И другого ей было не дано.

«Чем ещё ценны для нас воспоминания И.Л. Карсавиной? – пишут далее авторы предисловия. – В первую очередь, подробным описанием одного из творческих вечеров Марины Ивановны: по-видимому, других упоминаний о нём не сохранилось. Во-вторых, мы получили дополнительные подробности о событиях, происходивших во время отдыха философско-евразийской компании русских эмигрантов летом 1929 г. в Понтайяке. В-третьих, узнали о неизвестных деталях отношений Марины Цветаевой и Николая Гронского».

В публикации Льва Готгельфа, основателя и многолетнего директора александровского музея Цветаевых, «Скрещение судеб», в его беседе с Маргаритой Андреевной Мещерской, старшей внучкой А.И. Цветаевой, рассказывается о годах, проведённых писательницей в ссылке «на вечном поселении» в деревне Пихтовка, богом забытом уголке Новосибирской области, и последующих годах совместной жизни. Выясняется, что Анастасия Ивановна в повседневном быту, в отношениях с близкими была человеком, мягко говоря, с очень нелёгким и непростым характером. И это, по всей видимости, соответствует действительности. «Она всегда меня ругала, называла мерзавкой и подвергала <…> унижениям», которые, как она полагала, «учат смирению» (с.155). «Кто знает, быть может, она имела на это моральное право по причине своей мученической жизни…», – рассказывает Маргарита Андреевна. В то же время внучка отмечает абсолютную порядочность своей знаменитой «бабушки Аси», отсутствие в ней какого бы то ни было тщеславия и признаётся в том, что «благодарна теперь людям за то, что бабушка живёт в трёх веках и будет жить дальше» (с.182).

Весьма интересные и значимые для цветаеведения и для читателей сведения и подробности о семье Цветаевых, прежде всего, об Анастасии Ивановне, её родных и близких, о её первом муже Б.С. Трухачёве, мы находим в той же публикации «Скрещение судеб». Это беседа Л.К. Готгельфа с Еленой Марковной Устюжаниновой и Мариной Евгеньевной Коптевской, внучками актрисы и писательницы Марии Ивановны Кузнецовой-Гринёвой, ближайшей подруги сестёр Цветаевых, участницы коктебельских бдений и волошинского «обормотника». Беседа эта проходила в 2017 г. в дачном посёлке «Семхоз», возле Сергиева Посада. В ней представлены очень интересные и даже уникальные свидетельства о том, какими были сёстры Цветаевы в жизни, об их «странностях», иногда казавшихся нелепыми окружающим, об их эгоцентризме или, например, небрежности в одежде, как было у Анастасии Ивановны (шляпа с двумя утками). Подобные черты обусловлены, по мнению всех троих собеседников, прежде всего тем, что сёстры Цветаевы были абсолютно творческими натурами, которых мало беспокоили коллизии бытовой жизни – а сама жизнь ведь, как известно, била их наотмашь.

Переписка александровского поэта В.С. Коваленко с крупнейшим исследователем жизни и творчества М.И. Цветаевой А.А. Саакянц под названием «Вы истинный подвижник и делаете чудеса!» освещает в основном события, связанные с проведением старейшего Цветаевского фестиваля поэзии в Александрове, которому к моменту выхода альманаха исполнилось сорок лет. В письмах ведётся также речь о редких тогда публикациях эпистолярного наследия М.И. Цветаевой. Между авторами происходит оживлённый обмен мнениями по поводу очередного переиздания «Воспоминаний» А.И. Цветаевой и отражённых в них фактах и событиях, а также о присутствующих в книге «умолчаниях» о С. Парнок, А. Плуцер-Сарно и др.

В альманахе «Александровская слобода» публикуются два до настоящего времени неизвестных письма А.И. Цветаевой (1924 и 1960), адресованные О. Руновой и Н. Мещерской. Поступили они в александровский музей Цветаевых от семьи Мещерских – старшей внучки А.И. Цветаевой Маргариты Мещерской.

Здесь же впервые помещена фотография А.И. Цветаевой с годовалым сыном Андреем, датированная декабрём 1915 г.

Следует отметить, что все эпистолярные и мемуарные публикации альманаха сопровождены обширными, почти исчерпывающими, и очень профессионально составленными в основном Л.К. Готтельфом комментариями, из которых вырисовывается выразительная панорама того интереснейшего времени и его героев.

Несомненный интерес представляет собой и статья Ст. А. Айдиняна «Рукописи А.И. Цветаевой из чердачной пыли», в которой идёт речь об обнаруженных на чердаке дома-музея Цветаевых страницах дневника Анастасии Ивановны, подобных тем, что затем вошли в книгу «Дым, дым и дым» (1916), а также «краткое безымянное художественное произведение, написанное ритмической прозой» (с. 369), в котором явно, по мнению исследователя, присутствуют элементы поэтики Серебряного века, в частности, отголосок того, что скрывалось за фразой В.В. Розанова, с которым Анастасия Ивановна была некоторое время знакома и дружна: «Холодок в сердце, знаете ли вы его?». Эта фраза ещё стоит и эпиграфом к книге «Дым, дым и дым» и во многом является её художественным лейтмотивом – готовность к смерти, отречение от жизни, от всего земного, потерю теплоты человеческих чувств – всё то, что постигло тогда героиню книги…

На чердаке александровского дома были также найдены тетрадь с карандашными заметками А.И. Цветаевой, сделанными в Феодосии и Коктебеле в 1915 г., где фигурируют её друзья Н.И. Хрустачёв, М.А. Волошин, а также блокнот с несколькими страничками из отроческого дневника 13-летней Аси Цветаевой, в которых в том числе приводится концовка стихотворения С.Г. Скитальца «Я оторван от жизни родимых полей», которое очень любила мать А.И. Цветаевой М.А. Мейн-Цветаева.

Показательно и интересно и то, что составители сборника не пренебрегли, если можно так выразиться, и такой публикацией, как статья Олега Лобачёва «Растленная русская речь: София Парнок», в которой разговор ведётся о нестандартных эротических предпочтениях творческих личностей того времени, среди которых названы не только София Парнок, но также и крупнейший литературный деятель Серебряного века Михаил Кузьмин, известный своей нетрадиционной ориентацией. Однако, интересен он ныне совсем не этим – едва ли кто-то будет серьёзно оспаривать такой «тезис»…

В статье Сергея Вдовина «Есенин и Высоцкий (попытка сопоставления)» уже ставшее достаточно традиционным сопоставление человеческой и творческой судьбы Есенина и Высоцкого, которые, хотя и не были современниками, имели немало общего. Автор отмечает при этом не только душевную неуравновешенность, пристрастие к алкоголю и наркотикам, что было присуще обоим и часто ставило их на грань гибели, но и определённое сходство дара, по его мнению, и прежде всего то, что оба были очень «публичными» и любимыми народом поэтами. Их сближают в том числе и «стихи на случай» и равным образом невероятная личностность, обнажённая исповедальность и автобиографичность поэзии и того, и другого.

О В. Высоцком пишет в своих автобиографических мемуарных заметках «Наше время иное, лихое…» редактор-составитель альманаха Евгений Викторов, благодаря кропотливому долговременному труду которого альманах обрёл свой законченный состав, объём и вид. Повествование касается студенческих времён автора, проведённых во Владимирском пединституте где, кстати, совсем недолгое время учился Венедикт Ерофеев. Высоцкому посвящено и проникновенное стихотворение Е. Викторова под заглавием «Вечер в школе».

Из прозаических произведений, помещённых в альманахе, следует упомянуть рассказ журналистки Ольги Севастьяновой «Встреча при загадочных обстоятельствах». В центре рассказа история одной вроде бы заурядной женской судьбы, но где вполне реалистическая и даже бытовая основа не заслоняет некоторый, мы бы сказали, мистический элемент, который является как бы преамбулой ко всему дальнейшему повествованию.

Помимо этого в книге помещены статьи и материалы, рассказывающие о разных людях, тем или иным образом связанных с Александровым. Среди них публикация московского исследователя Александра Соболева о жизни и творчестве поэта и переводчика Бориса Натановича Лейтина (1893-1972), которого ценили такие корифеи и классики художественного перевода, как С.В. Шервинский, К.И. Чуковский, Н.Н. Вильмонт, и которого, увы, не миновала «чаша» ГУЛАГа. Публикуется значительный корпус стихов Лейтина, в частности, шедевр гулаговской поэзии – цикл сонетов, написанных в Соловецком лагере.

Интересна и публикация Спартака Ахметова, основанная на воспоминаниях Почётного гражданина г. Александрова В.А. Виноградова (1897-1993). Испытания, через которые прошёл убеждённый коммунист Виноградов в приснопамятные 1930-1950-е гг., не могут не вызвать содрогания.

В альманахе помещено много интересных историко-краеведческих очерков о разных аспектах истории г. Александрова (Александровской слободы), среди которых наибольшее, пожалуй, внимание привлекает статья Владимира Ревякина «Александровское купечество», о сословии, игравшем в своё время очень большую роль в жизни города.

Нельзя также в заключение не отметить и прекрасное иллюстративное оформление книги, выполненное местными художниками. Обложка по традиции и цветная вкладка книги принадлежат талантливому александровскому художнику-графику А.И. Панину.

В пейзажах и жанровых зарисовках, в архивных и уникальных фотографиях ярко и колоритно отражается на страницах альманаха «физиономия» типичного старого русского провинциального города.

ИЛЬЯ РЕЙДЕРМАН

ДВЕ ВСТРЕЧИ, ИЗМЕНИВШИЕ ЖИЗНЬ
(воспоминания об А.А. Ахматовой и А.И. Цветаевой)

ВСТРЕЧА С АХМАТОВОЙ

С Анной Андреевной Ахматовой я встречался всего один раз. Было это незадолго до её смерти, в 1963 или 1964 году. В памяти моей не удерживаются даты. Я был студентом Пермского университета, давно уже писал стихи, и был у меня учитель, Андрей Сергеев, с которым я уже несколько лет переписывался и встречался. Поощряя моё стихописательство, он писал: «Болезнь идёт нормально». И я понимал, что ещё многим придётся переболеть, прежде чем я обрету свой голос. Если быть поэтом – это судьба, то у каждого она сбывается по-своему, и я своим голосом заговорил, как мне кажется, довольно поздно, может быть, только на старости лет. А тогда я бредил всеми поэтами, которых открывал для себя. Прежде чем пришла пора «пастерначить» и «мандельштамить», – я был ошеломлён поэзией Марины Цветаевой.

Помнится, мы сидели в библиотеке и переписывали от руки под копирку стихи из ранней книги Марины, случайно уцелевшей в фондах. Среди переписчиков была девушка, в которую я был влюблён. «Муки любви» (разумеется, «несчастной») и стихи Марины образовали гремучую смесь, которая и взрывалась в моих стихах. Сергеев, прочитав их, при встрече мне сказал: пора! И дав мне номер телефона, велел позвонить, чтобы встретиться с Анной Андреевной.

Это был телефон Нины Леонтьевны Шенгели. Мне было велено прийти к определённому часу. Говорила ли со мной по телефону сама Анна Андреевна или Нина Леонтьевна – не помню. С Ниной Леонтьевной я потом подружился, и она мне сказала, что в тот день я был шестой или седьмой из читавших стихи, и мои стихи были лучшими.

Комната. В ней немолодая полная женщина. Первое впечатление: барыня! Госпожа! Императрица! Величественные жесты, неторопливая речь, голос густой, низкий. Она была не одна – с ней беседовала перед моим приходом женщина, как потом выяснилось, писательница Галя Корнилова.

Моё появление прервало беседу. Мне было велено читать. И я прочитал безумно страстные, горячие (если их подержать в ладонях – обожгут!) любовные стихи, совершенно цветаевские. Я не подражал Марине – я был Цветаевой, пусть и в брюках и в другой эпохе… Как я теперь понимаю, жутким нахальством было читать стихи о любви (кому? Ахматовой?), и к тому же, в цветаевском духе… Но стихи были настоящие. К сожалению, они у меня не сохранились – может быть, их сохранила та, которой они были посвящены…

Когда я их писал – я впервые почувствовал себя поэтом. Впрочем, я их не писал. Я их выборматывал, бродя всю ночь до утра по улицам города. Я был готов ко всему, бредил самоубийством, в моём сознании с грохотом рушилась вся обычная жизнь, и на месте её возникали пустоты. Эти пустоты я и пытался заполнить стихами. Потом я понял, что стихи спасли мне жизнь, я выжил благодаря им.

Повисла пауза. Потом Ахматова сказала мне слова, которые я стеснялся цитировать, – и именно поэтому до сих пор не брался описывать эту встречу с ней. Она сказала: «Мне вас нечему учить!». Что ещё было при этом сказано – точно вспомнить не могу, в голове моей зашумело. Всю жизнь я истолковывал сказанное в том смысле, что «вы всё умеете» (кажется, нечто подобное тоже было произнесено), но теперь мне кажется, что можно истолковать и иначе: «Мне, Ахматовой, вас учить нечему – поскольку вас уже учит Цветаева».

Во всяком случае – сказанное было истолковано всеми как похвала. Анна Андреевна о чём-то меня расспрашивала, среди вопросов был и такой: а на каком языке вы читаете английских поэтов? До меня шёл разговор об английских поэтах-романтиках и при мне он продолжился. Увы, я ничего путного сказать не мог – кроме того, что читаю Байрона и Шелли только по-русски. Ахматова заметила: «Жаль!

В переводах всё теряется. Поэтов нужно читать на их родном языке». Мне стало стыдно. Я явно не дотягивал до какого-то уровня, без которого нет равенства в общении.

Я молча прислушивался к разговору Анны Андреевны с Галей. Но Анна Андреевна давала понять, что адресует свои слова и мне. Заговорили о сегодняшних поэтах. «Пишущих хорошие стихи – много. А поэтов – мало», – сказала А.А. Эти слова я тоже запомнил на всю жизнь. Понял, что недостаточно написать одно или даже несколько прекрасных стихотворений. Что необходима смелость, что нужно отважиться быть поэтом, жить как поэт. О Бродском, которого А.А. в данном контексте, несомненно, имела в виду, я знал в ту пору очень мало. Всё же в Перми я был оторван от ленинградско-московской литературной жизни, и листочки со стихами Бродского до меня не доходили. Андрей Сергеев, кажется, давал мне прочесть поэму «Шествие», которой я восхитился, но мало что понял. Да ещё показывал открытку от Бродского, адресованную ему. Кстати – войдя в гостиную Нины Леонтьевны, я отрекомендовался, что мой учитель – Андрей Сергеев. И Анна Андреевна сказала: «Хороший у вас учитель!».

Пожалуй, мои воспоминания исчерпаны. Встреча эта, как и предполагал Андрей, была для меня очень важна. Я получил «благословение» – и оно меня согревало всю жизнь, компенсируя горечь непризнания-неиздания, позволяя, несмотря ни на что, не утрачивать веры в своё поэтическое призвание. Я знал, что я, пишущий стихи, – должен, в конце концов, превратиться в поэта, если удастся. Но может быть, самое главное – я получил «эстафетную палочку» от людей серебряного века, от Анны Андреевны да и Нины Леонтьевны, я увидел присущую им меру высочайшего человеческого достоинства, сохранившуюся вопреки всем житейским испытаниям и унижениям. Позднее то же самое открылось мне в Анастасии Ивановне Цветаевой. Я счастлив, что эти люди мне встретились, и я вовремя смог понять: вот «планка» поэтического, этического, человеческого поведения, вот уровень развития личности, – и нужно стремиться достичь этой высоты, и на это не жалко потратить всю жизнь.

АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА

Рылся вчера в архиве. Старые письма, стихи… Самое сильное ощущение: как будто жизнь моя была проявляемой в ванночке фотографией – изображение ещё размыто, нечётко, и кто-то должен разглядеть, предугадать то, что возникнет. Изумляюсь: замечательные люди, мне встретившиеся, – угадали! Угадали даже то, что будет лет через тридцать-сорок… Ведь вроде бы и особых оснований у них не было, для того чтобы ободрять, пророчить будущее, предсказывать судьбу… Какое-то ясновидение! Мне слышится ликующий голос булгаковского Мастера: «Как я угадал!». Осуществилось. Говоря словами Марины, «всё в душе сбылось и спелось».

Кто же лучший угадыватель? Человек с творческим отношением к миру. Музыкант, импровизируя, угадывает следующий звук, а заодно и то целое, в котором этот звук должен занять своё единственное место. Поэт – угадывает слово, рифму, строку… Юноша – угадывает чаемую встречу, живёт радостным ожиданием ещё неясного, но пречувствуемого события… Всякий чуткий человек угадывает по лицу и губам промелькнувшую мысль, непроизнесённое слово… А тот, кто достиг некоторых духовных высот, угадывает в другом его душу, его дар. Он видит ясно то, что на самом деле ещё смутно, он проявляет человека…

Анастасия Ивановна Цветаева – проявила меня. Укрепила мою веру в себя, дала мне увидеть идеальный образ самого себя – в момент, когда я больше всего в этом нуждался. В сущности, в этом-то и заключается чудо доброго, я бы сказал, страстного внимания, особенно характерного для Цветаевых, способных, внимая чему-то, очаровываться им, безмерно преувеличивать реальные достоинства предмета, возвышать, так сказать, поднимать над уровнем моря, уровнем обыденности… Откуда в немолодой женщине – такой почти детский восторг, такая непосредственность и свежесть восприятия? В Цветаевых – интенсивнейший цвет, свет и, брошенный на любой предмет, он преображает его, высвечивает в нём сокровенное.

Юра Коваленко, бывший гражданский лётчик, мой знакомый ещё по Кишинёву, писал мне бодрые письма, громко хвалил мои опусы и пророчил славное будущее. Будучи вхож в дом А.И.Ц., он показал ей мою единственную книгу «Миг», вышедшую в издательстве «Картя Молдовеняскэ» в 1975 году, и дал мой адрес. Я в ту пору пребывал в Одессе в полной безвестности, печатая на украинском языке статьи в молодёжной газете и читая лекции на заводах и в общежитиях. Даже здешнее сообщество начинающих и неофициальных литераторов – не проявило ко мне интереса, да я и сам не очень рвался к новым знакомствам, пребывая во внутреннем одиночестве в том мире, который я для себя выгородил… И вдруг – открытка, обыкновенная почтовая открытка, текст которой не уместился на отведённом для этого месте и перешёл на лицевую строну, окружив со всех сторон адрес, использовав каждый миллиметр свободного пространства, так что и сам адрес можно было обнаружить с трудом… Буквы всё уменьшались в размерах, покуда не стали по краям совсем бисерными. Почтовые работники, должно быть, до того изумились, что даже забыли шлёпнуть печатью по марке. Зато сама А.И. возле марки вывела циферки: 8.2.80. И ниже поставила цифру 2, так сказать, нумеруя страницы. Написанное меня оглушило.

«Дорогой Илья! Вы – замечательный поэт! *(подчеркнуто А.П.Ц.)* У меня на столе подарки знакомых поэтов – Горбовский, Парпара, Семененко, Грубиян, Захаров, Кобрин, – но восхищение вызывает только Рейдерман. Благодарю Бога за встречу с Юрой Коваленко. И хочется мне (нрзб) Вам только стихи Чижевского – учёного, загубленного в страшные годы, меня вернувшие, – а его вернули они только, чтобы погаснуть. Теперь его поднимают все области науки, ибо был, несомненно, гений, и кроме наук простёр свои руки и в живопись (импрессионист), и в Рифму и Ритм».

Далее она обещает найти стихи Чижевского, извиняясь, что недавно переехала в новую квартиру, не всё ещё разложено, но когда она найдёт стихи Чижевского, и я их прочту, я смогу «восхититься, мысленно пожав руку ушедшего». Сообщает, что ей 85, что она дружна с поэтом Евгением Винокуровым, написала статью к его пятидесятилетию в журнале «Юность». «Он прост, у него нет изысканности Вашей, но он должен Вас полюбить, ибо о себе говорит: „я – смысловик, признаю стихи только – смысловые“». Далее: «Илья, пришлите мне из ненапечатанных, постараюсь познакомить с ними поэтические отделы „Москвы“ и „Нового мира“, а м.б. и других. Вам надо шире печататься. Вот мои любимые из „Мига“ – Хлеб, Полжизни, Эхо света, Февраль безветрен, Когда приезжаешь, Рассекает, Танцы, Театр, (нрзб), Сны, В этом моцартовском, и (нрзб) из др. сб-ка (Юра унёс) Ночной поезд. И столько еще… Порадуйтесь со мой!». И в самом уголке этой странички я только сейчас разглядел аккуратное А.Ц.

На лицевой стороне открытки под цифрой 2: «Кроме Чижевского – стихов мне Вам – прочесть – нет, ибо лучше Ваших не знаю. Но из прозы, если не читали Распутина (Вал. Григ.) – очень советую». Спрашивает, как отношусь к Марине, какую прозу её читал. (А я читал буквально всё, что печаталось.) Говорит о «Корнях и плодах» в четвёртом номере «Звезды» за 1979 г. Спрашивает, член ли я Союза, могу ли приехать в Коктебель, в Москву, какова моя семья…

Что сказать? До сих пор не могу понять меры её восторга. Книга была не очень удачная, испорченная неизбежным компромиссом с советским издательством. Контрабандой вошедшие в неё стихи – были музыкальными, медитативными, философичными… О них вполне можно было сказать словами вождя пролетариата: «страшно далеки они от народа»… Должно быть, Анастасия Ивановна услышала в них нечто родное себе – отзвуки культуры серебряного века. Учась в Пермском университете, я рылся в богатых фондах библиотеки, выкапывал даже всякие «Чтецы-декламаторы», из которых переписывал стихи Зинаиды Гиппиус и юной Марины Цветаевой, не говоря уже о других. Мои друзья читали наизусть Гумилёва, боготворили Марину – и все вместе мы переписывали от руки чудом уцелевшую в библиотеке книгу Марины «Версты». Переписывали под копирку – чтобы каждому достался экземпляр. Я ясно ощущал свою «прописку» в поэзии серебряного века – и не слишком разделял всеобщее увлечение поэзий Евтушенко, да и Вознесенского. Если кто мне и нравился из тогдашних молодых, так только Ахмадулина. Можно сказать, что я был эстетом, – а это не слишком приветствовалось союзписательскими тюремными надзирателями. Поэтому все неоднократные старания А.И.Ц. как-то пристроить мои стихи – были обречены на неуспех. Помнится, попали они и в журнал «Москва», отделом поэзии которого, кажется, заведовал А. Парпара. Не упомню, где ещё они лежали… Но одно деяние А.И.Ц. помню очень хорошо: через знакомую редакторшу, с которой она работала над рукописью книги своих воспоминаний, – она добилась включения книги неизвестного поэта, даже не члена писательского союза, в план редакционной подготовки издательства «Советский писатель»! Правда, автор именовался Ильёй Рудиным – по моему журналистскому псевдониму, что пошло, по-видимому, от Юры Коваленко. Рукопись выдержала три рецензии, ни одна из них её не убила, в числе рецензентов были Лариса Васильева и Владимир Леонович, последнему я по сей день благодарен.

Убила рукопись перестройка – из издательства пришло предложение опубликовать кратенькую выжимку из книги в составе коллективного сборничка нескольких поэтов, я согласился, но предложил именовать себя Ильёй Рейдерманом… Остальное – молчание. До сих пор сомневаюсь: нужен ли России ещё один «русскоязычный» поэт с неблагозвучной фамилией?

Сохранились ещё две открытки, в точности похожие на первую, в одной она спрашивала, почему я не отвечаю (я был не слишком хорошо воспитанным молодым человеком), в другой извинялась, что пишет открытку, так как друзья не принесли конвертов… Были встречи с Анастасией Ивановной – и не одна. Встречалась с ней и моя жена Оля, будучи в Москве в 1982 году.

К сожалению, мемуарист из меня никудышный – нет памяти на детали, подробности, даты, слова, сказанные тогда-то и при таких-то обстоятельствах. Я воспринимаю жизнь как музыку – но разве можно музыку пересказать, от её остаются лишь впечатления… Впечатление от личности А.И.Ц. было огромным. Маленького роста, сутулящаяся, с плохим зрением – она поражала напором своей жизненной энергии, жадным интересом к жизни. В разговорах неизбежно возникало прошлое – но чувствовалось, что оно так и не превратилось в воспоминание, осталось живым… Много лет спустя я понял, что это замечательный дар благодарной и благородной памяти: не давать умереть всему, что жило, сохранить его энергию, витальность, его жажду сказаться и участвовать в нашем сегодня… Это подобно памяти о людях, нами любимых, – они для нас никогда не умирают, мы продолжаем разговор с ними, мы обращаемся к ним,

как бы вопрошая, как бы они отнеслись к тем или иным нашим сегодняшним событиям и поступкам. Они вросли в наше сознание, в нашу личность, в нашу душу…

Ещё одно качество, обратившее моё внимание, – отсутствие какой бы то ни было рисовки, ощущения своей значительности, но при этом абсолютное, несомненное чувство собственного достоинства. Как бы уже бессознательное, естественное. Потом я понял, что это и есть особенность людей серебряного века – выросших в условиях духовной свободы. Никакие последующие унижения, тюрьмы, лагеря – не смогли этого отменить.

Помню её квартиру на Б. Спасской, акварели Волошина на стенах. Небольшая комната, ощущение совершенно спартанского быта. Помню, как видел её на кухне, где она варила себе какую-то кашку, с виду не очень аппетитную. Вероятно, это была овсянка. И это потом как-то по иному осмыслилось, в душу запало, совпало с моей собственной житейской тактикой: человек живет вне быта – над бытом – поверх быта… Хотя я знал, конечно, что она ограничена в своих возможностях налаживания бытовой жизни, что ей помогают друзья… Как я потом узнал, и с деньгами у неё были особые отношения… Как раз такие, при которых денег в нужный момент в кошельке может и не оказаться. Вспомнились строки позднего Пастернака – о весенних птицах: «они в неубранном бору живут, как жить должны артисты. Я тоже с них пример беру».

Она дружила с Пастернаками. Однажды я попал вместе с ней на похороны Александра Пастернака. Туда мы ехали долго в такси – вместе с какой-то сопровождавшей А.И. женщиной. Кажется, Анастасия Ивановна (тогда ли, или в другой раз?) рассказывала мне о Пастернаках – восхищало, что между людьми вообще возможны такие отношения, что люди вообще могут быть такими! У гроба произносились речи, надолго запомнилось сказанное кем-то, кажется, литературоведом Тагером, что Александр Леонидович был человеком, который очень много требовал от себя – и ничего от других. Обратно Анастасию Ивановну везла внучка Бориса Пастернака.

Её рассказы – о себе, о Марине – я потом обнаружил в книге. Но важно, что именно вспоминалось, что невольно акцентировалось. Помню рассказ о Марине, которая произнесла чью-то фамилию так, что вышел итальянец – и восторгалась красотой фамилии и стоявшего за ней человека. А потом разочаровалась – оказывается, фамилия в правильном произношении звучала совершенно прозаично… Для меня тут открылась модель творческого поведения. Нет, не зря всё же Анастасия Ивановна меня приняла и поняла – я всей душой был истинный «цветаевец», я сам был готов очаровываться и восторгаться, преображая действительность так, чтобы она была «благозвучной», музыкальной, прекрасной…

В «Юности» я прочитал рассказы Анастасии Ивановны о её ссылке, неимоверных бытовых трудностях, строительстве дома, незаметном будничном героизме человеческого духа… Журнал прислала Анастасия Ивановна, на обложке было написано: И. Рейдерман, см. стр. 23. А на 23 странице было: С сердечным приветом. Илье Рейдерману – мои сибирские годы. А. Цветаева. 22.11.86.

Я написал об этих рассказах рецензию, которую опубликовали в ленинградском журнале «Аврора». Хорошо помню, что Анастасия Ивановна, поблагодарив меня, сказала, что ей нравится, как я пишу, и добавила: «Жду вашу прозу!». Прозаик из меня не вышел. Открытки, которые я от неё получал, непременно содержали в себе фразу: на таком-то году жизни. Увы, по-видимому, сохранились далеко не все… Но думая о датах, вдруг догадался, что благословение Анастасии Ивановны застало меня на тридцать третьем году жизни! В этом возрасте человек, пусть даже дотоле не реализовавший себя, должен ощутить себя «в силе», до конца осознать своё призвание.

В одном из писем Анастасии Ивановне я привёл евангельскую фразу «Бодрствуйте вместе со мной» и сказал, что мне смысл её очень дорог, и что сама А.И. для меня пример такого бодрствования духа. В ответ мне было сказано, что слово Бог следует писать с заглавной буквы. Увы, в школе меня учили иному. Но я, кажется, научился не только писать, но и мыслить о Боге «с большой буквы»…

Ещё один случай, связанный с Анастасией Ивановной, одновременно и печальный и забавный, не могу не вспомнить. Одесский журналист Евгений Голубовский написал Анастасии Ивановне письмо со своими вопросами и получил ответ, в котором было сказано: у Вас в Одессе живёт большой поэт Илья Рейдерман! Не пропустите! Взволнованный Голубовский прибежал ко мне и, сидя в комнате на Пушкинской, знакомился с моими рукописями, а может быть, и книжечкой… Полистав, он сказал явно иронически: «Большого поэта Рейдермана мы не пропустили». Что означало, конечно, полное неодобрение моего стихотворчества.

По сей день думаю, что тонкий ценитель всяческой одесской старины, в том числе и одесских поэтов былых времен, на сей раз ошибся. Всю жизнь бьюсь, чтобы доказать обратное. Кажется, только на седьмом десятке лет – обретаю полноту своего голоса. И счастлив, что за моей спиной – Анастасия Ивановна, как бы прикрывающая от злых ветров завистливого недружелюбия, непризнания, холодного безразличия. Сказавшая мне своим глуховатым, но внятным и добрым голосом: Вы – поэт! Да сбудется до конца ею сказанное…

Материал впервые опубликован в альманахе «Дерибасовская – Ришельевская» (№ 30), 2006 год.

«СЕТЧАТКА»

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

ВАЛЕНТИНА ВАСЮТИНСКАЯ-МАРКАДЕ
НЕИЗГЛАДИМЫЕ ВСТРЕЧИ

В продолжение предыдущей публикации (см. номер 41 за текущий, 2022 год) хочу познакомить вас с ещё несколькими рассказами и стихотворениями Валентины Васютинской-Маркаде.

Валентина Дмитриевна Васютинская (в замужестве Маркаде) родилась в Одессе, окончила гимназию в Чехословакии, а большую часть жизни прожила во Франции. Уже во Франции она стала одной из первых исследовательниц русского и украинского авангарда и приобрела в этом качестве широкую известность. Но ведь, кроме этого, она была автором целого ряда рассказов, а поощряла её в творчестве её близкая приятельница, великая Тэффи. Однако, за исключением небольшой повести «Каменный ангел» (журнал «Возрождение», № 207, 1969) и рассказа «Блаженная» («Новое русское слово», Нью-Йорк, 1952), ничего из её беллетристики опубликовано не было, так как после смерти Тэффи она полностью изменила сферу своих интересов, переключившись на историю искусства. Поэтому данная публикация четырёх её рассказов и двух стихотворений является первой.

О том, как тщательно она готовилась опубликовать свою прозу и поэзию и как этого желала, свидетельствует то, что она по многу раз перепечатывала и исправляла свои тексты. Все они собраны в рукописный сборник, которому сама она дала название «Неизгладимые встречи». Все тексты датированы 1950-52 годами и написаны в Париже и в Бордо, где она преподавала.

Я думаю, беллетристика Валентины Дмитриевны Маркаде вполне заслуживает того, чтобы быть изданной отдельной книжкой.

ВАЛЕНТИНА МАРКАДЕ

ДЕВКА
рассказ

Взбитая копна чёрных волос; белые, влажные зубы; наглый, в упор, взгляд круглых, как маслины, смеющихся глаз – вот какова погибель всех парней нашей улицы. Жила она на одном со мной «palier» маленького парижского отеля «A la belle etoile».

Ранним утром, смеясь и застёгивая на ходу множество пуговиц потёртого пальто, она убегала работать на фабрику ковров.

Вечером, возвратясь в урочное время, она распевала на весь дом модные песенки:

– *Elle a des yeux c'tst merveilleux!*

А по субботам, когда на соседней улице плясали до утра под гармошку слипшиеся пары завсегдатаев «bals musettes», она мчалась навстречу манящим огням разноцветных фонариков кафе «Au plaisir», оставляя за собой густые волны острого запаха недорогих духов.

Весёлая, бездушная, легко доступная, она обычно после танцульки щедро вознаграждала своего кавалера дешёвой любовью «без завтрашнего дня».

На утро, прощаясь на лестнице, смеясь и болтая, они расставались без тоски, упрёков, сожаления:

– Прощай, Жаклин, смотри не унывай!

– Ещё бы… я своего не упущу… Ха-ха… – и дверь с грохотом захлопывалась.

«Elle a des yeux,
C'est merveilleux!»

Но случилось так, что один из «cheri» не ушёл, остался всё воскресенье, понедельник, вторник…

По утрам они вместе стали убегать на работу; вместе возвращались домой, крепко держась за руки; вместе ели, гуляли, развлекались…

Жаклин незаметно изменилась: куда-то исчезли торчащие груди, непомерно высокие каблуки, звенящие серьги; она сама не верила своему счастью; задыхаясь от восторга, кричала из открытого окна через всю улицу своей подруге:

– Мы выходим вечером, а ты?

Но время шло. Вскоре её сызнова потянуло к беспутству, на улицу, в кабак. Песни смолкли, утих и смех. По субботам теперь слышался её бешеный визг и град звонких пощёчин…

В тёмных углах гостиницы зловеще зашушукались старухи-соседки:

– Чем только всё это кончится? Ай…ай…

Уже неизбежная развязка и разлука стояли, притаившись, у их дверей, а он всё ещё напрягал свои силы в надежде удержать её для себя – бледный, истерзанный часами маячил под окнами ковровой фабрики, почти насильно увлекая её после работы домой. Она тяготилась, скучала и рвалась от него прочь. В глухой борьбе проходили дни…

– *Ça va mal… Ça va mal…* – каркали вещуньи.

– Слыхали? – взволнованно окликнула меня наша консьержка. – Сегодня утром «cheri» Жаклины чуть не застрелился. Вторые сутки, как она исчезла… *C'est un monde de voir ça, quand même…*

Отель насторожился. От малейшего шороха на лестнице старые ведьмы приоткрывали щёлки в своих дверях. Наконец наступил вечер, в коридорах зажгли огни.

Разговоры, звонки прекратились, заглохло и хлопанье дверей; постепенно воцарилось безмолвие ночной поры.

Занятая срочным делом, я не вникала в кипевшие вокруг меня страсти. Но вдруг мне стало непереносимо жутко, ясно почудилось в ночном затишье присутствие вошедшей смерти…

Не колеблясь ни минуты, я прямо спустилась в контору:

– Поднимитесь сейчас же к Жаклин! Там что-то случилось…

– А вам-то что за дело? Дайте людям хоть умереть спокойно! – недовольно буркнула консьержка. Ей явно не хотелось вмешиваться.

– Я не уйду отсюда, пока вы не поднимете наверх! – оборвала я неуместную шутку.

– Только русским такая ерунда приходит в голову! – злобно ворчала она, нехотя выбираясь на первый этаж; а через минуту на её отчаянные вопли уже бежали со всех сторон всполошившиеся жильцы.

– Живей, живей… зовите скорую помощь… Этот скотина покончил с собой…

Под окнами раздался тревожный гудок – пожарная команда, карета скорой помощи, дежурный врач, кислород, искусственное дыхание, промывание желудка…

Только на рассвете из дома вынесли узкие носилки. Толпа в ужасе расступилась; на толстом рядне изпод покрывала торчала неестественно задранная кверху голова и по-гусиному вытянутая шея с огромным кадыком; от каждого толчка всё щуплое тело корчила судорога икоты…

– И такой молодой, Господи, совсем дитя… – скорбели пожилые женщины, быть может, печалясь о своих сыновьях.

А в пустой, тёмной, как могильная яма, каморке, освещённой брезжущим светом улицы, валялся на полу обрывок измазанной кровью записки:

«Соловушка, родной мой, воротись! Я больше не могу! Жду до семи, если не придёшь, прикончу себя, чтобы не страд…», – и клочок обрывался, как оборвался и никем не услышанный его последний призыв.

В кафе «Au plaisir», кружась всю ночь напролёт в похотливом танце, Жаклин бесстыдно предлагала себя новому избраннику…

20/8 – 50.
Париж.

ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ
рассказ

Посвящено профессору П.К. Паскалю[1]

К Рождественским праздникам скопилось много работы, спешно понадобилась помощница. Соседка-француженка посоветовала обратиться в монастырский приют для увечных детей: аккуратно работают, выполняют к сроку и недорого берут.

На звонок мне ответила старуха-монахиня:

– Как же, как же, пожалуйте! У нас ручным трудом заведует сестра Каролина. Пройдите, пожалуйста, в главное здание – я дам ей знать по телефону.

Трудно было поверить, что только тонкая стена отделяла шум торговой улицы от мира тишины монастырской обители. Всюду царила образцовая чистота; на стенах приёмной – портреты Папы, кардиналов, на столах букеты цветов.

За моей спиной послышались торопливые шаги. Я обернулась – дверях, приветливо улыбаясь, стояла совсем молодая монахиня, редкой красоты; она, как и все сёстры ордена, не была француженкой. Мы быстро сговорились об условиях.

– Мне остаётся только познакомить вас с нашей лучшей мастерицей. Однако предупреждаю вас: живущие здесь дети – уроды. Не выкажите как-нибудь вашего испуга – это их страшно обижает.

– Почему вы отказываете мне, сестра, в наличии простой чуткости?

– Нет, не то; наученная горьким опытом, я, к сожалению, вынуждена так поступать.

Моя помощница не замедлила явиться. Это была маленькая двугорбая девочка, с огромной головой на короткой шее; тощие руки висели ниже колен, одна нога короче другой, но страшнее всего было лицо: сильно выдающаяся нижняя челюсть, верхняя перехвачена заячьей губой; глаза же, как две перевёрнутые кверху дном чашки, торчали из орбит в разные стороны…

Это несчастное существо походило скорее на паука громадных размеров, чем на человека; но работницей она оказалась превосходной, и наши взаимоотношения вполне наладились.

Я часто приносила и забирала готовую работу; в монастыре ко мне привыкли.

Сама настоятельница нередко заходила в гостиную поболтать о тяготах повседневной жизни. Время было нелёгкое, послевоенное.

Эта пожилая женщина, с пергаментно-бледным, властным лицом, с первого же взгляда напоминала старинные картины испанских художников. Сестра Каролина, видимо, была её любимицей. Личное обаяние и ослепительная красота последней безотчётно влекли к себе. Я не могла понять её пострига.

– Скажите, сестра Каролина, – спросила я её однажды, – как вы не побоялись такой молодой стать монахиней?

– Ещё до моего рождения мать обещала меня Богу, – спокойно ответила она.

– И вы не тоскуете вдали от родных?

– Нет, я совсем отвыкла от мирской жизни и даже, когда бываю дома, тревога за этих калек не покидает меня. На моих руках до пятидесяти детей. Мадлен, ваша помощница, одна из лучших. Она сама ходит и может хорошо работать. А ведь есть совсем увечные, на костылях или постоянно прикованные к своим тележкам.

– Неужели нельзя попытаться излечить их? – воспользовавшись тем, что мы были одни, спросила я её.

– Конечно, что вы! У нас здесь есть и врач, и свой лазарет, но операции чрезвычайно мучительные, а результаты ничтожны. Это же последствия тяжёлой наследственности. Разве вы не видите, они и умственно отсталые, недоразвитые, не могущие осознать степени своего уродства… Но я то прекрасно знаю, до какой степени именно я здесь необходима, ведь это моё подлинное призвание, а не тяжёлая обуза, – с глубоким чувством закончила она и быстро поднялась уходить. – Извините, мне пора; нужно в баню вести мою детвору.

Она дружески протянула руку; бархатные, искристые глаза засветились при этом тёплой лаской.

Возвращаясь домой, я мысленно себя ругала – и зачем я её напрасно смущаю своими расспросами? Она довольна, занята полезным делом, спокойна и весела. Чего ещё нужно? Будто в миру нам лучше или легче живётся?..

Да многих ли я знаю, кто был бы так удовлетворён своей судьбой, как она? И что ждало бы её в миру? Пьяница муж, или незаконнорождённый младенец, и на всю жизнь гнетущая тоска, мученье, нужда? По крайней мере тут, в тиши, без этих страшных жизненных бурь, она донесёт свою прелесть и свежесть до самого конца своих дней…

Перед Пасхальными каникулами я снова зашла в монастырь забрать готовую работу. Привратница встретила меня приветливо, как старую знакомую, и попросила пройти в часовню, в которой шла церковная служба.

Белые накрахмаленные наколки монахинь стройными рядами красовались по всей церкви. Позади всех стояла настоятельница. Приютские дети сидели на передних скамьях, у алтаря; рядом с ними я узнала хрупкую фигурку сестры Каролины.

Обедня кончилась, заиграл жиденький орган; монахини, закрыв молитвенники, стали, одна за другой, подходить к святой воде. Сестра Каролина, выстроив своих питомцев попарно, тоже вместе с ними направилась к выходу. В это время из двери за алтарём вышел окончивший службу молодой священник и уверенной поступью пересёк храм.

Так некогда в здании сената шествовали, наверное, римские патриции – гордые, непреклонные, с правильными, прямыми чертами лица, со сжатой складкой тонких губ…

Проходя мимо сестры Каролины, он обдал её взглядом такой непреодолимой любви и сочувствия, полного ласки, что её полуопущенные ресницы задрожали, как крылья мотылька, она вся вспыхнула и бессильно поникла головой…

Нежный профиль, под белой будочкой крылатки, низко склонился, словно надломленная чашечка девственной лилии…

Полсекунды, не больше, и священник скрылся за дверью. Но этого было довольно. С уже непередаваемым злорадством, со всех сторон, впились в несчастную сестру Каролину жестокие буравчики злых глаз, и всех страшнее была Мадлен; открытой завистью и дикой злобой горели её безобразные черты.

Настоятельница, сощурившись, сделала вид, что не заметила всей сцены. Ещё несколько мгновений, и можно было подумать, что ничего недоброго и не происходило.

Смиренно приседая у раковины со святой водой, все, наконец, покинули Божий дом.

В следующий раз, придя за работой, я с грустью узнала о тяжёлой болезни сестры Каролины. Мои попытки навестить её успехом не увенчались; их очень вежливо, но бесповоротно отклонили.

Однако сестра Каролина вскоре всё же поднялась, и нам ещё суждено было встретиться, хотя с глазу на глаз нас больше уже не оставили, и было видно, что её вообще держали под строжайшим надзором. По недоброй улыбке, блуждавшей на губах Мадлен, я поняла, что всё это разыгралось не без её участья.

Сестра Каролина похудела, осунулась, смирилась и… потухла. Тихим голосом простясь со мной, она сказала, что ввиду болезни её переводят в Италию, в более мягкий, умеренный климат.

Но чего стоило ей покориться подобному решению, я даже не могла себе представить. Одним ударом отняли у неё весь пламень души; передо мной теперь была лишь оболочка живого прежде человека. Наверное, её стращали и смертным грехом, и отлучением, и вечным осуждением… Бедняжка! Мы молча обнялись и расстались навсегда.

Между тем, мне ещё раз пришлось побывать в монастыре, на благотворительном базаре. Ни сестры Каролины, ни прежней настоятельницы уже там не было. Новые люди, новые порядки! Грустно было в знакомой обстановке без привычных лиц. Дети стояли у столов со всякого рода ручными изделиями.

Тут же торчала и Мадлен; прифранченная, в белом воротничке, она изо всех сил вцепилась своими длинными руками в край подоконника и неотрывно смотрела в окно, никого вокруг себя не замечая. Следом за ней я повернула голову к окну.

Там, по тропинке, заложив руки за спину, шёл от церкви к воротам, высоко неся свою античную голову, молодой священник. И столько ненависти и презрения выражал весь его облик, что, глядя на него, мной овладело гнетущее уныние, и я поспешила как можно скорее уйти домой.

Прощаясь с привратницей-старушкой, я спросила про сестру Каролину.

– *Soeur Caroline*? – вначале даже испугалась моего вопроса она, но потом слащаво запела: «Très, très bien, elle se porte à merveille, et est très heureuse là-bas».

Я спросила и о настоятельнице. Она слово в слово повторила то же самое, и «счастлива очень», и «чувствует себя превосходно», – и вдруг, будто вскользь, добавила:

– Она в Бельгии, но племянник её, он по-прежнему здесь…

– ?

– А разве вы не знали? Да, наш священник.

Смешалась, умолкла…

И в этом – «разве вы не знали» – была вся разгадка.

Так вот на чём сыграли враги настоятельницы – подкопались, донесли. И всемогущие законники беспощадно расправились с ней, невзирая на преклонный возраст и почтенный сан.

Делая вид, что лечат неизлечимых уродов, на самом деле калечили лучших, благородных!

Во имя Божие служили сатане.

Когда борьба немыслима, остаётся одно – покориться…

Но более сильный не есть правый!

Тут-то, несомненно, была права ни в чём не повинная и намеренно оклеветанная сестра Каролина, принуждённая покориться вероломной жестокости карающего властолюбия.

28/8 – 50.
Париж

MEMENTO MORI

Ответ Дисским,
друзьям моим
рассказ

Капля камень долбит,
Стирается перстень с годами.
«Письма», Овидий

– Вьётся над бездной крутая дорога, покрытая славою римских когорт; её крепости, башни, мосты, бастионы целы и поныне во многих краях…

Вот сводчатый каменный мост, разрушенный «forum», бьющий бессменно фонтан…

Тонкая струйка живительной влаги, лаская камень, течёт без конца… От прежде утёкшей лишь сточенный жёлоб остался, а ту, что течёт, не замедлишь ничем, – как в вечно несущемся жизни потоке, – ничем не воротишь минувшего дня.

Журчит, убегая, вода…

Кругом тишина… Доносится издали шёпот прибоя и старый заигранный вальс.

По склону утёса гнездятся ажурные арки развалин прекрасного некогда замка. Вдоль узких, тенистых проулков взбираюсь на главную вышку. Там, сидя на пыльных ступенях, нищий старик скрипит на гармонике вальс… Из полых отверстий корявых бойниц любуюсь морской синевой.

Какая щемящая грусть в волшебной истоме уснувшего дня! Солнца косые лучи, лёгкою дымкой вечерней прохлады, мягко ложатся в расщелины скал; вкрадчиво стелятся тени седые по обочинам горных уступов; а под густою листвою роится, кружась, мошкара. Летучая мышь, просыпаясь, тихонько уже расправляет затёкшие крылья свои…

– День кончен. Сколько прошло их, и сколько пройдёт?

Кто побывал здесь, на башне старинной, бесстрашно бросая свой вызов судьбе?

Быть может, сам Цезарь когда-то тут делал привал, наблюдая далёкую Галлию?

В ночной темноте ярко пылали костры лагерей; гул войска, бряцанье кованых лат, рокот бегущих валов, как хмелем, бодрили отважное сердце вождя…

Быть может, именно здесь, направляясь из милой Лютеции, юный Отступник-Юлиан думал мятежную думу, под щебет цикад, в душистых сумерках юга? Он дерзко смотрел в бесконечную даль, ожидая с тревогой знамений неба…

Где Рима гремевшая мощь?.. Где роскошь и блеск Византии? Всё кануло в вечность – прошло… Следов не найти от бурлящих прежде страстей…

Теперь на вершине нас двое: я, дочь Скифии далёкой, и житель Прованса, старик-музыкант. Мы тоже с тобой – мимолётные гости.

– Уж не её ли ты ждёшь, с опаской косясь за крутой поворот ступеней?

Не жмись за уступом, не прячься – тут выбора нет, придёт твоя Дама, не бойся; она не обманет… Косматая, в царственной мантии, с косой наголо, пропляшет, под вой заунывного ветра, последнюю пляску, крепко сжимая тебя в косматых объятьях своих…

– А мой путь? Как долог?

За годы изгнания ведь вырыто много уж русских могил; всюду белеют кресты одиноко, лишённых отчизны, бездомных сирот… Сколько их пало под тяжестью рока, приняв на чужбине свой скорбный конец?..

Хотя нет здесь гонений, ни пыток, ни казней – но как безотраден наш жребий скитанья в мелочах будней суровой судьбы: сирая бедность, бесправье, лишенья…

Даже в часы сновидений не знает забвенья чужак.

4/8 – 51.

СВЕТ ВО ТЬМЕ
рассказ

Dédié au Docteur
Michel GAULIER[2]

В страшных мучениях умирала от уремии моя крёстная мать.

В маленькой комнате убежища для престарелых, где она доживала свой век, всё было пропитано её кропотливыми стараниями.

Ещё утром она сама встала, попросила испечь ко дню её Ангела сдобный пирог, рассматривала замысловатый узор новой вязки, выпила кофе и задремала – а очень скоро встрепенулась, открыла глаза, и, уже никого не узнавая, обвела всю комнату потускневшим взглядом.

– Горячего, горячего, горячего, – попросила со стоном, но всё подносимое с негодованием отстраняла дрожащей рукой.

– Горячего, горячего…

Начались позывы рвоты, ей подали таз, и она сразу успокоилась.

В ничтожный промежуток времени сознание совсем замутилось, отнялся язык, редкие стоны терзали её умирающую душу; но бороться с болезнью было уже невозможно. Через час началось полное забытьё. С каждой минутой на её лицо ложились всё новые отпечатки смерти – виски провалились, почернела кожа, слипшиеся волосы были мокры от пота… Зловонное дыхание стало пропитывать воздух, а сердце продолжало биться, страшно, ужасно, как будто силясь вырваться наружу; грудь вздымалась, колышась под тонкой тканью ночной рубахи.

Судьба лишила эту жизнь счастья, спокойствия, семьи. Болезнь и нужда были постоянными спутниками её последних лет. Раньше, там, у себя дома – даже страшно подумать – до чего это была завидная доля, кипучая, полная непрерывного труда: управление громадным имением отца, своё собственное образцовое хозяйство, опека над малолетними сёстрами и братьями…

А теперь?

Мы беспомощно стояли у её изголовья, и возле нас – жившие в общежитии – её приятельница, вдова генерала, и старичок-полковник; при свете зажжённой свечи священник-духовник проникновенно читал отходную…

Поздно ночью пришёл доктор; наклонился, проверил пульс, провёл рукой по её волосам, молча сделал обычный укол и тихо спросил: *comment allez-vous, Vademoiselle?* Больная задержала тяжёлое дыхание, но лежала неподвижно. Последовал всё тот же вопрос тоном такого участия и любви, что уже не понимая самих слов, она всё же почувствовала силу их сострадания и приоткрыла глаза, глядя на него с мольбой.

– *Au revoir, Mademoiselle, je reviendrai demain.*

Глаза снова закрылись и уже не открылись никогда. Но смерть наступила не скоро. Каждый вечер, неизменно, приходил доктор: щупал пульс, гладил голову, делал укол.

– *Au revoir, Mademoiselle, je reviendrai demain,* – уходя, говорил он ей на прощанье.

Однажды, придя, как обычно, поздно ночью, он грустно вздохнул: «Уже осталось не больше двух часов…», – и, ни на кого не глядя, быстро спустился по лестнице.

Больная, не приходя в сознание, к утру скончалась. На другой день вечером доктор зашёл опять. Зашёл, постоял у тела, долго, долго смотрел и вышел.

Так приходил он каждый вечер, пока тело не было ещё погребено; видно, не захотел изменить своей бедной бесплатной больной, которую пользовал ровно четыре года, зная с первого же дня, что она больная тяжело и неизлечимо.

Этот удивительный человек бескорыстно навещал её зиму и лето; в страшную стужу и непереносимый зной – усталый, голодный, нередко освобождаясь лишь к часу ночи – но приходил, приходил, принося всегда одинокому старому сердцу надежду и жизнь. И жизнь, поддерживаемая им так долго, наконец, оборвалась и угасла…

Но возникшая между ними близость ещё не прервалась, и, верный до гроба своему долгу, врач, как всегда, бережно склонялся, хотя уже и над бездыханным телом: – *Au revoir, Mademoiselle, je reviendrai demain.*

19/8 1950
Париж.

КАЗАЧКА

Страсть как неохота спорить с дураками!
Пусть себе дерутся вволю кулаками,
Пусть хоть все стаканы бьют да куролесят,
Лишь бы дали, черти, мне бельё развесить…

Лишь бы без помехи починить рубахи,
Вымыть половицы, просушить папахи,
А затем, примерно, лечь на боковую,
Да поднять на печке храп напропалую.

1.XI.52
Бордо

ЗАБОТЫ

Маме

Завяжу я узелочек на батистовый платочек,
Чтобы не забыть:
В старом доме, на балконе, окна перемыть.

Завяжу я узелочек на батистовый платочек,
Чтобы не забыть:
Против моли в антресолях шубы перебить.

Завяжу-ка узелочек и на третий уголочек,
Чтобы не забыть:
У прудочка этой ночкой парень засвистит…

Завяжу-ка узелочек на последний уголочек,
Чтобы не забыть:
Ранним утром барин, в кухне, может позвонить!

30 X 52
Бордо

---

[1] Пьер Паскаль (Пётр Карлович Паскаль) – французский филолог-славист, преподаватель, историк, создатель французской школы славистов-русистов. Кавалер ордена Почётного легиона. Валентина Маркаде после развода с первым мужем, Борисом Павловичем Алимовым, вернулась жить к матери и в 1947-50 годах учится в Школе восточных языков у доктора Паскаля. Успешно сдав выпускные экзамены, она получает место ассистента преподавателя русского языка в Бордо.
[2] Мишель Голье – доктор, кавалер ордена Почётного легиона, мэр французского города Невер.

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

СОН ВНУТРИ ЯВИ

(Сергей Сумин, Белое сердце зимы. – Тольятти, Самиздат, 2022. – 24 с.)

Новая книга Сергея Сумина – помещённая в объём двадцати четырёх страниц история человеческой жизни. Минимализм здесь присутствует во всём – от системы образов до языковых средств. Персонажей только два – лирический герой автора и снег. Художественное пространство ограничивается лаконичной картиной: человек, идущий из дома, попадающий в снегопад и обретающий новый дом – *«у дороги небесной»*.

Основной сюжет – движение от небытия к небытию. В первозданной немоте мы пребываем до момента рождения и в неё уходим после смерти:

хлопья летят отовсюду
но всё-таки ещё можно
узнать себя в этом белом поле
обрести форму
стать чистотой
застыть

Снегопад присутствует в каждом стихотворении – это центральный образ книги, образующий ключевую антитезу: снег, олицетворяющий смерть, забвение, состояние небытия противопоставлен человеческим иллюзиям и мечтам. *«Всё в этом мире вечно, кроме нас, и после нас остаётся великая немота»*, – такова логика авторской мысли.

Стоит отметить, что в общую концепцию книги очень удачно вписываются иллюстрации Сергея Сумина на обложке и к двум разделам. Графический стиль, лаконичный и абстрактный, в полной мере соответствует образному ряду и философскому содержанию стихов сборника.

Художественный мир Сумина вырастает из языческой мифологии и европейской культуры. Посвящение Туру Ульвену, выдающемуся норвежскому поэту, не случайно – принципы его сюрреалистического художественного мышления, тяготеющего к аллюзиям и умалчиванию, задают общий тон книги. Заимствуются и две главные темы знаменитого верлибриста – жизнь, приходящая в упадок, и кратковременность человека. Сюжетно всё почти укладывается в формулу Пастернака: *«<…>снег идёт, и всё в смятеньи: убелённый пешеход, удивленные растенья, перекрестка поворот»*. Есть и снег, и пешеход, и перекрёсток – нет только смятенья. Калейдоскопически мелькающие картинки заменены неторопливыми кадрами киноленты, потому что мир и происходящее в нём оцениваются взглядом созерцателя.

Чёткое осознание конечности человеческого бытия и попытка примирения с этой истиной – главное, что роднит поэзию Сумина и Ульвена. Название книги тольяттинского поэта – «Белое сердце зимы» – даёт почти телесное ощущение полости внутри герметически замкнутого объекта. Человек, испытывающий экзистенциальный страх смерти, вначале ощущает дистанцию между собой и снегом, потом оказывается внутри него и, в конечном итоге, сам преобразуется в снег, становится частью первобытной немоты – исходной формы мироздания:

полог февральского неба
державный марш тишины
этот снег
это – мы
но мы немы
во время зимы

Здесь Сумин продолжает развивать тему, начатую в предыдущей книге «Письмена листвы»: постичь мир можно только с помощью созерцания, уничтожающего дистанцию между объектами – частями неделимого пространства. Осознавая себя как нечто стихийное, природное, человек выходит за пределы смерти, продлеваясь в каждом явлении.

Этой великой метаморфозе посвящена вся книга, композиционно и сюжетно задуманная как путь, великий переход. Логика поступательного движения отражается в названиях трёх разделов: «От осени к долгой зиме» – «Переход» – «Приближение к Ульвену».

Центральная часть – «Переход» – аллегория жизни, начинающейся с беззвучия и кончающейся им же. Это то, что выходит за границы рождения и смерти, наша единая со всем миром, бессмертная субстанция:

снег беззвучен
свет незрим
я невидим
недвижим
<…>
ночь, земля
осадки, лес
весь я здесь
я здесь исчез

Путь у Сумина – ещё и движение речемысли, эволюционирующей из развёрнутого высказывания в довербальную, стихийную форму языка. Этот принцип подчёркивается сменой акцентного и силлаботонического стиха афористическими одностишиями в третьем разделе книги. Здесь нет ни морали, ни умозаключений: только чистая идея, освобождённое от всего наносного эфирное вещество поэзии:

***
Тишь, плывущая над миром. Почти мёртвым.

***
Одиночество Вселенной. Взгляд с высоты потустороннего.

***
Мы не останемся здесь надолго. Да и само это «здесь», конечно, не навсегда.

***
Уход. Безмолвное прощание. Растворение в безличном.

***
Кто-то войдёт в лес. Кто-то выйдет из него через 50 лет. Это будешь уже не ты.

***
Методичное качание ветки ели на зимнем ветру. Оно бесконечно.

Иллюзорность, созерцательность, умолчание – три кита, на которых держится поэзия Сумина и Тура Ульвена. «Белое сердце зимы» – нескончаемый диалог двух авторов, близких по духу и художественному воплощению идей. В этих стихах немного цветовых оттенков – по сути, один только белый. Но аскетическая строгость образного ряда, повторяемость сквозных мотивов создают ощущение чего-то ускользающего, призрачного, напоминающего «сон внутри яви». Это и есть наша жизнь, которая, по сути, состоит только из трёх вещей – человек, дом и дорога:

мой дом у белой дороги
сад за окном
как сон внутри яви
как свет в черноте дня
бездумна дрема моя
я стою на дороге у дома
дорога бездонна
дорога прихотлива
она убегает в никуда…

СИНДРОМ АФРОДИТЫ

(Алёна Овсянникова, Медленное солнце: стихотворения. – Волгоград: Перископ-Волга, 2022. – 92 с.)

Название новой книги Алёны Овсянниковой – «Медленное солнце» – отражает не только особенность авторской интонации, но и специфику сюжетно-композиционного выстраивания художественного материала.

Автор не сразу, а постепенно вовлекает читателя в свой замысел. Любое стихотворение – движущаяся картинка, постепенно дополняемая новыми и новыми деталями. Его воспринимаешь не на уровне текста, а всеми органами чувств. Взмах кисти – и возник образ. Ещё взмах – он обрёл реальные очертания, живую плоть. Следующий, потом ещё и ещё – мир наполнился красками, звуками, запахами. Иногда эти краски и звуки приглушённые, иногда – кричаще яркие, манящие экзотичностью и причудливой красотой. Читатель не успевает опомниться – и он уже внутри картинки: посреди полуденного зноя, на галечном пляже, с бокалом холодного мартини в руках, или где-нибудь на площади в Палермо или Мадриде – в роли наблюдателя страстного танца, исполняемого молодой влюблённой парой.

Механизм запускается, мир начинает вспыхивать всеми красками радуги, и мы молодеем вместе с автором – конечно же, очень юным. Потому что подобная, чувственно-телесная, радость жизни свойственна только молодости. Все ощущения, равно как и органы чувств, становятся обострёнными. И мы покидаем пространство текста, как будто посмотрев короткометражку, где сами же были в главной роли. Кстати, «Короткометражка» – название одного из стихотворений Алёны Овсянниковой. Это прямая демонстрация избранного автором метода художественного изображения:

<…> Жаркой полночью, в пору любовных схваток и чёрных месс,
Сердце рвётся в галоп, и мурашек стада по коже.
Отступающей армией сладость истомы бежит из мест,
По которым струится вода… Да и пальцы тоже.
Жаркой полночью воображение раскаляется докрасна,
До шлепков, поцелуев, царапин или укусов,
И в постели она долго правит сценарий сна,
Как неопытный выпускник режиссерских курсов <…>.

Чувственно-осязаемый мир (*мурашки по коже, сладость истомы*) сменяется зрительными образами (*раскалённое докрасна воображение*) и на пике катарсиса обретает звук (*шлепки и поцелуи*). На читателя обрушивается «паводок стиха», «тропический ливень» авторской экспрессии. «*Негаданность, нежданность, несказанность*» – три эмоциональных ключа к художественному миру Алёны Овсянниковой.

Поэт Михаил Тенников, размышляя о книге «Медленное солнце», тоже пользуется магией числа *три*. Три кита, на которых для него выстраивается авторская поэтика – *«пластика, экспрессия и классика»*. Кажется, что у этих трёх китов греко-римское происхождение. Во всяком случае, ощущается географическая привязка стихов Алёны Овсянниковой именно к этому культурному региону. Привязка не столько книжная, сколько интуитивно-подсознательная, объясняемая особенностями темперамента.

Обилие латинизмов, библеизмов, иностранные заголовки – всё это можно было бы объяснить новомодными веяниями и весьма распространенной тенденцией к «смешению французского с нижегородским». Но экзотический образный ряд и названия разделов – «Эвтерпа», «Камилла», «Экспрессионизм» – не случайны. Они определяют концептуально-смысловое поле текстов.

И снова на ум приходит Греция. Из истории мы знаем, что эолийский мелос, самое продуктивное направление древнегреческой лирики, развивался преимущественно на острове Лесбос, название которого стало производным для обозначения нетрадиционной женской любви. Во многом этому способствовала легендарная Сапфо. Её знаменитое стихотворение *«богу равным кажется мне»* – своего рода гимн запретному влечению и ничем не сдерживаемой сексуальности. *«Потом жарким я обливаюсь, дрожью члены все охвачены, зеленее становлюсь травы, и вот-вот как будто с жизнью прощусь я»*, – все исследователи сходятся на том, что эти строки посвящены отнюдь не мужчине, а одной из учениц легендарной поэтессы.

Не беру на себя смелость сравнивать Овсянникову и Сапфо, но прямая перекличка их творчества содержится, например, в этих строках:

<…> Пальмы, улочки, старый пирс,
Сердце вписано в знаки реасе.
Ярче яркого, ближе близкого.
Губы с ломаного английского
На ключицу и на плечо,
И умело, и горячо…

Ты отчаянна, я нежна,
Я забыть бы тебя должна,
Отойти, как от края острого,
Нет ни солнца давно, ни острова…

Солнце, остров, старый пирс – случайно ли это? Видимо, дело в том, что свободно выражающий себя эротизм легко представить в экзотическом природном контексте. Да и поэтический инструментарий Алёны как будто лишний раз подчёркивает естественную медлительность чувства, которое, при всей его экспрессии, следует смаковать и переживать в текущем моменте времени. Обилие анжамбеманов, речевые повторы, составная рифма передают состояние плавного и почти ускользающего движения времени в момент катарсиса.

А остров – может быть, тот самый? Впрочем, у автора есть ответ на этот вопрос. Это мистический остров Афродиты – где-то там, далеко на Кипре, под палящим солнцем, в окружении моря и пальм. Лирическая героиня Овсянниковой, со своей тягой к незаурядной жизни и чувствам на пике катарсиса, неизлечимо больна синдромом древнегреческой богини, и подлинная её родина именно там, а не в дождливой Самаре. Если стихи являются отражением души – значит, с этого приветливого солнечного острова Алёна никогда и не уезжала:

…Здесь всё прекрасно… Голуби-бандиты
Бросаются на крошки, как в любом
Краю земли, и кепка надо лбом,
И в сизой дымке остров Афродиты
Не виден, но вполне осознаваем,
И есть октябрь вперемешку с маем,
Закат, форель, коктейли и ризотто…
Неясность временного горизонта
И опийный рассеянный покой
Снимаются, однако, как рукой,
Наличием обратного билета
Из лета. <…>

ЗЕМЛЯ БЕЗ ПОСАДКИ И ДНА

(Николай Васильев, Нефть звенит ключами. – М.: «Стеклограф», 2020. – 74 с.)

Если поэзия – это метаязык, то Николай Васильев, автор книги «Нефть звенит ключами», владеет им в совершенстве. Здесь читатель не найдёт прямого ответа ни на один вопрос и обречён будет плыть по волнам «высокого косноязычия», как выразился Борис Кутенков.

Поэт и критик Наталия Черных в предисловии к сборнику Васильева объясняет смысловую труднопроходимость его стихов тем, что *«…фраза попала остриём в облако и искать её земное значение уже бессмысленно»*. Сказано довольно метко – особенно если учесть, что главное, почти на ультразвуковой волне улавливаемое настроение этой необычной книги – попытка уйти за пределы, в сферу, где движение разума и духа ничем не ограничены. Нарочито ломающийся грамматический строй языка, спонтанность речи, обилие неологизмов – весь этот инструментарий призван не облегчить задачу при прочтении, а, напротив, создать эффект остранённости. «Припадочная глубь», «черноглазая трещина», «контуженный снег», «подветренное сердце», «изпочемучен», «безднадёга» – вот лишь некоторые необычные слова и эпитеты, на фундаменте которых строится альтернативное мироздание автора. Временами оно пугает, отталкивает своей непостижимостью и отсутствием каких бы то ни было краёв и признаков заземления. Это чёрный космос, прорываемый сквозь толщу очевидного, наносного, метафизический уровень бытия, где жизнь – всего лишь *«посуда для дальней земли»*:

окружающий живьём,
чуть задумайся под бездной –
мы ведь в космосе живём,
говоря черно и честно

Бездна, в которой так неожиданно угадывается тютчевский «родимый хаос», во многом объясняет и логику названия книги. Нефть, звенящая у автора «серебром ключевым» – образ антиномичный. Жидкая среда в сочетании с твёрдым веществом – некое подобие философского камня. Его текстура и состав остаются знанием из области мифологии, связанным с поиском гармонии и бессмертия.

Также сама собой напрашивается ассоциация с водой: нефть выходит на поверхность из скважины подобно роднику, бьющему из-под земли. Отличие только в том, что источник тёмный. Нащупать в этой темноте свет, вывести его на поверхность, преобразуя внутреннее во внешнее – вектор направленности авторской мысли. Но и свет всё равно остаётся непроходимым, кромешным. У лирического героя Васильева своя личная система координат. В ней всё сложно и многоуровнево: у «предвечных волн» есть своё небо и дно, равно как и у небес есть своя земля, а у земли – своё небо:

предвечных волн совсем черна вода
и до сих пор то небо их, то дно их
плевком, как мать, умыть и оправдать
не против беспредельное родное

Это царство безгранично проходимых ярусов со своим нифльгеймом, муспельсгеймом и асгардом создано как будто для того, чтобы доказать – в мире нет и не может быть никакой опоры и никакого конечного пункта назначения. Единственно возможный итог – бесконечно протяжённая галактика. И в какой-то момент становится жутко – как тонущему в море и не видящему берегов. Но постепенно на помощь приходят еле заметные островки знакомых культурных кодов – у автора, несмотря на всю его инаковость, они тоже есть. Зашифрованные в неочевидном контексте «Пророк» Пушкина, «Диканька» Гоголя, «Сокровенный человек» Платонова – ориентиры если не заземляющие, то отчасти просветляющие художественное пространство книги, приоткрывающие завесу над личностью автора:

весна доконает осенний надлом,
и сломано всё целиком –
на стрёмную улицу выйди в бездом,
иди проповедуй с захлопнутым ртом
и сам себя жаль за двоих языком

Это уже не о великом классике русской литературы, призванном «глаголом жечь сердца людей» – это о самом авторе, гораздо менее везучем. Его моря и земли заменены бездомом, его язык губителен для него самого – другим же он просто недоступен. Всё в этом дельфиньем ультразвуковом строе предназначено для исполнения на других частотах, но кто способен их услышать? Поэтому *«редкой птице нет пути назад над серединой мутного закона»*. Бесприютность и бездомность – ведущие составляющие лирического настроения Васильева, но это осознанный выбор. «В мире мер» творцу места нет, и нефть начинает звенеть серебром начала столетия – голосами поэтов русской эмиграции. «*Я безроден при родине и без вины виновен*» – признаётся лирический герой книги, и в этом признании отчётливо слышится цветаевское *«всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст»*.

Традиция затруднённой речи и непрямого высказывания при размытости границ самого лирического героя – ещё не признак отсутствия связи с читателем. Она есть – просто её требуется наладить, совершив определённое интеллектуальное и духовное усилие. Тогда бездна начинает приобретать знакомые очертания – сквозь неё проступает глубоко личная история и судьба:

всё равно что у моря погоды и хлеба просить поперёк земли,
на которой я вроде бы жив меж столиц, разноправных и разнобылых –
всё равно что, да ладно, уж лучше не к ночи помянутый нож-залив
и засвеченный остров, пятно от луча, в кость фамилии въевшийся блик…

Всё неочевидное и непривычное вызывает естественное отторжение, но у поэзии Николая Васильева очень дальний прицел. Его, как Ростислава Ярцева или Амана Рахметова, услышит не современник, а «безвременник», плывущий в неведомое на одной волне с автором.

Ради этого всё и задумано. Ради этого вырастает новый причудливый мир «посреди бела дня, словно Мги посреди или Тосно». И затираются края очевидной и конечной реальности, и совершается прорыв к обетованной земле – «без посадки и дна». Здесь проще быть самим собой, «без горестных мозгов и принцев датских и без теней, а просто, как любовь».

Сомнений нет – лирическому герою Васильева хватит и дыхания, и выносливости для того, чтобы выдержать это нескончаемое путешествие по просторам вымышленной вселенной. Ведь топливом для космического корабля служит «лётный снег», «чистилищный свет», несгораемый «ребёнок сердца»:

за стеклом у столицы кружится контуженный снег
о любви и воде раскрывается рот темноты
и «сейчас», будто рана со швом, совпадает с «навек» –
или череп с лицом, или вечное счастье с простым

<…>
но контуженный держится снег, без гвоздя и крыла,
на гудящем весу криулями, винтами ведом –
что-то помнит пилот и кружит над землёй, как земля
без посадки и дна –
над своей несмиримой звездой

НА ВОЛОСОК ОТ БЕССМЕРТИЯ

(Анна Арканина, Зреет яблоко. – М.: Формаслов. 2022. – 148 с.)

Анна Арканина – поэт развивающийся, растущий. Её новая книга – не просто результат кропотливой работы над стилем, но выход за его пределы, к новым горизонтам. Образ зреющего яблока, положенный в основу названия, связан не только с природными изменениями, но и с миром духовно взрослеющей лирической героини. Падающий на землю плод округлой формы – символ чего-то логически завершённого, осмысленного от начала до конца. Это сама жизнь, кратковременность которой не смущает автора, потому что он стремится радоваться каждому дню, быть неотъемлемой частью всего происходящего вокруг:

…Зреет яблоко и озаряет сад,
с ветки падая, бок подставляя хрусткий.
Ни полслова больше, ни сна назад –
это мы – от зёрнышка до закуски.

Из предыдущей книги «Раздать снежинкам имена» Анна Арканина забирает в новую осеннюю грусть, граничащую с меланхолией, и добавляет к ней философский, глубоко созерцательный взгляд на мир внутри и вокруг себя. В итоге получается прекрасная, почти «ахматовская», лирика с метагрустинкой и особой системой пространственно-временных координат.

Соотношение внешнего и внутреннего, плавное «перетекание» друг в друга макро- и микрокосмоса – вот основной вектор направленности книги. Лирическая героиня Арканиной нередко видит себя на фоне пейзажа – летнего, а чаще осеннего. Но это не просто картинка – это поиск своего места в окружающем мире, желание продлиться в нём и продлить его в себе. «Всё во мне и я во всём» – этот тютчевский тезис незримо присутствует в каждом стихотворении. А ещё здесь возникает тема памяти, сохраняющей, пусть даже в искажённом виде, всё, что когда-то происходило. Эта память не избирательна – она внимательна к любой мелочи, детали, даже к шороху и звуку, к мимолётному ощущению. Потому что нет ничего незначительного, маловажного, пустякового. Автору книги «Зреет яблоко» эти моментальные вспышки сознания важны потому, что в них обнаруживаются едва заметные следы его собственного присутствия.

Вообще категория прошедшего в поэзии Арканиной обладает уникальным свойством. Зафиксировать себя прошлого на кадре невидимой фотоплёнки – значит стать чем-то природным, нетленным, растворённым в атмосфере. Сиюминутное становится абсолютной величиной без срока давности благодаря переходу в долгосрочный архив воспоминаний:

Мой мир от белого был слеп,
как будто новый лист альбомный
шёл за окном бессрочный снег,
его я помню.
<…>
На свежем инее в окне
продавлен тёплый след ладошек.
…Я там была, был мир во мне,
чай байховый, сервиз в горошек.

Это уже не пейзажная лирика, а философско-психологическая. И отрадно, что подобное смешение жанров становится началом перехода к новой поэтике – более современной, яркой, индивидуальной, выражающей себя в терминах постмодернизма и метареализма. Одно из наиболее запоминающихся стихотворений книги – «Волчок» – демонстрирует особенности такого «взгляда изнутри» и такой художественной организации текста, при которых любой образ нетождествен самому себе и становится указанием на инореальность. Персонаж знаменитой детской страшилки становится овеществлённой экзистенцией, олицетворением теневой стороны человеческой души:

Ещё бы свет… Но сумерки – хоть вой.
Приходит волк в тебя, и вот он твой
от лап когтистых до опушки снега,
до лунного мерцающего следа
над серой непокрытой головой.

Если вспомнить русскую литературу, тот же серебряный век, то моментально всплывут и ахматовский, и цветаевский волки, родство с которыми тоже становится частью традиции. Анна Арканина обладает способностью эту традицию воспринимать и дополнять новыми нюансами на абсолютно современном поэтическом материале. Иногда её муза уходит в область языкового эксперимента, и тогда возникают очень интересные находки, в том числе и авторские неологизмы. Чего хотя бы стоит эпитет «хрустающий», в котором так органично соединяются материальный, осязаемый, и абстрактный признаки предмета. Так возникает основа для моделирования собственного художественного пространства, и думается, что со временем у автора будет всё больше и больше таких находок:

проснись ты грибник на природе
с лукошком в осенней тиши
осина стоит на проходе
подвинься осине скажи
<…>
в хрустающем воздухе гладком
иди ни о чём не тужи
грибы твои в полном порядке
и целы твои миражи

Даже если главным объектом изображения является природа (что нередко наблюдается в поэзии Арканиной), всё равно лирический герой никогда не оказывается в тени – он стоит за каждой строкой, и его глазами читатель воспринимает окружающий мир. Это очень личная, даже интимная лирика, написанная «от имени себя». И в целом поэзия живая, мысли и чувства настоящие. А ещё хочется вспомнить слова самого автора, как-то мельком оброненные в личной беседе: *«Если книга составлена правильно – она звучит»*.

Можно с полной уверенностью утверждать, что эта книга составлена правильно. Музыка растворена в ней, и в мелодию превращается абсолютно всё: и «горбатый мост река в ладонях», и «медовый луч по краю облак», и «мгновенья радости пустяк». Однако стихи не только «звучат» – они ещё осязаются, обоняются, пахнут осенними яблоками, срываются с веток с громким стуком. Синестезия – психологический феномен, объединяющий в цельном ощущении различные группы ассоциаций, свойствен этой поэтике так же, как прозе Бунина. Воспоминания о прошлом рождают у лирической героини зрительные, слуховые и даже вкусовые образы. Что такое любовь? Хруст яблока, шум волн, призрачные облака, «мокрый нос» едва уловимой мелодии. Тот «живой пульсирующий звук», благодаря которому человек оказывается «на волосок от бессмертия»:

такая малость проводи меня к реке
где рыбы плещутся на волглом сквозняке
где время тает капля вот и вот и вот
пойдём по мостику и выберемся вброд

твоих касаний шёпот ивовая дрожь
меня как маленькую за руку берёшь
давай в намокших джинсах ляжем на песок
мы от бессмертия всего на волосок

МОНЕТА У БОГА В РУКЕ

(Алла Арцис, Предчувствие лунного. – М.: Издательство РСП, 2022. – 258 с.: ил. – (Серия: Лауреаты национальной литературной премии «Поэт года»))

Новая книга Аллы Арцис – увесистый том объёмом в двести пятьдесят страниц. А ведь здесь собраны только те стихи, которые были написаны в период с 2019 по 2021 год – то есть за ближайшие три года. Остаётся только удивляться, откуда автор черпает своё вдохновение и что побуждает его создавать такие разные по тематике и лирическому настроению тексты.

А между тем ответ на вопрос очень прост. Лирическая героиня Аллы переняла от своего создателя любовь к жизни – во всех её проявлениях. Это и природа, и город, и мировая культура – от древности до современности. Воспринять и впитать в себя бесценное знание о жизни, преумножив и перевоссоздав его в своём воображении – такова задача поэта. Именно об этом пишет в предисловии к своей книге и сам автор: *«Вне временных и пространственных преград, действующие лица в этой книге обитают там, где действительность вплотную приближается к сказке, пусть и не всегда весёлой».*

Но сказка и не должна быть всегда весёлой – в ней то, что идёт из глубины сердца, что постигаемо внутренним зрением. В книге много разделов, но начать стоит с самого «компактного» – «Из греческих мифoff». Иноязычный словесный формант «off» заставляет читателя мыслить сразу в двух плоскостях: глубокая древность продолжает жить в реалиях современности. Многие мифы звучат на новый лад, а герои маскируются под обычных людей, их не сразу и распознаешь. Сизиф – простой работник пляжа, таскающий камни из воды, но автор убеждён, что труд его не напрасен, поскольку есть в нём «тайна магии». Минотавр – борец, несущий лабиринт в себе, а Икар – отбившийся от стаи «учёных мальчиков» юный мечтатель, для которого воображаемые крылья важнее дорогих спорткаров. Это уже новое мифотворчество, созданное по старым лекалам, но вечные темы остаются неизменными:

<…>
Их тоже кликали Икарами,
и старый дедушка Дедал,
стращая кармою и карами,
их рваться в небо призывал.

Но были мальчики учёные,
на мир взирали свысока,
такие ловкие, лощёные –
меняли крылья на спорткар.

Прошлое, смотрящее на современность «глазами» картин, статуй, архитектурных сооружений, оживает в авторском воображении и одновременно будит воображение читателя. Вот уже прекрасная Афродита мелькает «в сияющем проёме Пропилей», и юная арфистка тревожит мир нотами, «звонкими и острыми, как стрелы».

Интертекстуальность – характерная черта современной поэзии – позволяет Алле Арцис вступить в диалог с русскими классиками девятнадцатого века. Так, образы знаменитого стихотворения Лермонтова встречают нас в начале раздела «Юдифь и Карлсон». И мы понимаем, что с тех времён мало что изменилось: та же дорога, тот же путь и те же мысли об одиночестве:

Земля в сиянье голубом,
и ей мерещится
кремнистый путь, надёжный дом
и радость вечная,
и тёмный дуб среди куртин
в саду – заманчиво…

Поэт один.
Всегда – один.
Вот так назначено.

Но лирическая героиня Аллы Арцис не только оживляет прошлое – она ещё и предугадывает будущее, и поэтизирует настоящее. Ей ничего не стоит представить себя Скарлетт, императрицей Екатериной или даже мумией в древнеегипетской гробнице, мысленно перенестись в Париж, чтобы своими глазами увидеть пожар в соборе Нотр-дам, прогуляться по облакам, обнаружив космос на апрельском снегу. Для человека с богатым воображением нет преград, а для хорошей поэзии нет границ:

Здесь темнеют разводы на позднем апрельском снегу,
Здесь под ноги ползут словно змеи то тени, то корни,
Где стоял снеговик – угольки обозначились чёрным,
И кораблик по озеру шумно гоняет шугу.

Я смотрю – ты расстроен и разочарован чуть-чуть.
Ты подумал, быть может, что космос мой ненастоящий?
Знаешь, просто поверь: это – космос, и к радости вящей
Прямо тут начинается наш межпланетный маршрут.

Но в полной мере женственность и нежность лирической героини Аллы Арцис раскрывается в любовной лирике. Это абсолютное царство свободы, где нет места условности и лжи. И снова возникает глубокая древность – на сей раз не античная, а библейская. Целомудренность и порочность, внутренний драматизм и простота – черты, присущие Адаму и Еве. Эти образы сопровождают автора книги повсюду, и вот уже в самой себе и в своём избраннике влюблённая героиня видит черты ветхозаветных прародителей. История повторяется на новом витке, потому что каждое новое чувство – это и заря новой цивилизации. И совсем не важно, что ангелы «не ах», и сам Адам «садовник на бобах»:

Живём в раю: я – Ева, он – Адам.
Нас сделали ухаживать за садом.
Работы прорва, ну а мы и рады:
Ведь люди всё же, не зверьё, не гады,
Не тушки, прикреплённые к хвостам.

Большая часть поэтов стремится выработать определённый стиль письма, упрятать себя в конкретную форму верлибра или силлабо-тоники, в определённый круг образов и тем. Но нередко это оборачивается стилевым однообразием, и желаемая цель – выделиться из общего хора голосов «лица необщим выраженьем» – оказывается утопией. А вот Алла Арцис не боится быть разной – весёлой и грустной, серьёзной и ироничной, рассудительной и нежной. Думается, именно в этом её сила. А ещё дело в том, что автор книги «Предчувствие лунного» – неисправимый оптимист. Даже размышления о скоротечности жизни наполнены внутренним светом, потому что не всё временно в этом мире. И не случайно в основу названия положен образ луны. Её свет часто ассоциируют с серебром, но нередко она напоминает монету, у которой есть аверс и реверс – внешняя и изнаночная сторона. Есть она и у самой жизни, и хочется верить, что монета золотая и что это золото истинное, а не фальшивое:

Звёзды – аверс, а музыка – реверс.
Мир – блестящая горстка монет.
В бесконечности звёздной уверясь,
улови музыкальный момент

на ребре, как на тёмном экране
стёртых граней афинских фалер:
мир беззвёздный молчанием ранен –
мир сияет под музыку сфер.

II сияние это не тает
тут – в невидимом, там – вдалеке…
Мир – монета, одна/золотая –
у поющего бога в руке.

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

ЗОЛОТОЙ ВАГОН ГЕННАДИЯ КАЛАШНИКОВА

(Геннадий Калашников, Ловитва. – М., Летний сад, 2022. – 216 с.)

«Ловитву» Геннадия Калашникова приятно взять в руки. На стильной твёрдой обложке изображена парящая в воздухе птица. В книге есть даже красная лента для закладок страниц – ляссе. Стихи, написанные «высоким штилем», дополнены в книге рассказами, где есть просторечие и даже ненормативная лексика. Проза служит своеобразным контрапунктом по отношению к поэзии. Птица на обложке и название книги – «Ловитва» – в эстетике поэта не случайны. Геннадий Калашников любит фотографировать птиц и постоянно наблюдает за ними. Цепкий взгляд фотохудожника заметен и в его поэтическом творчестве. В своём раннем стихотворении «Купание в озере», написанном в двадцать лет, поэт так говорит о своём присутствии в мире птиц:

Для рыб я птица, а для птиц я рыба.
И озера мерцающая глыба,
растущая из бьющего ключа,
колеблема движением плеча.
Вода причудлива и каждый миг иная,
шершавая, угластая, прямая,
секундою и вечностью живёт,
и синий мрамор неба отражая,
и стрекозы мигающий полёт.

«Ловитва» – книга итоговая, юбилейная. И поэту есть что подытожить. Некоторые стихи Калашникова можно отнести к лучшим образцам поэзии, написанным на русском языке. «Последний трамвай», «Ночная река», «Никогда не пора…», «Ночлег в пути», «В центре циклона» – настоящие жемчужины слова.

Последний трамвай, золотой вагон, его огней перламутр,
и этих ночей густой самогон, и это похмелье утр,
как будто катилось с горы колесо и встало среди огня,
как будто ты, отвернув лицо, сказала: живи без меня, –
и ветер подул куда-то вкось, и тени качнулись врозь,
а после пламя прошло насквозь, пламя прошло насквозь,
огонь лицо повернул ко мне, и стал я телом огня,
и голос твой говорил в огне: теперь живи без меня, –
и это всё будет сниться мне, покуда я буду жить,
какая же мука спать в огне, гудящим пламенем быть,
когда-то закончится этот сон, уймётся пламени гуд
и я вскочу в золотой вагон, везущий на страшный суд,
конец октября, и верхушка дня в золоте и крови,
живи без меня, живи без меня, живи без меня, живи.

Простые и одновременно сложные чувства – любовь, ревность, горечь расставания – вплетены поэтом в голоса небесных стихий. Противоположности – тьма и свет, любовь и тоска, разлука и нежность – образуют у Геннадия удивительное диалектическое единство. Поэт не боится писать стихи бессюжетные,

метафизические. Особенно хорошо удаются Геннадию длинные стихотворения, фактически маленькие поэмы. Его поэзия говорит о главном не впрямую: *«Вся суть поэзии – касанье. / Она не зеркало – ладонь»*. Человек на земле – вечный странник. Об этом – стихотворение Калашникова «Ночлег в пути». Выбитые из зоны комфорта, мы страдаем и не находим себе места. Однако именно непривычное, нестандартное воспринимается сердцем острее, и творчество словно бы пытается компенсировать нам доставленные страдания и неудобства.

Твержу: забудется, запомнится,
клублюсь чужими голосами,
в слепое зеркало бессонницы
гляжу закрытыми глазами.

В чужом дому – чужие отзвуки,
течёт луна по скатам крыши,
и души всех – живых и отживших
поют, а вот о чём – не слышу.

Ночлег в пути… Я это листывал,
и даже читывал немного –
равнина и река петлистая,
да плюс железная дорога,

и этот хор – живых и умерших,
и тяжкий перестук железа –
состав вконец ополоумевший
вдоль эту полночь перерезал.

Но ясно даже мне – не местному
и не пришедшемуся впору,
что не помеха он чудесному
и впрямь божественному хору…

В этом стихотворении я слышу не только хор небесных светил, но и хор великих русских поэтов, «подпевающих» Геннадию Калашникову. Я слышу голоса Фёдора Тютчева, Николая Рубцова и даже Виктора Кочеткова с его «Балладой о прокуренном вагоне». Есть в нём и отзвук Роберта Бёрнса. И вместе с тем это, конечно, оригинальное стихотворение Геннадия Калашникова. А вот другой хор – Пушкин, Мандельштам, Хлебников, Кручёных, Гераклит Эфесский из стихотворения «Никогда не пора…». Дирижирование надмирным хором голосов поэтов-предшественников – явление в русской литературе не совсем обычное. Калашников во многих стихотворениях устраивает нашим классикам «парад планет». Помнится, в поэме «Братская ГЭС» Евгений Евтушенко собрал вместе разных поэтов и попросил их «дать ему голос». Геннадий Калашников вроде бы и не просил об этом никого из великих, тем не менее, свой «голос» они ему дали – добровольно и без просьб.

Никогда не пора,
ни в ночи, ни с утра,
погоди у воды, ледяным повернувшейся боком.
Кто-то смотрит на нас,
словно тысячью глаз,
то ль одним, но всевидящим оком.

Пусть запомнит вода
рыбака невода,
птицелова силки и упрямые петли погони.
Прячет омут сома,
смотрит осень с холма
из-под тонкой, прохладной ладони.

На миру, на юру,
на бытийном ветру
из живущих никто не пропущен.
Дальний выстрел в лесу
постоит на весу
и рассыплется в чащах и кущах.

Смотрит осень вприщур,
зинзивер, убещур
и прорехи, зиянья, пустоты.
Что ты медлишь, Творец,
расскажи, наконец,
про твои золотые заботы.

Ведь запомнит вода
у запруды пруда,
что не входят в поток её дважды,
то, что свет – это тьма,
что открылись с холма
горизонта с полями пространные тяжбы,

медь и камедь сосны,
свет молочный луны,
облаков невесомые битвы,
блеск плотвы, плеск листвы,
шум травы-муравы,
гон твоей каждодневной ловитвы.

Здесь и ловитва, давшая название книге. Я уже писал об этом стихотворении в статье «Рекущая река Геннадия Калашникова». Но сейчас заметил ещё пару нюансов. Поэт порой неожиданно в третьей или шестой строке добавляет в анапест ещё одну стопу, и это смотрится свежо и оригинально. Я обнаружил в данном стихотворении сразу три удлинённых стопы: «погоди у воды, ледяным повернувшейся боком», «птицелова силки и упрямые петли погони» и «горизонта с полями пространные тяжбы». Удлинённая строка – не ошибка автора в поэтической метрике, а оригинальный творческий приём. Встречается он и в других стихотворениях мастера.

У Геннадия изумительный поэтический слух, фонетический дар и чувство ритма. А ещё, конечно, гармоническое чувство меры. «То, что не имеет меры, – это подвиг», – остроумно замечает поэт в другом стихотворении. Есть ещё один нюанс, на который я раньше не обращал внимания. «Свет – это тьма» – серьёзное философское заявление. Поэт, как мы видим, «на дружеской ноге» с Гераклитом, который заявлял, что «день и ночь – суть одно». Подобно древнему греку, Геннадий видит мир в борьбе и единстве противоположностей. Калашников, несомненно – человек философски одарённый. Вот ещё одна максима от Геннадия: *«Мы видим часть всего, / и вряд ли нам дано / преодолеть своё земное зренье»*. Часто у него появляется в стихах мистика самой высокой пробы.

Геннадий Калашников – философ и любомудр. Поэт прочёл невероятное количество книг, и всё это богатство мировой культуры так или иначе отражается в его стихах. В «Ловитве» он вспоминает занятия в студии Бориса Слуцкого. Стоило Слуцкому порекомендовать своим студийцам какую-то книгу – и тут же выяснялось, что Калашников уже прочёл её. Конечно, одной эрудиции недостаточно, чтобы обрести свой язык – необходимо мастерство. И мы видим это в новой книге. «Ловитва» – «джентльменский набор» по-настоящему удавшихся стихотворений. Это стихи, доказавшие свою жизнеспособность. Остановлюсь ещё на одном произведении, тоже в значительной степени философском. Ничто, Нигде и Никогда преодолеваются в поэзии Геннадия Калашникова «светом в окне»:

Отнюдь не подступающая нищета,
а то, что не получается ни черта;
что не входят слово и строчка в паз,
что Ничто вокруг разевает пасть,
что Нигде оказывается тут как тут,
Никогда своих не развяжет пут, –
так мешают жить, как пальца порез:
ушибаешь всегда, куда б ни полез,

хоть в зазубрины времени, чей ход
стучит куда-то наоборот,
уволакивая тебя, как мышь в нору
кухонный трофей: не вру, умру.
Живёшь, как в курьёзе одной строки,
для запятой не хватает длины руки:
Помиловать нельзя казнить,
вот и утеряна смысла нить,
что-то там про порез и паз
в бред ли, в сон завело рассказ,
только знаю, даже не открывая глаз:
свет стоит в окне, озирая нас.

Поэт пишет в высшей степени гармоничное стихотворение… о муках творчества. Для Геннадия любая дисгармония, несовершенство, неспокойствие духа – часть ещё большей, часто невидимой гармонии, того самого «света в окне». Как заметил Блок, «сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен». Об этом же – стихотворение «Я сослан в немоту…». Калашников не только держит дыхание в длинных стихотворениях, но и чеканит высококлассно ровные строфы. Длинное дыхание подвластно человеку, который умеет писать протяжённый текст без технических срывов. Идеал – в симбиозе звука и смысла. Перфекционизм мучит человека, не даёт ему спать. Очень симпатичная черта у поэта – творческая неугомонность, стремление к филигранности исполнения, беспокойство за конечный результат. Порой гармония в тексте достигается с усилием. Но овчинка стоит выделки.

Проза Геннадия, тоже представленная в «Ловитве», написана несколько другим языком. Детство поэта прошло в деревне Тульской области. Его родители были русскими интеллигентами, и судьба привела их в глухую деревню, где до начала 60-х не было электричества. Геннадий вспоминает свои детские годы с любовью и юмором. У нас есть два столичных города – Питер и Москва, а за их пределами сразу начинается Россия. О такой России и пишет в своей прозе Геннадий Калашников. Все мы состоим из разнородных временных слоёв, и каждый из них служит нам фундаментом духа. И настоящий писатель, конечно, не может позволить себе забыть своё прошлое.

Есть у Калашникова рассказ о том, как в далёкие послевоенные годы строили в деревне водопровод. Перед этим в деревне провели радио. В этом рассказе есть некоторая толика ненормативной лексики, потому что именно так разговаривают люди в деревне. На творческом вечере Геннадия в Булгаковском доме его прозу читал актёр Ростислав Капелюшников. Он набирал в лёгкие побольше воздуха – и выпаливал скороговоркой каждое матерное слово. Всё это смотрелось очень забавно и артистично. Надо сказать, что в тот вечер Геннадий удивился, сколько народа пришло послушать его стихи. Совсем не маленький театральный зал Булгаковского дома был заполнен до отказа, и люди не могли найти себе свободного места. По нынешним временам – удивительное дело.

Вот что сказала о Калашникове поэтесса Лидия Григорьева, которая посещала вместе с ним литературную студию Бориса Слуцкого. «Геннадий Калашников – это поэтический долгожитель. Начинал он в середине 70-х, в безнадёжно глухое время. Фактически его поэтическое поколение было «потерянным». Студийцев Слуцкого никто нигде не печатал. Книги у всех вышли поздно, почти как у Арсения Тарковского. Выстоять, выдержать, остаться поэтом в предлагаемых условиях – огромное достижение».

Действительно, по-настоящему классные стихи не растворяются в вечности. Они и составляют «золотой вагон» русской словесности.

«СТОЙ ВО ТЬМЕ НА СВОЁМ!»

(Ирина Ермакова, Легче лёгкого. Книга стихов. –
М., Воймега; Ростов-на-Дону, Prosodia, серия «Действующие лица», 2021. – 80 с.)

Ирина Ермакова – поэт необычный. Медиум. Иллюминат. Тонко чувствуя разлитое в воздухе времени свечение смыслов, «срез и подземную перспективу», она «видит», как «Абсолютный растёт слух». Вещественность и философичность – постоянные спутники её лирики. Если у Мандельштама – век-волкодав, у Ермаковой – век-истребитель. *«Век-истребитель насквозь прошёл: / жди, золотым вернусь»*. Всё непременно вернётся – но, к сожалению, уже без нас. Многообразие мира, тайная жизнь его и подземные реки, предчувствие новых, неотвратимых событий – об этом повествует новая книга Ирины Ермаковой. Автор книги прозревает жизнь, скрытую от глаз непосвящённых, и тайные движения светил.

Корни и темень – вход, где сосна
рухнула, помнишь? – обрыв обрушив,
срез предъявляя: жизнь не одна,
каждая новая – выше, суше, –
и закачалась, свисая криво
на узловатых корней канатах,
срез и подземная перспектива.

Новая книга Ирины концептуальна. Что такое «легче лёгкого»? Лёгкость и нежность – не зеркальность ли двух сестёр Осипа Мандельштама? Ермаковой присуща чуткость к внутреннему и внешнему миру. *«Тяжесть земная, а бросить жалко»*, – говорит поэт о грядущем расставании с земной жизнью. И ещё: *«Душа растёт в почти ненужном теле. / Так происходит жизнь на самом деле»*. Это высвобождение духа из материи. Земной тяжести поэт противопоставляет небесную лёгкость.

Так низко небо, что, нахлобучив
облако это, вроде панамы,
несёшься, а следом другие тучи,
сверкают пятки, гремят карманы,
мчишься от ливня, в карманах галька,
припомнишь каждый найдёныш-камень,
тяжесть земная, а бросить жалко,
и пены месиво под ногами,
дико и пусто на длинном пляже,
сдёрнешь панамку, и кажется, не до-
бежишь, споткнёшься, волна размажет,
и вдруг взлетаешь – так близко небо.

Эпоха наша – переходная: непонятно, что ждёт нас в будущем. *«Кто грядёт? Набухает новая завязь, / раздвигает корни мёртвого языка. / В электрическом воздухе, медленно разгораясь, / имя висит, не названное пока»*, – замечает Ирина Ермакова. Проницательный очевидец времени награждён «третьей стороной медали» – неназванное постепенно, по крупицам, проявляется и словно бы выходит из засады. Оно и призвано властвовать в новом времени. Впереди, если не «грядущий хам» Мережковского, то как минимум «грядущий наглец», начитавшийся Достоевского: «Тварь ли я дрожащая или право имею?». «Стой во тьме на своём!» – говорит Ермакова, и это воспринимается как духовный наказ поэта думающему и совестливому читателю.

Ирина Ермакова пишет немного, но все её тексты сродни выдержанному вину. Кроме того, языковой уровень поэта делает интересным любое её стихотворение. Хотя бы просто потому, что это вкусно написано. А развёрнутые метафоры останавливают мгновение. Есть какая-то завораживающая «киношность» в поэзии Ермаковой – Андрей Тарковский, никак не меньше. Рифма в таких стихотворениях, в сущности, и не нужна: она здесь вторична, она отвлекает на себя внимание, разрушая магию кино, намертво склеенных режиссёром-поэтом кадров жизни. Лёгкость, фигурирующая в названии книги Ирины Ермаковой – ещё и от летящего снега.

снег летит не больно а легко-легко
снег летит легко легче ещё легче

будто бы там над тучами высоко
вьюжно-верховное громыхает вече
выключен звук на земле и так легко
как никогда лёгкость нечеловечья

В свете последних планетарных событий нам особенно интересны люди, жившие на Украине и переехавшие в Россию. Мне кажется, такие люди глубже понимают суть происходящего. У меня с Ириной Ермаковой есть потрясающее пересечение: я родился в Черкассах, а Ирина училась в школе в этом городе центральной Украины – её родители строили в нём большой мост через Днепр. Её и мои родители спят в одной земле.

человек всё легче с каждой датой
всё прозрачнее с минутой каждой
он глядится в беглый блеск мазута
золотого на волне горбатой
думает волнуясь: вот минута
или не минута но однажды
станешь духом и взлетишь отсюда

«Прежде чем заземлиться, хочется полетать». «Лёгкость твоя летальность ветреная твоя». Летальность, детальность, лёгкость – казалось бы, что общего между ними? Конечно высыхание человека с возрастом – явление не абсолютное. Кто-то, наоборот, из-за малоподвижного образа жизни набирает вес. Но как метафора это работает безотказно.

«Зубастая молния уже расстегнула небо» – Ирина точно сводит в одном ярком образе оба значения слова «молния». У Ермаковой – талант наблюдателя. Скажу больше: она умеет не только вглядываться, но и вслушиваться. Вдыхая «колыбельный воздух Коктебельный», героиня не может два раза войти в одно и то же море. Не только море – сам Коктебель уже другой. Привет Гераклиту Эфесскому!

Когда я читаю стихи Ирины, у меня возникает впечатление потока слов, который опрокидывает привычную силлаботонику. Лирическая стихия разрывает квадратики катренов, но ни слова нельзя выбросить из этого потока слов. Глаза поэта выхватывают из жизни именно движение: всё, что движется, моментально попадает в объектив души.

стихотворение
падает вниз головой
этажи листая колотится о перила
на балконах шарахаются соседи

стихотворение
зависает на миг
и врезается в гущу тополя

тополь вздрагивает
семя его лопается
на земле идёт снег

стихотворение
рвётся выгибается пытается словить ветер
и раскрывается растекается врастает

а с тротуара глянешь
ветка и ветка
неотличимая от иных
и горят окна до неба
и сугроб катится вдоль бордюра

дерево качается
кричит
машет руками
звякает сребрениками листьев
сучит корнями под асфальтом
ищет рифму

Рифма у Ермаковой – не главное. Она даже кажется избыточной в той структуре стихосложения, которую избрала для себя Ирина. Столбики, квадратики катренов «мешают» поэту с некатренным образным мышлением быть собой. Рифма, тем не менее, подчас необходима – она консолидирует текст и подтверждает сказанное. Ирина активно использует как знак препинания… несколько пробелов – приём модернистский, позволяющий расширить страницу стихотворения. Видимые и невидимые миры у неё неразрывны, они постоянно перетекают друг в друга, как вода в спаянных сосудах. Стихи Ермаковой вещественны и неразрывно связаны с живой жизнью. Поэт использует русско-украинскую билингву, а верлибры у неё драматургически интересны и тоже кинематографичны. Есть что-то гоголевское в таланте Ирины Ермаковой. И герои Гоголя помогают ей в самых отчаянных ситуациях:

не мова
не суржик
не язык
что-то другое
что живёт собственной жизнью
само по себе живёт
внутри головы
и говорит говорит само с собой
думает: никто не слышит
думает: кругом так шумно
все говорят в свои телефоны
все
говорят говорят

как говорят остап с андрием
с двух сторон родимой ямы
с выжженной по краю травой
как ты мог брат? – молчит остап
а ты? – молчит андрий
ты чего совсем? – молчит остап
а ты? – молчит андрий
яма ширится
сонце низенько
вечiр близенько
в голове смеркается
в голове осыпается чернозём
шуршит шуршит
алло?
из пространства немого
гудки помехи гудки
абонент недоступен
нет
не язык
не суржик
не мова

Язык исперчивает жизнь, но не исчерпывает её. И война, горячая фаза которой началась уже после выхода в свет этой книги, болью отзывается в сердце автора:

сбегаются домики сколько лет
верстаешь эти столбы
огонь!
дорога встаёт на дыбы
огонь!
закипает свет

и растерянный мир накрывает пар
пёс мчится на всех парах
парит бумерангом кривой слезой
сорвавшейся впопыхах

чадит одуванчик искрит сирень
трещат берега реки
огонь стеной кругом ничком
палёные мотыльки

стоишь разодранный напополам
на две свои родины две любви
на дом и дом на тут и там
май горит
и река шипит

и пёс прижался к ногам

Это написано задолго до начала украинских событий и воспринимается как пророчество, как ясновидение. «И когда ещё соберёмся вот так, вместе…» – актуальный вопрос автора книги, обращённый к друзьям, повисает в воздухе. Видимо, вместе соберёмся теперь не скоро.

размах налево и направо
и вниз опять а там под ним
распластана его держава
четвёртый рим девятый крым

и тень за ним бортпроводница
не отстаёт вперёд вперёд
крылатка ласточка черница
кому свистит? кого поёт?

и шаткий луч за ним крошится
какой любви? каких свобод?
сверкает огненная спица:
лети! да кто ж его качнёт?

II вот маятник качнулся…

«Что тут будет, когда ничего не будет? – спрашивает в конце книги поэт. – Что от нас останется?». И сама же отвечает: «Только любовь». Любовь тоже – «легче лёгкого», хотя и требует ежедневного труда. Книга Ермаковой, как всякая настоящая поэзия, рассчитана на читательское сопереживание и соразмышление. Расшифровывая тайные знаки, разбросанные по её страницам, растёшь духовно.

КОЛОКОЛЬНОЕ СЛОВО ЭЛЬДАРА АХАДОВА

(Эльдар Ахадов, Тайны и откровения. – М., Iздательские решения, 2022. – 88 с.)

«Как будто продолжаясь вниз и вверх, / Я стал и тьмой, и светом, и покоем / И, растворяясь в небе колокольном, / Живу во всём, со всеми, ради всех», – говорит Эльдар Ахадов в своём программном стихотворении «Я чувствую вращение Земли». Я вспомнил про эти стихи Эльдара, когда обнаружил в его новой книге «Тайны и откровения» прозаическую миниатюру о колокольном слове. Конечно, небо и слово – не одно и то же, но их соединила в моём сознании звонкая набатность колокола. Найденные и полюбившиеся образы свободно перемещаются у писателя из стихов в прозу и обратно, и это фирменный элемент его творческого почерка. Всё едино. «Тайны и откровения» – книга пограничная между поэзией и прозой. Каждое слово меняет мир – главное открытие Ахадова. Поэтому со словами нужно быть предельно аккуратным не только «инженерам человеческих душ», но и представителям других профессий. А уж во время драматического расслоения общества – и подавно. Ахадов не скатывается в мелкотемье, он всегда старается говорить о самом главном. «„Самое главное – это дети!“ – сказала мама и пошла готовить обед. „Самое главное – это мама!“ – решили дети и побежали играть. Поздно ночью, когда все, кроме звёзд на небе, крепко спали, ласковый летний ветер прошелестел: „Самое главное – это любовь“. Наверное, он прав».

Эльдар охотно работает в самых разных жанрах литературы. «Тайны и откровения» – книга жемчужин его поэтической философии. Андерсеновская сказочность причудливым образом сочетается в нём с философской глубиной. Он часто говорит притчами, иносказаниями и намёками. Хорошо удаются писателю и афоризмы, которые ценны тем, что их невозможно пересказать другими словами. Этот театр миниатюр – поэтический космос Эльдара Ахадова. Его афоризмы оригинальны; они разнообразны по жанру и тематике. Даже величайшие умы писали, как правило, либо философские краткие изречения (Гераклит, Ницше), либо житейско-философские (Ларошфуко, Лабрюйер). У Эльдара же они могут

быть одновременно и глубокими, и смешными: «Не спрашивай кукушку, сколько тебе жить. Это не её дело». Или: «Не впускай в свою душу никого. А если впустил, терпи. Будет больно». «Если тебе в голову пришли добрые мысли, будь с ними гостеприимен. А если – недобрые, передай им, что тебя нет дома».

Современные веяния благоприятствуют кратким изречениям как жанру литературы: не потому, что краткость – сестра таланта, а потому, что современные люди с гаджетами не любят читать длинные произведения. Вот ещё одно замечательное изречение Ахадова: «Труднее всего быть самим собой тому, в ком нет ничего своего». Глубина мысли дружит у писателя с любым настроением, присущим этой мысли. «Сильные стороны характера делают людей великими, зато слабые – делают их людьми». Что особенно ценно в афористике Эльдара Ахадова – у него почти нет банальностей и перепевов мыслей других писателей.

Высокая степень самостоятельности изречений свидетельствует о постоянной работе мысли писателя. «Не говори правде: „Пошла вон!“ Непременно вернётся и добьёт». «И знаем мы не всё. И не всё, что мы знаем – истина». А вот это разве не чудо: «Ни о чём не проси добрых, щедрых и отзывчивых людей. Не вынуждай их становиться жадными, лживыми, бездушными, вечно избегающими тебя»? Мысль кажется парадоксальной. Как может добрый, щедрый и отзывчивый человек стать своей противоположностью? «Такого не бывает», – скажете вы. Тем не менее, это правда. Человек добр и щедр по своему хотенью. Он сам решил проявить адресную доброту и щедрость. Его об этом не просили. Но, когда попросят, это может ему не понравиться! Это и есть нетривиальная глубина мышления, присущая тонкому уму. Даже если бы в книжке была только глава с афоризмами, это была бы очень хорошая книга.

У Эльдара много сочинений, которые он концептуально переформатирует в новых книгах, добавляя новое и тематически фильтруя уже написанное. Даже хорошо знакомые произведения, попадая в новую книжную обстановку, часто раскрываются с неожиданной стороны. Знания писателя о земле и планетах (Эльдар – маркшейдер) приумножены годами философского самообразования. Всё это мы видим в «Тайнах и откровениях». Эйнштейновская относительность проникла в новое время во все области человеческого знания. «Реальное не всегда уловимо, уловимое – не всегда реально», – пишет Эльдар.

Вот ещё один фрагмент из новой книги, творчески осмысливающий новые открытия в физике: «Мир существует благодаря приблизительности и вариативности. Бог как взаимосвязь всех явлений мира, как некая общемировая вибрация, без которой невозможно никакое и ничьё отдельное существование, не нуждается ни в доказательствах себя, ни в опровержениях. И то, и другое нужно только людям. Для Него не имеют смысла вопросы „где“ и „когда“, потому что ответ всегда один: „здесь“ и „всегда“».

Бог, согласно Ахадову – главный метафизик Вселенной. Работа Эльдара «О природе мироздания» по форме напоминает мне партиты и сюиты Баха. А ещё такая работа могла быть написанной древнегреческим философом, вооружённым… новейшими знаниями из квантовой механики. Как и у древних, у Эльдара это та самая философия, которая включает в себя все прикладные науки. Философия использует знания точных наук, «облагораживая» их.

А вот ещё один интересный фрагмент текста писателя, который прекрасно иллюстрирует сказанное выше: «Каждый человек – это неопределённость, которой всю его жизнь безуспешно пытаются найти определение как окружающие его люди, так и он сам. Изначальная неопределённость внутреннего содержания человека является основным его качеством, а конкретикой оно наполняется в течение всей жизни, причём эта конкретика может коренным образом неоднократно менять суть человека в разные промежутки времени и пространства». Мы видим, что физика, метафизика и человек в центре вселенной образуют у Ахадова триумвират, пытающийся совместными усилиями объяснить мир, и новейшие открытия очень помогают нам и в литературе, и в философии. Подытоживаю сказанное Эльдаром: человек – это вибрация духа в пространстве и времени, а не константа.

Некоторые мысли Ахадова достойны быть выбитыми на скрижалях всех времён и народов, например, вот эта: «За время существования человечества во имя его светлого будущего, во имя мира во всём мире, во имя Бога всемогущего и всемилостивого, во имя братской любви и справедливости было замучено, растерзано, расстреляно, повешено, задушено, сожжено, уморено и утоплено столько жизней, сколько не стоит никакое светлое будущее, никакой мир во всём мире, никакие любовь и справедливость и никакой Бог!».

Если посмотреть на «Тайны и откровения» с одной стороны – это авторская философия. Посмотришь с другой – безусловно, это поэзия, в самом широком смысле слова. Не случайно «Миниатюры» Ахадова начинаются с гимна языку поэзии. Автор умудряется о глубочайшем говорить самым простым языком. Поэтому любой читатель Эльдара имеет возможность прикоснуться к тайне. Ещё я отметил бы в книге Ахадова её общечеловеческий смысл. Книга запомнится и взрослым, и детям, и даже читателям из других стран, если будет переведена на другие языки.

Радость жизни главенствует в произведениях Эльдара Ахадова. Он в своём творчестве возвращает раздробленный мир в состояние первоначального единства: «Летит отовсюду небо – земле навстречу летит, и летит земля, небом объятая, светом его пронизанная. И сияет васильковое небо в глазах новорождённых младенцев земных! И качается младенческое небо на лазоревом ветру. На ветру ласковом, синем, сквозном, колыбельном… И несёт, струит свет в невесомой ладони своей голубую глину земли,

синеглазое небо младенцев, алмазную воду жизни. И нет более ни света, ни тьмы, ни земли, ни неба, ни звука, ни тишины, а всё едино. Всё вечно. Всё – Бог. Всё – любовь. Всё – жизнь».

Писатель по-сказочному пишет от имени тишины, ветра, неба. Многоязыкость помогает ему вживаться в образ каждого персонажа, наделяя его своими неповторимыми качествами. А помогают ему в этом деле природная внимательность ко всему живому и щедрый дар души. «Поэт – это ранимость и искренность», – говорит Эльдар. Конечно, «Тайны и откровения» – это не только поэзия, но и драматургия, театр. Это театр природы в лирическом театре автора. Некоторые фрагменты книги я читаю не в первый раз. И, как в первый раз, меня охватывает лирическое волнение. Безусловно, у Эльдара большой дар рассказчика. Любовь к окружающему миру, к детям, природе переполняет сердце писателя. Многие миниатюры вызывают у нас добрую улыбку. Он, как настоящий волшебник, умеет превращать маленькое – слезинки, пёрышки – в большое, а большое – звёзды, небо, китов – в маленькое. Вода для писателя – это «жидкий разум». Эльдар умеет и быть скрупулёзно-дотошным в своих исследованиях, и прозревать сущность вещей метафорически. За это мы его и ценим.

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ КАК ФИЛОСОФИЯ

(Валерий Байдин, Архетипы и символы русской культуры от архаики до современности. Статьи и эссе. – СПб., Алетейя, 2021. – 574 с., ил.)

Дело Розанова и Флоренского живёт. Книга Валерия Байдина, собранная из его работ разных лет, читается как откровение. Книга обширна и полифонична. Впечатляют масштаб и широта интересов Байдина. Церковно-славянские и православные темы дополнены в «Архетипах и символах» глубокими литературоведческими работами. Книга содержит работы уровня диссертаций. Это культурология высокого уровня. Автор эрудирован и компетентен. В тех вопросах, по которым не высказался только ленивый, он сумел найти оригинальную точку зрения. Байдин берёт популярные и очень популярные темы – судьба Радищева, философия Николая Фёдорова, русский авангард, творчество обэриутов – и везде находит неизвестные и малоизвестные факты. Такая наука интересна широкому кругу читателей. Байдин – собеседник, книга которого стимулирует духовные искания.

Например, Валерий исследует самоубийство Радищева. Странное дело – об антигосударственной деятельности Радищева знал раньше каждый школьник, но как же много купюр в его биографии! Пожалуй, мы знаем о жизни этого выдающегося человека ничтожно мало. Например, его судьба в точности предшествует участи Достоевского – он тоже был приговорён к смертной казни, заменённой впоследствии ссылкой в Сибирь. Байдин использует знание французского языка (писатель давно живёт во Франции) для своих исследований. Он анализирует недоступные нам материалы, написанные на французском языке. Невероятно, но и свою монографию о русском авангарде Байдин написал и защитил по-французски.

В «Архетипах и символах русской культуры» приводится «компедиум» французской монографии – сокращённое изложение основных её положений. «Сжатое», тем не менее, занимает 218 страниц в издании «Алетейи». Интерес к культурологии Байдина появился у меня после его блистательной лекции по авангарду и футуризму в Чеховской библиотеке в Москве. Впечатление было настолько сильное, что я подошёл к писателю и сказал, что его лекция стала событием в моей жизни. Байдин предельно расширил рамки русского авангарда (1905-1941 гг.), вплоть до гибели Хармса и Введенского. Его работа охватывает не только литературу, но и живопись, архитектуру, кино и театр. Затронута и музыка (опера Матюшина «Победа над солнцем»). Хотя лично мне не хватает в этом широком анализе русской культуры начала XX-го века новаторских музыкальных поэм Скрябина. «Упрощение» культуры соседствовало в русском футуризме и супрематизме с её усложнением, обогащением, синтезом нового из архаических элементов. Валерий Байдин говорит о том, что сложно анализировать разнообразные авангардные произведения «на равных», поскольку они очень разные по жанрам и художественному достоинству.

Мы вроде бы уже неплохо знаем Серебряный век и его основные художественные достижения. Но Валерий Байдин и здесь удивляет нас малоизвестными фактами. Так, например, Николай II благодаря хлопотам художника Валентина Серова ежегодно субсидировал авангардный журнал «Мир искусства» немаленькой суммой 12000 рублей. Взлёт русской культуры в начале XX-го века был бы невозможным без меценатов, даже в лице монарха. Для культуры всегда важно, чтобы богатые люди точечно находили и субсидировали гениев. Порой деньги есть – а культуры за ними нет.

Казалось бы, культуру Серебряного века разобрали по полочкам, расфасовали по ящикам, всё уже давно известно. Но Валерий Байдин так не считает. В новой книге он пытается воссоздать общую атмосферу того времени, делает историческую реконструкцию духа эпохи. Валерий заметил одну очень простую вещь – символисты, акмеисты, футуристы и представители других направлений жили не обособленно. На них влияли одни и те же факторы, все увлекались в то время, скажем, антропософией и оккультизмом. Интерес к тайным наукам являлся общим для европейской культуры того времени.

Влияние Петра Успенского и Папюса, Элифаса Леви, Елены Блаватской, Рудольфа Штейнера на писателей и художников русского модернизма было немалым. О влиянии оккультизма обычно вспоминают, говоря о романе Валерия Брюсова «Огненный ангел». Но оно было гораздо шире. Мистика, теософия – общее увлечение того времени.

Валерий Байдин исследует влияние тайных наук на формирование русского авангарда. В частности, на супрематизм Малевича. Хотя питерские авангардисты были идейными противниками символистов, у чёрного квадрата Малевича, пишет Байдин, был литературный предшественник – чёрный куб из романа Андрея Белого «Петербург». Белый – связующее звено между символистами и футуристами. Он, так сказать, футуристический символист. В 1911 году Белый взошёл на египетскую пирамиду и впоследствии называл это событие поворотным моментом своей жизни. Изменённое сознание и подтолкнуло его к созданию «Петербурга».

Чёрный квадрат Малевича символизирует распыление мира, а также созидание через разрушение. И всё это, как символ, предшествовало большевистской революции. Всего у Малевича было три супрематических квадрата – чёрный, красный и белый. Но для большинства людей три квадрата были слишком сложным умозрительным построением. Поэтому в творческом сознании остался только чёрный квадрат. В «Победе над Солнцем» чёрный квадрат возник почти случайно – методом поисков, проб и ошибок. И только через два года Каземиру Малевичу удалось супрематически его обосновать. «Чёрный квадрат» – это философия цвета, данная не в трактате или эссе, а в одной конкретной картине. Всё это подробно изложено в книге Валерия Байдина.

Идейно влияли на формирование русского авангарда и другие персоналии Серебряного века. «Жёлтый звук» Василия Кандинского, пишет Байдин в статье «Оккультная мистерия русского авангарда», явился предтечей будетлянских «Чёрного квадрата» и «Победы над солнцем». «Победа над Солнцем», как и другие проделки футуристов, выглядела как эстетическое хулиганство, и вниманием к этому перформансу мы обязаны в первую очередь тем, что минимум два участника акции – Хлебников и Малевич – стали потом признанными гениями. Футуристы хотели революционным образом избавиться от упорядоченности мира, разбив старые ценности и пытаясь из этих кусков творить новое. Это есть у Малевича не только в картинах, но и в стихах:

Меня распяли бранными словами, но чисто
моё сознание.
Как чисто лицо моей живописной таблицы.
Я дам тебе жизнь, моя милая краска.
Ты невинная, и нет в тебе упрёка.
Ты чиста, как звезда.
И никакие слова грубых людей,
жрецов старого заката,
Не оскорбят тебя.
Я принял всё на себя, на голове
моей венок из бранных слов; чувство
моё пробито гвоздями заржавленного
сознания.
Друзья мои обнесены забором
позора.
Смех, свист, негодование, презрение
толпы покрыло меня как ночь.
Я тронул храм старого черепа,
[и закопошились уже уснувшие
друзья мои.]
прикрывавшего пепел старого искусства.
Пусть всё бежит и бежит.
Но зачем же просыпаться в Искусстве,
будто Рафаэли? Не обращайте внимание
на 20, 30, 40 век.

Глубокие работы посвящены у Байдина творчеству Хлебникова и Маяковского. Хлебников считал, что сама жизнь поэта – разновидность самоубийства: *«Как моль летит на пламя свеч, / Лечу в ночное Бога око»*. «В течение многих лет, – пишет Байдин, – Хлебников колеблется между экстатическим утверждением жизни как «вечного возобновления» и устремлением к смерти как «пределу», за которым следует «преображение» и «иная жизнь» в воображаемой стране будущего». Маяковский ещё в 1915 году в поэме

«Флейта-позвоночник» предаётся мрачным размышлениям: *«Всё чаще думаю – / не поставить ли лучше / точку пули в своём конце»*. Лиля Брик подтверждает в своих мемуарах, что мысль о самоубийстве была хронической болезнью Маяковского, его «террором» по отношению к ней. В это время в России прокатилась волна самоубийств у творческой молодёжи. Любовные и творческие неудачи при высоко задранной планке, усталость от жизни и вера в смерть как «экстаз освобождения» подталкивали поэтов к роковому шагу. Но всё это происходило только у детей Серебряного века. Ни до, ни после них такого вала самоубийств в творческой среде не было.

Валерий Байдин не просто учёный-эрудит. Он мыслит и пишет как поэт. Послушайте, как он говорит о Маяковском: «Именно так, с пистолетом в руке, он попытался перейти последний рубеж между поэзией, жизнью и своим „неодолимым врагом“ – Богом». На смерть «держал равненье» и Александр Введенский, которому тоже посвящена в книге большая статья. Введенский, не без основания считающийся абсурдистом, мог писать и совершенно прозрачные, «пушкинские» строки. Как и в случае с Мариной Цветаевой, мы до сих пор не знаем точного места захоронения этого замечательного поэта.

«Архетипы и символы русской культуры» – ценнейшая книга для писателя. Она не уступит, на мой взгляд, по глубине исследований культурологическим работам Павла Флоренского и Мирчи Элиаде. Рекомендую её всем, кто стремится иметь более обширные знание о русской культуре. Книга поможет читателям системно и в динамике видеть Серебряный век русской поэзии. Не только поэты, но и художники, композиторы, театральные режиссёры, меценаты вносили свою лепту, формируя пёструю картину мира начала XX-го века. Пора уже, наконец, «переварить» это наше общее достояние в полном объёме.

«РАСПАХНИ СВОЁ ЗЕРКАЛО НАСТЕЖЬ…»

(Ефим Бершин, Мёртвое море. – СПб, Алетейя, 2021. – 136 с.)

Поэт Ефим Бершин, с его уникальным военным опытом Приднестровья и Чечни и неприятием войны как таковой, сегодня актуален даже со старыми военными стихами, потому что всё повторяется. Неожиданно актуальной в эти дни стала и тема исхода, которая присутствует во многих книгах поэта. А ещё у Бершина мы слышим шекспировскую ноту: распалась связь времён.

По выражению Бершина, сегодня главный подвиг для человека – самостояние. Это бесконечное, острое, от ножа, самостояние человека перед судьбой и Богом: *«Неужели столетье меня победит, / как в кино, / расстреляв из последнего кадра?»*. Многие стихи, вошедшие в «Мёртвое море», уже знакомы читателям по предыдущим публикациям. Сочетая голос и содержание, Ефим читает свои стихи на уровне лучших поэтов-шестидесятников. А, может быть, даже лучше.

Бершин, с одной стороны, метаисторичен, с другой – гиперсовременен. За его стихами стоит личность, человек, много повидавший и осмысливший, с безупречным языковым вкусом и собственным, ни от кого не зависящим мировоззрением. В любом времени появляются художники, которые именно свою эпоху видят наиболее трагической. Безусловно, Ефим – поэт тревоги. Силовые линии потерь и возмездий пролегают у Бершина от времён Ветхого Завета через Христа к сегодняшнему дню.

Море – форточка неба, которую выбил Бог.
И свобода – уже не свобода, а пепел Завета.
Я влачусь по пустыне уже за пределом свобод,
за пределом любви, за пределом пространства и света.

Перепуганный ястреб растаял в пространстве пустом,
в беспорядочном свете, как в стае взбесившейся моли.
Что ни город вдали – обязательно город Содом.
Что ни море у ног – обязательно Мёртвое море.

И куда ни пойду, и чего ни коснётся рука –
всё уходит в песок, обращается всё в пепелище.
Я влачусь по пустыне.
Я – часть мирового песка
из песочных часов,
у которых оторвано днище.

О чём бы ни писал Ефим, язык у него – «болевой». Порой мне казалось, что Бершин «передавливает» с трагизмом жизни, преувеличивает страдания, отсутствие перспективы, дурную бесконечность. Что на самом деле всё не так плохо. Но проходило какое-то время, и я понимал, что поэт прав, что от-

носительное спокойствие – только маскировка ждущих своего часа драматических событий, временная передышка перед бурей. Наверное, оптимист и пессимист бывают правы поочерёдно. Как только время возвращается к агрессивной бездумности по отношению к человеку, стихи Бершина становятся ценным откликом на современность, хотя, может быть, написаны много лет тому назад и совсем по другому поводу. Мне кажется, его нынешний насыщенный, ударный, трагический стиль письма сформировался в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. Драматизм жизни облагорожен и смягчён у поэта музыкой. У Бершина звучит даже воздух. Интонация – энергетически мощная; стихотворение летит на крыльях ритма. На языке Бершина поэзия и музыка – одно:

Что музыка?
Один звучащий воздух,
украденный у ветра и калитки.
Мы тоже кем-то сыграны на скрипке.

И, словно тополиный пух, на воду
садящийся, мы тоже безъязыки,
как первый снег или ребенок в зыбке,
как лёгкий скрип январского мороза.

И исторгнутые, словно сгоряча,
размашистым движеньем скрипача,
ни замысла не зная, ни лица,
обречены до самого конца
искать следы шального виртуоза.

У Бершина часто встречается «перевёрнутый» мир, где мы – только клавиши, только струны под волшебными пальцами Музыканта. Мы «тоже кем-то сыграны на скрипке». Мы – звук. Мы играем, но играют и нас. Поэт часто использует в стихах «страдательный залог» – когда ощущаешь себя объектом чьих-то действий. При этом фокус внимания смещается с окружающего мира на себя, и видишь себя несколько отстранённо. Объект и субъект внимания сливаются в одном персонаже. Не случайно в своих стихах Бершин часто спорит с Богом. Я бы назвал это обратной перспективой: *«Я безумен. Я един в трёх лицах». «Я ничего тебе не доказал. / Ты мне – тоже».* Или такое:

Я пытался понять, что бывает с ноктюрном,
улетающим в ночь за пределы смычка
в переулки, где нищие рыщут по урнам,
и ревёт по подъездам собачья тоска,

где циничное время гуляет по паркам,
где уже никого никуда не зовут,
где ребёнком, на игры и сладости падким,
я пытался поймать исчезающий звук

и смеялся, и глухо давился зевотой,
убегал и кому-то дерзил сгоряча,
догадавшись, что сам был отыгранной нотой,
жалким звуком, упавшим из рук скрипача.

И дальнейшее было смешно и нелепо.
Но глядело из мрака, дразня и маня,
бесконечное, страшное, чёрное небо.
Ну чего тебе надо ещё от меня?

Свобода воли существует для человека только в его воображении. Есть только иллюзия свободы: *«Как сладостна, как гибельна свобода, / лишённая начала и конца!»*. Нет ориентиров – только пространства и сквозняки. И такая «свобода» поэта совсем не радует. Свобода – одно из стержневых понятий в поэтике Ефима Бершина. Он перманентно переживает гамлетовскую ситуацию: время вышло из позвонков. Но счастливые эпохи редко порождают больших поэтов.

«Мёртвое море» – название символическое. Мёртвое море противопоставлено морю живому – морю жизни. У Бершина есть замечательные стихи, которые не до конца понимаешь, даже если показалось, что понял. В них остаются герметизм, непрозрачность, загадочность. Кто за кем гонится в стихотворении «И снова я к тебе не успеваю?». Понятно, что эпоха гонится за поэтом, но он всё равно впереди. Так и должно быть. Поэт впереди своей медлительной страны. Только к кому не успевает человек? Мы теперь много знаем об относительности – скорость звука не успевает за скоростью света. Наверное, не всё в своих стихах понимает до конца и сам автор. Вот что он говорил в одном из своих интервью: «Учёный сначала ищет, а потом находит. А поэт вначале находит, а потом долгие годы ищет, что же он такое нашёл, и долго сам не может этого понять». Так что читатель Бершина и сам Ефим, как ни парадоксально, находятся в одинаковых условиях. Поэт-транслятор, возможно, и не должен стремиться к тому, чтобы его понимали. Загадочность строк стимулирует энергию постижения.

У Пушкина в поэтике главенствует день, «мороз и солнце», у Тютчева – ночь, а у Бершина – вечная, непроходящая осень, которая, если повезёт, способна дотянуть до зимы.

Эта осень расставила всё по местам
и застыла на веки веков.
Потому что кончается век-Мандельштам,
и является время волков.

Ефим Бершин много говорит о диссонансах бытия, о космическом одиночестве человека на земле: *«Я с одним крылом. II ты с одним. II стая улетела»*. Книги у поэта выходят не так часто, и это импонирует мне больше, чем непомерная и ничем не оправданная литературная плодовитость. Дело даже не в том, что каждое стихотворение нужно писать, как говорил Ницше, «кровью сердца». Хотя и это – тоже. Есть авторы, которые сами проводят среди своих стихов естественный отбор ещё на уровне замысла. И это вызывает уважение. Вневременной по своей сути, Ефим крепко привязан к своему времени, как к части бесконечной истории.

Поэту-перфекционисту всё, что не «золотой век», представляется нескончаемым и губительным «исходом». «Мне кажется, что всю свою жизнь люди пытаются вернуться туда, откуда их когда-то изгнали», – говорит Бершин. Исход народа и смена среды обитания/обетования у человека – вещи одного порядка. Сущность как человека, так и народа – транзитна: всё проходит, из одной вечности – в другую. Тектонические разломы времени, Бог – сквозные темы творчества Ефима. Его поэзия – это предчувствие и предсуществование в поисках «правослОвия».

Стихи Ефима Бершина тяготеют к цикличности. Намёки, полунамёки, эмоции, импрессионистические мазки выстраиваются в циклах. Такова, например, «Армения», другие циклы стихов. Армения в поэзии Бершина выступает как связующее звено между Древней Иудеей и Москвой (Третьим Римом). Цикличность – закономерная вещь для стихийной поэзии, которая произрастает «из ничего», на голом месте.

Найти себя в мире сложно, поскольку мир не находит себя в нас. Но можно *«распахнуть своё зеркало настежь и тихо войти в этот мир, отразивший закат и дыхание лилий»*. У Ефима многое в стихах идёт «поверх текста». Человек мультикультуры, он всегда пишет «о главном». Нельзя не заметить, говоря о «Мёртвом море», преобладание в книге темы вековых, из поколения в поколение длящихся испытаний, их преодоление словом. Во многих стихах Бершина есть скрытая символика. Так, например, когда он говорит о шестом или седьмом круге судьбы, мне кажется, речь идёт о десятилетиях жизни как одном дантовском круге, где рай, ад и чистилище одновременны. И, возможно, лучшее чистилище для человека творческого – именно поэзия.

«БЕЗУМСТВОВАТЬ – ПРАВО ПОЭТА…»

(Андрей Галамага, Поводырь. Книга стихотворений. – М., Новый ключ, 2021. – 232 с., ил.)

«Поводырь» – как ни странно, первая за последнее десятилетие книга Андрея Галамаги, хотя стихи его всегда востребованы, постоянно выходят в толстых журналах и звучат на поэтических фестивалях. В лице Андрея я вижу человека, у которого жизнь и творчество неразделимы и зеркально отражаются друг в друге. Это редкое и замечательное качество. Андрей – автогонщик и бильярдист, он перечислит вам всех чемпионов «Формулы-1» от её основания до наших дней. А ещё он – заядлый футбольный болельщик. Среди писателей не так много знатоков спорта. Это сейчас не модно. Гонщицкие пристрастия Андрея отзываются и в его стихах:

Блажен, кто умер, думая о Боге,
В кругу благовоспитанных детей.
А я умру, как гонщик, на дороге,
С заклинившей коробкой скоростей.

…Мне не достало чуточку удачи.
Но, помнишь, мой небесный знак – стрелец.
И я достигну верхней передачи
И всё из жизни выжму под конец.

И мне не будет за себя обидно,
Я гонку честно до конца довёл.
И если я погибну, то – погибну
С педалью газа – до упора в пол.

Те, кого возил Андрей на своей машине, не дадут соврать – именно так он и ездит. Так он и живёт – на полную катушку, с адреналином и драйвом. *«Жить – на пределе, но на деле / Так жажду и не утолить»*. Спортивность проявляется у поэта ещё и в том, что он не приемлет поражений. «Я жить привык азартно», – говорит Андрей. Азарт игрока роднит поэта с Пушкиным.

Я проиграл. Но я ещё живой.
А коли так, я всё-таки уверен,
Последний бой – останется за мной.
И значит – я сдаваться не намерен.

Проходит всё, сказал Экклезиаст.
Но я себе позволю усомниться,
Ведь я борюсь не за себя – за нас,
И мне простится лёгкая ехидца.

Я преклоню колени в честь твою
В преддверьи неизбежного сраженья,
Ведь лучше быть поверженным в бою,
Чем выжить, испугавшись пораженья.

…Пусть все, кого любил и с кем дружил,
Советуют – смирись, остынь, расстанься.
Я проиграл. Но я покуда жив.
И значит – до последнего не сдамся.

Непокорённость – очень симпатичная черта у Андрея. Про таких говорят – настоящий мужчина. Галамага – поэт, успешно читающий со сцены. Он помнит весь основной короб своих стихотворений наизусть. Отсюда – плюсы и минусы его поэзии. Существует связь между памятью поэта и формой его стихотворений. Тяжёлые, плохо зарифмованные стихи и помнятся не очень. И, наоборот, стихи с хорошим звуком, логически выстроенные, запоминаются на раз-два. Длинные стихи читаются ярче, чем короткие. Подобно Борису Пастернаку, Андрей Галамага прошёл эволюцию от сложного к простому. Мало кто знает, что Андрей начинал как авангардист. Но авангард не смог укорениться в душе поэта, и сейчас в стихах Галамаги, наверное, ничто уже не напоминает об этом периоде в его творчестве. Подобные процессы происходят постепенно. Не бывает так: захотел – и стал писать по-другому. Этому предшествуют внутренние преобразования. Возможно, сложный, с ответвлениями, мир человека со временем упрощается оттого, что поэт находит ответы на какие-то сакральные вопросы, определяется по жизни в главном.

Я шёл к себе. Путями непростыми.
Грешил, отчаивался, унывал.
Что ж, на ступеньку рядом со святыми
Я никогда и не претендовал.

Но верил, словно истинный ревнитель,
Сквозь разочарование и боль,
Спаситель примет всех в свою обитель
И упразднит досужий фейс-контроль.

Что импонирует в лирике Галамаги – он никогда не приукрашивает своего лирического героя. Перед нами – реальный человек из плоти и крови, с сомнениями и ошибками. Его жизненная философия – стоицизм перед лицом неизбежности. В «Поводыре» собрано самое главное, что написал в течение жизни Андрей. Новая книга Андрея не совсем обычна: она большая, но малоформатная. Это «карманная» книга объёмом в 232 страницы.

У Андрея в «Поводыре» много любовной лирики. Поэт долго искал свою идеальную возлюбленную, и за это время написал много пронзительных стихов о любви. «Безумствовать – право поэта», – говорит Галамага. В его стихах есть рыцарство современного трубадура и миннезингера: *«Я к тебе пришёл из одиночества, / И меня не испугаешь им»*. Любое настоящее искусство требует жертв: без боли нет глубинного переживания. *«Мне досаждает эта боль, / Но эта боль – моя»*, – пишет Галамага. Поэт знает, что сказать при встрече понравившейся женщине. Он не будет лезть за словом в карман: *«Жара под крыши горожан гнала; / Но ты, без преувеличенья, / И в зной казалась краше ангела, / Увиденного Боттичелли»*. Женские портреты Андрея убедительны. Он прекрасно понимает, что с женщинами нужно быть и стоиками, и эпикурейцами. Любовная лирика традиционно считается в последнее время «вотчиной» женщин, но Галамага, думаю, точно им здесь не уступит.

Андрей – театрал, он много лет проработал в театре завлитом. Однако театральных реминисценций в его стихах не так много. Есть, правда, стихотворение «Актёр», представленное в «Поводыре». Зато в его лирике постоянно всплывают названия московских улочек. Стоит ноге поэта ступить, скажем, на Маросейку или Ордынку, как эти улицы откликаются на его появление стихотворными строчками. Далеко не каждый автор умеет поэтизировать места своих прогулок. Секрет прост: эти уютные улочки невольно оказались свидетелями романтических встреч поэта, «фоном» любви. Но это не просто пейзажные зарисовки. Обычно в одном и том же стихотворении у Андрея симфонически звучат все его любимые темы – скорость, жажда жизни, любовь, умение видеть и ценить красоту во всех её проявлениях. Интересуется Андрей Галамага и нашей историей. Он говорит о необходимости извлекать уроки из исторического опыта:

Что за народ, который не идёт,
Когда его в учение зовёт
История неумолимый опыт!
Всего себя готов растратить он,
Но так и не задать приличный тон –
И, наконец, сойти на робкий шёпот.

Видимо, эта тема волнует поэта постоянно. Читаем у него в другом стихотворении:

Весь опыт прошлого ни разу нам
Не удалось принять за правило,
И руководствоваться разумом
Ничто нас так и не заставило.

В «Поводыре» много ностальгических стихов о путешествиях – здесь представлены Лондон, Венеция, Одесса, Котор, Ярославль, Рига, Алтай, другие города и страны. Некоторые стихи Андрея невозможно читать без улыбки – это ещё одна яркая грань его дарования: *«Безжалостная, будто мафия, / А может, и намного злее, / Любительница амфибрахия / И ненавистница хорея»*. Или возьмём его стихотворение «Человек хороший». Это у Андрея какой-то особый, фирменный юмор – иронический, гротескный. Я часто участвовал с Андреем в одних поэтических мероприятиях, поэтому многие его стихи знаю «с голоса». Но некоторые стихи из новой книги явились для меня откровением. Например, вот это стихотворение о вдохновении музыканта, заставляющее вспомнить раннего Пастернака:

Высвобождена клавиатура.
Воздух сжался в звуковой сигнал.
Музыканту не важна натура,
Ни любовь, ни смерть, ни идеал.

Растекается брусчаткой клавиш
Ломкий ливень падающих рук;
Ты играешь, как диагноз ставишь, –
Как стрелок, стреляющий на звук…

Правда, немного смущает меня в этом стихотворении «стреляющий стрелок». Андрей превосходно выступает в стихотворениях в качестве рассказчика. Порой у него это лирическая исповедь. Его поэтический дар гармоничен. Он сознаёт миссионерскую важность деятельности поэта:

Возможно, я умел не так уж много
И, может быть, не многого хотел,
Но мне досталось освещать дорогу
Тем, кто до тьмы вернуться не успел.

Являясь поэтом, прежде всего, романтическим, Галамага чаще использует в стихах привычную силлаботонику. Но присутствуют и элементы его авторского стиля. Он часто употребляет в лексике длинные слова из пяти и более слогов: светопреставление, двухстворчатая, высвобождена, смалодушничал, заиндевевшие, непреодолимей, перламутровые, самоистребленье и т.п. Эти длинные слова придают строчкам Андрея своеобразную окраску. Поэт использует пиррихии, в которые аккуратно ложатся все эти многосложные слова. «Поводырь» – книга высоко эмоциональная, никого не оставляющая равнодушным. В добрый путь, новая книга!

«КОГДА МЫ ПРЕВРАТИМСЯ В ИМЕНА»

(Евгения Джен Баранова, Где золотое, там и белое. – М., Формаслов, 2022. – 102 с.)

Лирика Евгении Джен Барановой дневниково-исповедальна. Повествование часто идёт от первого лица, в стихах много «я». Внимание поэта к себе выше, чем любопытство к окружающему миру. Баранова очень хорошо переосмысливает чужие цитаты: «Я там была, где не был мой народ», «Мир меня поймал, но не ловил». Эти изречения настолько известны, что не требуется даже уточнять, кому они принадлежат. «Когда мы превратимся в имена» кажется аллюзией на строки Мандельштама, посвящённые Цветаевой: «Нам остаётся только имя, / Чудесный звук, на долгий срок. / Прими ж ладонями моими / Пересыпаемый песок». Аллюзивность, конечно, не снижает ценность стихов Евгении. Есть темы, которые будут звучать и через сто лет после нас, поскольку они важны. Просто кто-то первым обратил на них внимание, у кого-то на них «право первой ночи». Читая стихи наших современников, мы благодаря им не забываем и о классиках. Вот это стихотворение Барановой опять-таки отсылает нас к раннему Мандельштаму:

Неужели в мире новом,
где осалиться легко,
верят лунные коровы
в голубое молоко?

Греют дымными боками,
чешут полые рога…
Неужели это с нами
происходят облака?

Март сменяется апрелем,
щиплет изморозь траву.
Неужели, неужели
существуем наяву?..

Вот что было у двадцатилетнего Осипа: «Я блуждал в игрушечной чаще / И открыл лазоревый грот… / Неужели я настоящий / И действительно смерть придёт?». Евгения возвращает нам удивление: жизнь часто представляется нам почти ирреальной. Одновременно мы растрачиваем её по пустякам: «Жизнь – возможность тратить душу / на ненужные дела».

Я слишком тёплая, я слишком ножевая,
по мне бежит водица дождевая,
по мне идёт бровастый пионер
и галстуком расчерчивает сквер.

Я слишком земляная, плоть от пыли,
я помню всех, кого недолюбили,
их лица отражаются в моём,
а я дрожу, как вязкий водоём.

А я плетусь кореньями Толстого –
до скорого, до четверти шестого,
почтовые, товарные – вперёд.
Я там была, где не был мой народ.

Я там была – а вынырнула рядом,
я камбала с глазницами снаряда.
Я тёплая – угля не сосчитать.
Я зайчика отправилась искать.

Попробуйте сосчитать эти «я» у поэта. Часто это персонификации, стилизованные под самоиронию. Порой это разительный контраст – «тёплая» и «ножевая». Евгения часто использует принцип контраста как стилистический приём. Например, «мне так невыносимо, так светло». Стихотворение, из которого взята эта строка, возможно, лучшее в книге.

В желании сродниться есть тоска,
недвижная, как тело языка,
когда его касаются стрихнином.
Так ледоколы мнут рубашку льдин,
так ищут дочь, так нерождённый сын
скользит над миром пухом тополиным.

Мне так невыносимо, так светло,
я так роняю каждое «алло»,
что, кажется, прошу Антониони
заснять всё это: кухню, стол, постель,
засохший хлеб, молочную форель
ко мне не прикоснувшейся ладони.

И если говорить начистоту,
то я скорее пламя украду,
отравленную выберу тунику,
чем буду улыбаться и смотреть,
как мальчики, идущие на смерть,
на небе собирают голубику.

У Джен Барановой личное важное редко совпадает с общественным, поэтому многие её стихи камерны по звучанию и значению. У неё блестящая эрудиция и потрясающий языковой инструментарий, а её чувство ритма вызывает у автора этих строк белую зависть. И в этом стихотворении камерное (кухня, стол, постель, засохший хлеб) расширяется у поэта до большого, вселенского (ледоколов, льдин, картин Антониони, мальчиков, гибнущих на войне). В кадр попал даже огонь Прометея («я скорее пламя украду»). Лирический стоицизм, беззащитность перед Промыслом, преодоление малособытийности, инфантилизма духа, самостояние поэта перед враждебными вихрями – мелодии многих стихотворений Евгении Джен Барановой. Многие страницы книги посвящены внутренней борьбе героини с собой: *«Я тварь в тебе убитую / – дрожащую – люблю»*. Излом, болезненность, безысходность, пессимизм, упадничество, декадентство – вот широкий спектр жизненных проблем, выпадающих на долю современного человека, жителя мегаполиса: *«Как постыло, как простудно / в нашем садике камней. / Обними меня. Мне трудно. / Отпусти меня ко мне»*. Как всегда, в книге много любовной лирики, порой с эротическим подтекстом.

Не расстраивайся, маленький,
не бросай меня всерьёз.
Что любовь?
В лесу проталинка,
тело, полное стрекоз.

Что печаль?
Четыре выстрела –
синий серого клюёт.
От земли душа отчистила –
жаль, до свадьбы заживёт.

Так и выпрыгнем в историю
с георгинами в руках…
Что разлука?
Аллегория,
пересадка с МЦК.

Из любовной лирики, представленной в книге, я бы выделил ещё вот эти стихи: «Нам нужно уехать куда-нибудь врозь…», «С тоненькой шеей, в высохшем свитерке…». Почти всегда удачное стихотворение у Евгении – это, прежде всего, верно найденный ритм, потому что образность всегда у неё на высоте. Как только ритм совпадает с замыслом – невозможно оторваться от чтения даже очень драматичных строк: *«Нам нужно уехать куда-нибудь врозь. / Смотреть на озёрных печальных стрекоз. / Глотать родниковый рассеянный свет. / Уехать туда, где и памяти нет»*. У Евгении есть редкостное умение довести мелодию стиха до конца. Стихотворение у неё заканчивается именно там, где и должно заканчиваться, не раньше и не позже. Обращает на себя внимание и цвет в стихах Барановой. Вот, например, печаль – «синий серого клюёт». Просто Кандинский! Тут же на ум приходит название всей книги – «Где золотое, там и белое», символизирующее вечное лето. Ещё пример творческого использования Евгенией цвета: *«Лечу ли аистом над крышами, / пытаюсь тенью рисковать – / лишь золотистой пылью вышиты / на белом воздухе слова»*. Опять вариации на тему «золотого и белого». Книгу Барановой хорошо дополняют «шагаловские» картины Саши Николаенко, которая больше известна не как художник, а как прозаик.

Обращает на себя внимание пластичность поэтики Джен Барановой. Образы, расслаиваясь, множатся, охватывают всё большее пространство. В приведённом ниже стихотворении хорошо обыграны игла Кощея Бессмертного и виниловые пластинки, «Пена дней» Бориса Виана и салат «Цезарь».

Но что мне до, когда нелепа мгла,
когда в тебе шевелится игла –
расплёскивает солнце по винилу.
Игрушечный бездарный режиссёр,
смотрю на эту музыку в упор,
не замечая конников Аттилы.

Когда мы превратимся в имена,
от пены дней останется слюна,
от цезаря – салат или могила.
У наших храмов призраки звенят,
расстрелянных приводят октябрят,
но смерти не бывает – я спросила.

Последняя строка возвращает нас к разговору о главном. В новой книге Барановой огромное, невероятное количество персонификаций. *«Я мелкая пыль – как меня ни гони, / забьюсь под рукав и усну. / Вокруг происходят великие дни, / на шее сжимается сноуд. / То катятся к чёрту, то лезут наверх, то песнь хоровую поют. / А я только снег, только снег, только снег, / лечу потихоньку, клюю»*. И таких фрагментов очень много. *«А я только шорох, я только вода, / стиральный / зубной порошок»*. Или даже так: *«Я золотой старик, / бронзовая реторта. / Господи, я тростник, / сломленный и протёртый»*. Ещё одно контрастное сопоставление – старик и тростник. Много самоиронии: «хлопковая куколка пустая», «я жалкая, я крохкая», «я мелкая пыль», «я слишком земляная», «я камбала с глазницами снаряда» и т.п. Но даже обилие самоиронии не может разуверить читателей в том, что «Золотое и белое», вопреки названию – книга трагическая, и жизнь человека – целиком во власти Господа. Вот «когда мы превратимся в имена» – нашим потомкам может показаться, что всё было не так уж плохо. Если, конечно, стихи пробьют себе дорогу в будущее.

ПРЕДЧУВСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ОБМАНЫВАЮТ

(Максим Лаврентьев, «Весь я не умру…». – М., Вест-Консалтинг, 2021. – 188 с.)

Поэт Максим Лаврентьев, безусловно, человек талантливый и разносторонний. Выпускник Литинститута им. А.М. Горького, он работал главным редактором журнала «Литературная учёба» в годы его широкой известности. На поэтическую эссеистику Максима я «набрёл» не случайно. Однажды мне посчастливилось слушать его лекцию в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. Там Максим рассказал очень интересную историю, которая предваряет и новую книгу. Речь шла о стихотворении малоизвестного американского поэта Карла Сэндберга. Это романтическое стихотворение перевёл известный поэт Серебряного века Михаил Зенкевич. Герои выбирают, куда они вдвоём отправятся путешествовать – к белой звезде или голубой. Переводчики Сэндберга путали то время, которое предстояло провести в пути, то скорость передвижения, то его последовательность. В зависимости от этих нюансов, смысл стихотворения радикальным образом менялся. Даже с любимым человеком вряд ли захочешь путешествовать сто лет, поскольку это превышает длительность обычной человеческой жизни. Впервые услышав эту историю в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи», Лаврентьев на всю жизнь увлёкся литературой, разгадыванием скрытых смыслов стихотворений. Притча о белой и голубой звезде, рассказанная поэтом, запала мне в душу: всем нам, так или иначе, приходится выбирать между синицей (белой звездой) и журавлём (голубой), и я стал пристально следить за творчеством Максима.

В книге «Весь я не умру…» Лаврентьев разгадывает тайны поэтов-классиков. В целом книга посвящена предчувствиям смерти у великих поэтов. Но Максим рассказывает параллельно и о предчувствиях, не связанных с уходом в мир иной. О профетическом даре у наших классиков, в широком смысле. Книга получилась у Максима остро эмоциональной. В трудах Лаврентьева есть нерв, поле высокого интеллектуального напряжения. Некоторые страницы, например, о преследовании государством обэриутов, невозможно читать без сочувствия. Максим любит своих героев, ценит их творчество как поэт, и мы слышим в его очерках сострадание к их судьбам.

Хотя книга Максима – биографическая, каждый поэт рассматривается в ней сквозь призму определённого угла зрения: предвидения обстоятельств ухода. Название ей дала крылатая строчка из пушкинского «Памятника». Это же выражение использует в своём «Памятнике» и Гавриил Державин, так что «Весь я не умру» – в сущности, двойной эпиграф. Наверное, сейчас у нас – время собирать камни. Выходит много книг о великих поэтах, которые анализируют их творчество. Внутри наследия классиков тоже кипит работа: какие-то произведения устаревают, а какие-то, наоборот, становятся более актуальными. Исследования о жизни великих поэтов компонуются, как правило, в хронологическом порядке. Не отходит от традиции и Максим Лаврентьев. Действительно, было бы странным начинать с Евтушенко или Бродского и заканчивать Державиным и Ломоносовым.

Книга Максима Лаврентьева «дышит», многие статьи обладают диссертационной ценностью. Державин, Баратынский, Веневитинов, Пушкин, Лермонтов, Блок, Маяковский, Хлебников, Белый, Сологуб, Вагинов, Заболоцкий, Рубцов, Хармс, Введенский – вот только беглый перечень имён, присутствующих в новом издании. Конечно, книга Максима Лаврентьева неоднородна. Это естественно, поскольку материалы, обобщающие творчество разных писателей не пишутся последовательно, от первой до последней страницы, а собираются по мере накопления материала. Есть мнение, что великий поэт не может написать плохое последнее стихотворение. Максим исследует не только финальные стихи русских гениев, но и предчувствия, написанные ими задолго до смерти. Державин, например, успел написать не только «Памятник», но и «анти-памятник» – «Реку времён»:

Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.

Может быть, это самое пессимистическое стихотворение во всей русской литературе. Согласно Державину, смертны даже, казалось бы, бессмертные литературные шедевры. Максим Лаврентьев подверг творчество Гавриила Романовича глубокому анализу. «Река времён», приведённая выше, оказывается, представляет собой акростих – «Руина чти». Возможно, поэт таким образом призывает нас смириться с неизбежностью разрушений. Если само стихотворение не допускает различных толкований, то акростих, который его обрамляет, по мнению Лаврентьева, может трактоваться исследователями по-разному.

Пророчества у поэтов бывают разные. Вот, например, предсказания Лермонтова: «Настанет год, России чёрный год, / Когда царей корона упадёт». Максим Лаврентьев считает, что это не только пророчество о революции, но и весть о грядущем расстреле царской семьи. А вот ещё одна интересная деталь из эссе о Лермонтове. «Рассказ Гагарина о виде Земли из космоса похож на черновик стихотворения Лермонтова „Выхожу один я на дорогу“», – пишет Максим Лаврентьев. Речь идёт о строчках: «В небесах торжественно и чудно! / Спит земля в сияньи голубом». Безусловно, какие-то факты и подробности из жизни классиков известны нам лучше, какие-то хуже. То же самое происходит и со стихотворными строчками. Разнообразие предчувствий у поэтов – главный итог книги Лаврентьева.

Порой Максиму удаются нетривиальные, но при этом точнейшие и блестяще сформулированные портреты гениев русской словесности. Вот, например, что он пишет о Пушкине: «Склонность к опасному заигрыванию с властью, тяга к разного рода мистификациям, вкупе с задиристостью характера, доходящей временами до бретерства, позволяют предположить в Пушкине Игрока. И если внешне всё выражалось в известной зависимости его от карточных игр, то тайной свободой стало для поэта чувство безнаказанности в играх с людьми и судьбой».

Лаврентьев прозорлив, и его ясновидение выражается самыми точными словами. Вот почему я рекомендую эту книгу для прочтения людям искусства. «Покой и воля необходимы поэту для освобождения гармонии», – продолжает своё «пушкинское» священнодействие Максим Лаврентьев. Важно, что поэт вдохновенно говорит о поэтах. Он хорошо анализирует, глубоко проникая в замыслы классиков. Максим, в сущности, гермегевт, – толкователь тайных смыслов, проскальзывающих между строк стихотворений великих поэтов.

Жанр эссе у Лаврентьева «по-монтеневски» разнообразен. Есть даже «критика критики». Защищая талант Евгения Баратынского, Максим не соглашается с критикой поэта Виссарионом Белинским. В этой статье, как и в статье о Хлебникове, Лаврентьев вскрывает ещё один важный аспект творчества наших классиков. Бывает так, что их современники «не слышат» того, что в полной мере откроется только далёким потомкам. Три века русской поэзии позволяют нам взглянуть на творчество гениев и с этой стороны: «большое видится на расстояньи». В «Последней смерти» Баратынского мы в 21-м веке наконец-то «расслышали» строки о создании авиации и искусственных островов:

Уж он морей мятежные пучины
На островах искусственных селил,
Уж рассекал небесные равнины
По прихоти им вымышленных крил.

Баратынскому были свойственны скромность и одновременно спокойная уверенность в востребованности после смерти. А ещё в стихотворении «Последняя смерть» Максим расслышал весть об управлении климатом. Эти подробности хорошо показывают, в каком направлении шли творческие поиски Лаврентьева в работе над книгой, что из наследия великих поэтов аукается новыми смыслами только сейчас, в 21-м веке. Есть дар, востребованный человечеством только в будущем. И это, конечно, трагический дар.

Важное значение в представлении писателей имеет подача материала. Дмитрий Быков, например, в книге эссе «О поэтах и поэзии» даёт Пушкина в паре… с Мицкевичем. Максим Лаврентьев поступает ещё круче – Хлебникова он даёт в паре с Нострадамусом, противопоставляя истинного провидца – мнимому. «Законы судьбы, предлагаемые Хлебниковым, были и у астрологов», – цитирует Лаврентьев высказывание Алексея Кручёных. Математик Хлебников «поверил алгеброй гармонию» и, в отличие от пушкинского Сальери, выиграл в перспективе: «Повторное умножение само на себя двоек и троек есть истинная природа времени». Хлебников гениален «выборочно», не для всех: его гениальность признают те, кто умеет прощать поэту неудачные строки за авангардизм мышления, за то, что он попадает в цель, которую другие даже не видят. «Я понял, что я никем не видим…», – сетовал на судьбу Велимир.

В книге Максима Лаврентьева есть широко известные предчувствия и предсказания поэтов (Фёдора Сологуба – «умру от декабрита», Николая Рубцова – «умру в крещенские морозы», предсказание Андрея Белого о смерти от солнечных стрел и т.п.). А вот про магический «красный платок» Даниила Хармса я прочёл впервые именно у Лаврентьева. Не попадалось мне раньше и последнее стихотворение Александра Введенского «Где. Когда». Подытожу: книга эссе Максима Лаврентьева о поэтах представляется мне проектом важным и своевременным. И дело не только в том, чтобы отдать дань уважения и признательности нашим великим предшественникам. Казалось бы, эти писатели и так широко известны, зачем их раскручивать? Но на уровне конкретных строк остаётся множество загадок. Максим пишет о классиках настолько интересно, что заражает читателей желанием открыть том того или иного поэта и перечитать заново. Он выстраивает для своих читателей мосты от одной книги к другой, разговаривая с классиками на равных. Заинтересовавшись материалом, изложенным в книге Максима, я приобрёл новое издание Александра Введенского, о творчестве которого надеюсь рассказать вам в следующий раз.

«ТЫ МЕНЯ ОБНИМИ»

(о военных стихах Бориса Фабриканта)

Поэт Борис Фабрикант, проживающий в Англии, написал в первые месяцы войны цикл разных по своему характеру стихов. Судьба Бориса сложилась так, что он родился во Львове, а в нулевые годы долго жил в России. Дочь поэта и сейчас живёт на Украине, в зоне боевых действий. *«Это не съёмки кино, / Фильм о войне нетленный, / Это стучится в окно / Дочери моей, Лены»*, – с болью в сердце пишет Борис. Широкая география судьбы позволяет ему быть объективным в отражении происходящих событий. Поэт понимает, что небо над враждующими странами одно, на небе отсутствуют границы: *«А небо над одной страной / Перетекает на другую, / Где свет и цвет, и час иной / Над их землёю дорогою. / Не развести по сторонам, / Не перекрасить, не разметить. / У каждого своя страна / И облака, и сны, и дети».*

В наше драматичное время, когда кипят политические страсти, неравнодушному автору сложно бывает удержаться в рамках искусства. Одним из немногих мастеров слова, сумевших остаться в военной лирике в рамках поэзии, и является, на мой взгляд, Борис Фабрикант. Его лирика исходит не из военного опыта, а из человечности: *«Всё, что может, горит, / И чего уже проще, / Не горят фонари, / Пламя стены полощет. / Снова сизые дни, / Как из круглой конфорки, / Словно это они / Погибают на фронте. / Над воронками дым, / По военной погоде, / Жизнь стекает по ним / И уходит, уходит. / Молча молится Бог, / Горло сжало и сушит, / Чтобы смог, чтобы смог / Опознать эти души».*

Во время войны всегда обостряется философский вопрос о бытии Бога: если Он существует, как Он это всё допускает? Остаётся ли в военное время Бог внутри нас? Борис Фабрикант чутко улавливает эти мысленные регистры. Бог у него молится за человека, а человек, воюющий с себе подобными, рискует потерять лучшее в своей душе.

Поэт часто апеллирует в трагической лирике к образам детей. *«Живой войны бессмертный полк детей, / Смешной, плаксивый, нежный, золотой, / Без маршей, флагов, лозунгов, властей / И Идёт, невинный, за другой чертой. / Не вырастут, одежда не нужна. / Лишь песня колыбельная слышна, / В ней вой сирен и самолётный гул, / Под эту песню смертный полк уснул. / И Им жизнь и смерть уже не различить, / Не знать судьбу, ушедшую на слом. / Ты б смог, Господь, глаза не отводить, / Встречая их за взорванным углом?».*

Писать о войне сложно потому, что слову трудно состязаться по эмоциональному воздействию с ужасами войны. А ещё – всё вокруг кажется чёрным и непоэтичным. Куда ни глянешь – всюду «срочница смерть»: *«Какую строчку ни начну, / Всё кажется пустой / Сквозь эту чёрную войну / И чёрный дым густой. / Растает чёрный снегопад / В огне, не от весны, / Там не подснежники видны, / А мёртвые лежат».* У Бориса не только люди, но и пули, и снаряды становятся персонифицированными героями стихотворений. *«Летит, озирается по сторонам / И видит дома и деревья, воронки, / И стаи срываются в крик, птичий гам, / Девчонки, мальчишки, мальчишки, девчонки».* И опять жертвами становятся на войне невинные дети… «Жизнь застыла стеною плача», – сочувствует страданиям мирных жителей в другом своём стихотворении поэт.

Помню, раньше среди писателей не утихали споры, стоит ли писать о войне человеку не воевавшему. Имеет ли он шансы сказать правду об этих страшных экзистенциальных событиях? Лирика Бориса Фабриканта, на мой взгляд, добавляет аргументов сторонникам творчества не воевавших. Прозвучит парадоксально, но военный опыт сковывает писателя и ограничивает. Танкист не станет писать о десантниках или минёрах. Очевидец событий пишет, как правило, только о том, что он видел лично, боясь наврать в каких-нибудь мелочах. А вот Борис Фабрикант свободно и уверенно пишет о действиях снайпера, не имея при этом никакого боевого опыта:

Колеблется привычный горизонт
И абрис крыш, холма, земного тела,
И ставит крест из трубочки прицела
Сержант на весь простор – открыт сезон.

От мягкой пашни пахнет забытьём,
Не молоком прохладным, не житьём,
Битьём, стрельбой и смертью пахнут звуки.
Бог опустил растерянные руки,

Пересмотрел глаза, улыбки, лица.
И снова – стук вбиваемых гвоздей
В гробы и в жизнь. И Бог открыл таблицу,
Чтоб заново пересчитать людей

Напрашивается вывод: логика нас обманывает. В поэзии часто человек, не имеющий опыта в какой-либо профессии, имеет преимущество перед обладателем опыта. Творчество Владимира Высоцкого – живое тому доказательство.

Сейчас, во время украинской войны, мы живём словно бы на страницах истории. *«Поправить немного историю, / Как юбку, чтоб видеть колени, / И лучшую нашу викторию / Для новых найти поколений. / Теперь что ни день, то победа, / Она не приходит без стука, / Немного войны до обеда, / На ужин враньё и разлука».* Жизнь есть путешествие сознания, и сознание поэта словно бы переформатируется с началом боевых действий. Можно, конечно, писать и о постороннем, не связанном с военными действиями, как поступали во время Первой мировой войны наши прославленные классики Серебряного века. Все они, кроме Гумилёва, вообще никак не реагировали на войну, которую вела тогда Россия. У Бориса Фабриканта украинская война проходит по его душе. *«С понедельника до воскресенья / Громче смерти грохочет война, / Каждый сам для себя окруженье, / Каждый сам по себе страна».* Стихи Бориса подкупают человечностью, доминирующей в военной теме. Поэт выбирает гуманизм. Даже, может быть, наоборот: человечность выбирает поэта.

У многих писателей присутствует профетический дар: они ловят во внутреннем космосе предзнаменования грядущих катастроф. И потом, когда трагические события происходят в действительности, поэтическое творчество незамедлительно на них реагирует. Стилистически Борис Фабрикант уже «подготовлен» к украинской лирике своими прежними стихами об Отечественной войне и о Холокосте. И войну на Украине он предчувствовал заранее. Читаем у Бориса в стихах прошлого года, опубликованных на фейсбуке: *«Придёт гражданская война, / Без окрика стреляя в спину, / И муть поднимется со дна, / Кромсая воздух гражданину. / И не спастись и не дышать. / Жизнь состоит из старых правил, / Где снег и дождь, любовь и мать, / Но только смерть сегодня правит. / Опять гражданская война / На грани памяти и бреда, / Ещё победа не видна, / Но жуткой может быть победа».* Особенно удивительным кажется здесь слово «сегодня» – стихи написаны 26.06.21-го года, когда по-настоящему войной ещё и не пахло. Откуда же взялись эти строчки? «Окна чувствуют беду» – говорит поэт в другом своём военном стихотворении: *«Внутри, где колоколом сердце / Считает время на ходу, / В душе сквозит, летают дверцы / И окна чувствуют беду».* Душа поэта – сверхчуткое окно, распахнутое в мир. Ранимость души и делает человека поэтом.

Но самое поразительное в нынешней военной лирике Фабриканта – это, пожалуй, проекция в будущее: *«Когда закончится война, и он вернётся / Домой, со смертью спавший, как с женой, / Мальчишка, он вернётся, не очнётся, / Её всё время чувствуя спиной. / Он жив, его признали как героя, / Как всем, вкрутили ордена в пиджак. / Но та, в его крови, земля сырая / Не отпускает от себя никак».*

У поэзии Фабриканта есть отличительная черта. Погружаясь в какие-то привычные нам с детства вещи, он умеет подавать их настолько нестандартно, отстранённо, что самая обыденная жизнь несёт в себе загадку, кажется чем-то вроде terra incognita. Неожиданная простота – особенность творческого почерка поэта. *«Песен не слыхать на Украине, / А не петь на Украине – не дышать, / Вот она и спрашивает, сыне, / Как же можно песне помешать? / Дым лежит на неньке Украине, / Надо погасить и разогнать, / Чтоб засеять землю, слышишь, сыне? / Снова сына спрашивает мать».* Стихи пронизаны горячей и искренней любовью поэта к родной земле. Как подлинный художник, Фабрикант часто использует в своих произведениях принцип контраста. Например, война – и светлый образ Пасхи: *«Сдувает праздничный настрой / Тяжёлый дымный ветер, / И воздух тёмный и сырой, / И скудно солнце светит. / И сквозь несчастье и пальбу / Пасхальные обряды / Как Божий поцелуй ко лбу / Весомее награды. / В краю живого места несть, / А помнишь, пели песни. / Вступают под церковный крест / И знают, что воскреснет».*

Те, кто развязывает войны, не понимают, что вместе с маленьким солдатом гибнет целый мир. На погибшем обрывается династия его предков. Не родятся его дети, и у не рождённых детей никогда не будет внуков. Человеческие потери не компенсировать никакими «государственными интересами». Далеко не всё из написанного о войне Борисом Фабрикантом – печальные зарисовки с места боевых действий. Есть в этом цикле и любовная лирика. Во время войны любовь никуда не исчезает: боевые действия – это только часть жизни. Мужчина и женщина, не участвующие в войне, обнимаются друг с другом в подвале под бомбёжками:

Снова холод, стрельба как плохая погода,
Будто солнце убили, засыпав землёй.
Мы обнимемся там, от весны до восхода,
Ты налей мне любви, не осыпав золой.

Мы живём в этой жизни, где нет больше жизни,
И с тобой согреваем подвальную тьму,
Дуют ветры чужие по нашей отчизне,
Ты меня обними, я тебя обниму.

Снег идёт так привычно, но долго не тает,
И застывшим ветвям не понять, почему
Сбилось время, нет дней, только жизни считаем,
Ты меня обними, я тебя обниму.

Так мне жарко с тобой, жалко, в этих минутах,
Как всегда, для прощанья не хватит секунд.
Ты меня поцелуй в каждом времени суток,
Мне не страшно, но слёзы по-детски текут.

Всё найдётся, что в снег мы с тобой уронили,
Ты меня обними, я тебя обниму,
Наши дети укрыты, пока не родили,
Я молитву шепчу, но не слышно Ему.
Ты меня обними, я тебя обниму
Ты меня обними

Вспоминаются строки Юрия Левитанского: «Я не участвую в войне – война участвует во мне». Она неизбежно делит нашу жизнь на «до» и «после». Но Борис Фабрикант, несмотря ни на что, не теряет оптимизма и уверенности в будущем. Главное – в любой обстановке, сквозь боль потерь, «дотянуться до любви»: *«Как не верить, что расцветая, / Всё дотянется до любви, / И останется жизнь святая, / Жизнь святая – храм на крови».*

«ШКАФ»

АЛЕКСАНДР РУДНЕВ

СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА: PRO ET CONTRA

(Юли Ан. «Закат отменяется». Повести, рассказы, эссе, миниатюры». – М. «Серебряные нити», ЦГП, 2022, 328 с.;
Юли Ан. «Ещё две весны». – М., «Серебряные нити» ЦГП, 2022, 256 с.)

Буквально только что мне довелось познакомиться с двумя книгами современной писательницы Юли Ан – раньше, признаться, мне не доводилось слышать об этом авторе. Возможно, это пробел в моих познаниях в области современной литературы. Потом я узнал, что эти две книги – дебют писательницы в печатной русской прозе.

Сразу же скажем, что обложки книг со вкусом художественно оформлены, иллюстрированы супругом Юли Ан, талантливым художником Петром Козьминым.

Первая книга под заголовком «Закат отменяется» написана на материале американской жизни, которую автор успела достаточно хорошо узнать в течение довольно продолжительного периода жизни в США. Здесь можно увидеть очень много реалий современной американской действительности, преображённой и сублимированной в художественном слове. Кроме того, нельзя не отметить, что в «американских» произведениях Юли Ан явственны следы её познаний Восточной философии – писательница некоторое время жила на Бали, в Индии и достаточно прониклась духом тех стран и духовными учениями. Об этом свидетельствует и эпиграф к повести «Закат отменяется», который был позаимствован из Будды: «Кто не понял своего прошлого, вынужден пережить его снова».

Герои этой повести – некая Леди русского происхождения Элизабет, «к своим 65-ти она так и не испытала настоящей любви», но страстно её жаждала («Я хочу, чтобы меня по-настоящему любили»). В конечном счёте Элизабет обретает ту самую любовь, пережив ряд невероятных событий с её близкой подругой-интриганкой Молли и азартным игроком Брэндоном. Главные герои мистическим образом обращают свой возраст вспять. В результате чего у них появляется шанс прожить свои жизни так, чтобы в зрелом возрасте их вновь не настигло разочарование. Несмотря на фантамагоричность этих образов, они очень правдоподобны, как и фрагменты с преследованием мстительных гангстеров (Патрика и Остина).

Констатируем сказочные, мистические метаморфозы, перевоплощения, которые происходят с героями; тут вступают в действие идеи жизни и смерти, а главное, любви, в которой заключён едва ли не единственный смысл человеческой жизни – всё это «работает», если можно так сказать, на основную идею – *всепоглощающую любовь в широком смысле слова* (вспомним известную строчку Маяковского: «Любовь – это сердце всего»), о чём и говорит героине явившийся ей во сне Вещатель: «Цель человеческой жизни состоит в том, чтобы однажды лишить Эго власти над собой. А это возможно только тогда, когда место страха будет заполнено любовью, принятием всего и вся. <…> Помни! Всё, что окружает тебя – твоя проекция. И когда ты прощаешь других, в действительности ты прощаешь себя. Что позволяет избавиться от страхов и беспокойств. Так проходит акт очищения на всех уровнях бытия».

Именно этому подчинены все довольно искусно построенные сюжетно-художественные коллизии повести, в которой реальная современная американская жизнь переплетается с мистикой и фантастикой, которые в свою очередь как бы поднимают человека над обыденной жизнью и обычными тривиальными людскими отношениями. Именно в этом и заключено идейно-художе-

ственное зерно повести «Закат отменяется», самого крупного по объёму произведения писательницы.

В то же время мы считаем необходимым указать на некоторые не столь, правда, существенные, но всё же имеющие место языковые окказионализмы, нередко встречающиеся на этих страницах. Но это никак не отменяет чувства меры и вкуса и в конечном счёте несомненного таланта автора.

Элементы некоторой художественной условности, за некоторыми исключениями, присущи, пожалуй, всем беллетристическим вещам, помещённым в обеих рассматриваемых книгах. Однако такие не столь большие по объёму повести, как «Айяуаска – дух джунглей», «Шикша-Гуру» (в последней особенно явственны реалии американской жизни, а также следы знакомства автора с Индией) отличаются с нашей точки зрения, большим реалистическим колоритом – в них изображены достаточно обыкновенные современные люди – русский парень Валентин, его жена Елена, их сын Лука и любовник жены, Натан – с их страстями и достаточно тривиальными жизненными проблемами. Но опять же доминирующим мотивом здесь является Любовь, порой пронизывающая личную, не всегда удачно складывающуюся семейную жизнь. Однако и эти произведения характеризуются повышенно экспрессивным и энергичным, мы бы сказали, стилем, не отменяющим женского начала.

Особое место в «американской» книге Юли Ан принадлежит основанной на реальных фактах и событиях повести «Пока мы вместе» – события эти происходили в США в 1940-1950-х годах. Повествование – о страшной судьбе и чудовищных реальных испытаниях, выпавших на долю Надежды и Георгия Козьминых, насильственно помещённых в психиатрическую клинику, вследствие чего американские власти отобрали у них детей (те были им возвращены после мучительных испытаний уже по их приезду в СССР, который стал возможен благодаря личному вмешательству Н.С. Хрущёва). По возвращении на Родину они поселились в Тульской области в небольшом городке Щёкино, известном своей близостью к знаменитой толстовской Ясной Поляне. Здесь и закончился их земной путь. Произведение пронизано идеей, что любая система общества в конечном счёте отчасти губительна для своего народа. Несмотря на сложность материала, история жизни Козьминых читается на одном дыхании, так как написана очень напряжённо, драматично и убедительно – читатель с неослабевающим вниманием следит за трагическими перипетиями жизни героев.

Рассказ «Всё в твоей голове» по своему содержанию и художественному строю опять же является очень американским, с некоторым притчеобразным элементом, очень характерным для творчества Юли Ан.

Но в ещё более законченном виде притчеобразный элемент проявился в рассказе под заглавием «За фужером сока» – здесь также содержатся обращения в известной мере к некоторым моментам восточной мудрости.

Вторая книга Юли Ан написана как на русском, так и на материале других народов. Посещая различные страны, она погружалась в культуру местных жителей, позже отражала в своих работах их быт и особенности тех мест.

Так, в повести «Ещё две весны» главная героиня Тамара Геннадьевна (Муся, Томочка, Тамми), немолодая женщина, живущая в русской провинции, безмерно страдает от потери мужа и никак не может смириться с его безвременным уходом. Встреча с неким Александром (Саньком), другом детства покойного мужа, во многом переворачивает её жизнь, один его только взгляд «пронизывал и будоражил её воображение». У них начался бурный и страстный роман и, несмотря на эфемерность и почти заведомую обречённость этого неожиданного счастья, у героини «в душе весна», несмотря ни на что. Но их счастье осложняет прежняя женщина Александра – «бешабашная» Полина, которая отравляет им жизнь своими грубыми и наглыми выходками, доводя раз за разом до полного отчаянья Тамару.

Среди положительных персонажей очень убедительно и художественно обрисована мать Александра, Алла Леонтьевна, спокойная, проницательная женщина, наделённая даром ясновидения. Однако и этот союз Тамары с Саньком оказался неустойчивым и эфемерным.

Встреча же героини с Владимиром (Вальдемаром) ознаменовала приход ещё одной весны в жизнь увядающей Тамары. К этим отношениям героиню подтолкнула ссора с женой её сына Олега. Сноха своим хамским отношением практически выжила из дома деликатную и предупредительную Тамару.

Казалось бы, изображённые ситуации обыденны, но основная и ценная идея здесь – это человеческая доброта и сострадание ко всему живому, не только к людям, но и к беззащитным животным, которых опекает главная героиня. Но Тамары не хватает на то, чтобы быть последовательной и постоянной в своей заботе о ближних. Случается, что она предаёт приручённого ею пса Шарика, отрекается от любви к Александру и сдаётся из-за условностей (родной, чужой) – отказываясь от Аллы Леонтьевны. Впоследствии подобное отношение она испытывает по отношению к самой себе. Все закономерно: жизнь – бумеранг.

Тема любви у автора Юли Ан несколько своеобразно раскрыта и в рассказе «Сэнди». Эта же тема так же занимательно звучит и в небольшой по объёму повести «Танго вчетвером» в изображении любви главных героев – Леры и Сени. Хотя с точки зрения языка и стиля в современной рус-

ской прозе почти всегда можно найти определённые погрешности, но в то же время мы признаём, что повесть эта вполне психологически убедительна и увлекательна.

Эротический, но вполне, отметим, благопристойный элемент характеризует рассказ «Где ты счастье, моё?». В нём сильная и страстная любовь героев Татьяны и Евгения перемежается с чисто бытовыми и иногда очень прозаизированными, но одновременно пронзительно реальными, правдоподобными ситуациями и диалогами…

Исключительно художественен разговор двух оживших неодушевлённых вещей – сандалии и его половинки сандалинки – напоминает мотивы некоторых известных сказок Г.-Х. Андерсена (в рассказе «Сандалий»).

Точно также разговоры и общения кур и петуха по имени Петька, которые обречены на заведомую гибель от хозяйского топора, чего они тщетно стараются избежать, в повести «Куриный властелин или зерно прозрения» также заставляет вспомнить некоторые произведения великого датского сказочника. Говоря об этой повести, невозможно не отметить превосходные пейзажные зарисовки русской деревни, русской природы, которые безусловно очень удались Юли Ан.

Следы увлечения Восточной философией, о чём мы упоминали ещё в начале статьи, явственно проступают в таких рассказах и эссеистических вещах, как «Озарение», «Таинственный лотос», но в ещё наибольшей мере в таких, как «Маска», «Спокойствие, только спокойствие! А зачем?», «Возможна ли жизнь без конфликтов?», «Я тебя люблю» – здесь автор размышляет о «всевозможных механизмах, которые делают человеческие взаимоотношения успешными и продолжительными» в них отражено стремление понять «кто я и зачем?», в чём, в общем-то, нет, конечно, ничего особенно экстраоригинального, но подача идеи убедительно говорит о том, что перед нами нежданно предстали очень умные русские книги!...

Надо понять, что одна из основных идей – это радость жизни, о чём наиболее выразительно сказано в эссе «Озарение»: *«Живи и радуйся вопреки всему! Это моя жизнь, и я вправе выбирать реакцию на происходящие события! Именно от этого выбора зависит моё внутреннее состояние, что и представляет качество моей жизни».*

Нам же представляется, что в талантливой прозе Юли Ан любопытно освещены многие нравственно-философские вопросы и изображены *живые* люди, полнокровные и убедительные, и это залог того, что книги писательницы найдут своего вдумчивого читателя.

Так что «pro» здесь неизмеримо больше, чем «contra».